А. Н. МУРАВЬЕВ

ТАВРИДА

Андрей Николаевич Муравьев.

Портрет работы М. Ю. Лермонтова. 1839.
Музей ИРЛИ.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

А. Н. МУРАВЬЕВ

ТАВРИДА

Издание подготовила Н. А. Хохлова

Санкт-Петербург
«НАУКА»
2007

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1
М91

Ответственный редактор
А. А. КАРПОВ

Издание подготовлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
(проект № 04-04-00171а)

ТП 2007-II-322
ISBN 978-5-02-026455-7

ТАВРИДА

А. МУРАВЬЕВА.

Patet castis versibus ille locus.

Ovid. *ex Ponto.*

МОСКВА.
Въ Типографіи С. Селивановскаго.
1827.

Печатать позволяется съ представленіемъ пяти экземпляровъ въ Цензурный Комитетъ для Казенныхъ мѣстъ. Москва, 1827 года Генваря 3 дня. Сію рукопись разсматривалъ Ординарный Профессоръ, Надворный Совѣтникъ и Кавалеръ

Иванъ Снегиревъ.

ТАВРИДА

I

Земли улыбка, радость неба,
Рай Черноморских берегов,
Где луч благотворящий Феба
Льет изобилие плодов,
Где вместе с розою весенней
Румянец осени горит,
Тебе — край светлых впечатлений,
Таврида! — песнь моя гремит!

II

Природа на твои долины
Обильных не щадит даров,
Ты выплываешь из пучины
Под покрывалом облаков,
Как в полдень нимфа молодая
Выходит из седых валов,
Рукой стыдливой облекая
Красу в завистливый покров.

III

Кто впечатление живое
В горящих выразит речах,
Когда в нас чувство неземное
Горит, как солнце в небесах;
Когда невольно все желанья
Слились в один немой восторг,
И самые воспоминанья
Сей миг из сердца нам исторг!

IV

Ах! чувства сладкого отраду
Я сердцем пламенным вкушал,
Когда в тени олив — прохладу
Под небом Крымским я впивал;
Когда я черпал жизни сладость
В гармонии небес, земли,
И очарованному радость
Природы прелести несли!

V

Передо мной шумели волны
И заливали небосклон;
И я, отрадной думы полный,
Следил неизмеримость волн —
Они сливались с небесами, —
Так наша жизнь бежит от нас
И упивается годами,
Доколе с небом не слилась!

ЧАТЫР-ДАГ

VI

Взгляните на шатер Тавриды,[1]
Раскинутый на теме гор.*
Когда вокруг пустынны виды —
Он издали пленяет взор;
Он вырастает над горами
Сквозь легкий утренний туман,
И взор, следя за облаками,
Мечтает видеть горьний стан!

* К отмеченным звездочкой отдельным стихам и строфам имеются примечания А. Н. Муравьева (см. С. 141—146).

VII

Так некогда во дни завета,[2]
На беспредельности степей,
Из багряницы и синета[3]
По воле дивной Моисей
Воздвигнул скинию видений,[4]
И покрывалом свысока,
Клубясь в час утренних молений,
Над ней лежали облака.[5]

VIII

Взойдите на шатер Тавриды,
Оттоле удивленный взор
Пустынные обнимет виды
И цепи неприступных гор;
Внизу — цветущие долины
С картиной сел и городов,
И с трех сторон морей пучины
Вокруг туманных берегов.

IX

Видали ль солнце на восходе,
Когда из раскаленных вод
Оно с улыбкою природе
Отрадный свет и жизнь несет;
Когда эфир горит огнями,
И звезды гаснут в небесах,
И солнце яркими лучами
Лежит на пурпурных волнах?

X

Оно из влажной колыбели
Стремится на воздушный трон,
Туманы быстро отлетели,
И загорелся небосклон.
Светило дня, в одежде славы
На колеснице огневой,[6]
Идет, как исполин кровавый,
С победой верною на бой.

XI

Идет, и в радостном теченьи
Ему зерцалом вечным понт,[7]
И в беспрерывном вод волненьи
Безбрежный виден горизонт.
Как целый мир в пространстве года,
В объеме дня вместился Крым;*
Он луч приветствует восхода
И вечера зарей златим.

XII

Видали ль солнце на закате,[8]
Когда, окончив долгий день,
Усталое, скользит на скате
Крутых небес? Слегка уж тень
Восток далекий омрачает,
Но запад — заревом горит,
Хор облаков на нем играет
И пышной радугой блестит!

XIII

И волны золотой равнины
Призывный поднимают плеск,
Они зовут в свои пучины
Полуугасший солнца блеск;
Оно в волнах, как щит кровавый,
Который витязь снял с рамен
И приковал на память славы
К оружиям отцовских стен.

XIV

Луна на высоты эфира
Идет в уединенный путь,
Как одинокий странник мира,
Кому отрады уж не льют
Мечты обманчивые жизни:
Разорвала все узы смерть,
И удаленьем от отчизны
Из сердца грусть он хочет стерть.

БАКЧИ-САРАЙ

XV

Пустынный двор Бакчи-Сарая
Унылой озарен луной;
Развалин друг, она, играя,
Скользит по келье гробовой,
Где грозных и надменных ханов
Давно забытый тлеет прах,
Где воля дремлющих тиранов
Уж не закон — в немых гробах!

XVI

Исчезла слава сильных ханов!
Дворец их пуст, гарема нет,
Там только слышен шум фонтанов;
Луны непостоянный свет
На стеклах расписных играет,
И по узорчатым полам
Широкий луч ее блуждает,
Как бледный дух по облакам.

XVII

Или в зеленом лоз объеме,
Сквозь легкий виноградный свод,
Она в кристальном водоеме
Осеребряет зыби вод
И гроздий тень на них наводит —
Дробится лик ее в струях,
То по волнам, играя, ходит,
То засыпает в их зыбях.

XVIII

И будит дремлющие своды
Фонтанов однозвучный шум,
Из чаши в чашу льются воды,
Лелеятели сладких дум.
Все изменили быстры годы —
Где ханский блеск? — Но водомет
Задумчивые пенит воды
На память тех, которых нет!

XIX

За все отмстила вам Россия,
Орды губительных татар!
Вы язвы нанесли живые —
На вас обрушился удар;
В крови вы злато добывали,
Огнями пролагали след
И на главу свою сзывали
Отмщение грядущих лет!

XX

Мамай! Ты здесь искал спасенья;[9]
Безумный хан! ты не видал —
Кровавый, лютый след отмщенья
По степи за тобой пылал.
И здесь искали мы трофеев;
С обломков золотой Орды
Сюда влекли в гнездо злодеев
Твои пустынные следы!

XXI

Донской! На грозном поле чести
Ты первый сокрушил татар!
И внук, твоей наследник мести,
Великий довершил удар![10]
Давно уж след исчез гонений,
Давно умолкнул браней клич,
И Небеса, вняв глас молений,
Свой грозный сокрушили бич!

РАЗВАЛИНЫ КОРСУНИ

XXII

Я на холме среди развалин,
Вокруг меня обломки стен,*
И, мрачной думой опечален,
Мой дух в минувшем погребен!
Ничто не оживит пустыни!
Лишь шум однообразный волн
Наводит мрачное уныньe,
Забытый орошая холм!

XXIII

О чем вы воете мне, волны,
Пустынный орошая прах?
Не отзовется прах безмолвный,
Ответа нет в немых стенах!
Развалин вид красноречивый
Без вас уж сердцу говорит;
Ваш вой — как тщетные порывы
Друзей над гробом, где друг спит!

XXIV

Но отчего среди обломков
Стою благоговенья полн?
Рукою ль набожных потомков
Воздвигнут праотцам сей холм?
Невольно отчего робею
В полуобрушенных стенах,
На груды их ступить не смею,
Как на отца священный прах?

XXV

Корсунь! Корсунь! Твои ль твердыни
Забытые лежат в полях?
И ты, унылый страж пустыни,
Ты вспоминаешь о веках
Величия, богатства, силы! —
Но где ж они? Где прежний блеск?
Вокруг безмолвие пустыни
Лишь будит волн отзывный плеск!

XXVI

Не плеск волны, пришлец унылый,
Народов плеск здесь слышишь ты! —
Корсунь, их вопли пробудили,
Нет, не обманчивы мечты!
Внимай! — гул песней раздается,
Покров туманный сбрось с очей,
Взгляни — народов сонм несется,
Как волны в синеве морей!

XXVII

Но кто сей витязь величавый
Среди толпы, осанкой Князь?
Он снял с чела шелом кровавый,
Гроза войны уж пронеслась! [11]
Блестит надежды луч отрадный
В его воинственных чертах,
Но сумрак ночи безотрадной
Лежит, как туча, на очах!

XXVIII

И близ него какая дева,
Как призрак легкая, стоит?
Она очам — как зелень древа,
Пустыни освежая вид;
Ее краса — лазурь эфира,
В спокойных спящая струях,
И голос — дышущая лира
Гармонией в ее устах!

XXIX

И кто пред светлою четою,
Служитель давний алтарей,
Стоит, украшен сединою,
При блеске радостных огней?
В купель он возливает воды,[12]
Он погружает крест златой,
Вокруг безмолвствуют народы,
Как ночь над спящею землей!

XXX

Внимай! — Раздался глас молений,
И гимн божественный гремит,
И сладость дивных песнопений
Нам о небесном говорит:
Слезой отрадной умиленья
Ланиты витязя блестят,
И на него в час освященья
Слетает с неба благодать!

XXXI

И старец дряхлою рукою
Таинственные воды льет
Над светлой витязя главою —
Он новой жизни сладость пьет!
О чудо! — Просветились взоры,
С очей туманный спал покров,
И благодарственные хоры
Свод огласили облаков!

XXXII

Идут вечерней пеленою
Туманы с синевы морей
И увлекают за собою
Из очарованных очей
Крылатый легкий рой видений —
Опять безмолвие в стенах,
И мною вызванные тени
Заснули вновь в своих гробах!

XXXIII

На грудах смешанных твердыни
Стою один в толпе веков —
И слышу гул среди пустыни
Столетних тяжких их шагов!
Они идут глухой стезею,
Как старцев древний, ветхий сонм,
Качая белою главою,
И смотрят на Корсунский холм!

XXXIV

Корсунь! Крылатою мечтою
Как часто я к тебе летал
И думал: памятник Герою
Воздвигнут там, где свет приял,[13]
И, щедрою пролив рукою
Божественный спасенья луч
Над полунощною страною, —
Зарю из мрачных вызвал туч!

XXXV

Что ж говорит мне о Герое?
Где памятник? Где дивный храм?[14]
Благоговение немое —
Один лишь памятник сердцам!
Вокруг меня — твердынь обломки
И мох, поросший на стенах;
Неблагодарные потомки!
Вы позабыли об отцах.

ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

XXXVI

Кто пламенной любил душою,
Обетам дружбы кто внимал,
И, другу жертвуя собою,
Себя счастливым называл,
В нем находил утехи, сладость,
Восторги юношеских лет,
Делил с ним горе, чаще радость,
И сердцу — хладен был ответ!

XXXVII

Кто, друга к сердцу прижимая,
К груди измену прижимал! —
Неопытный, коварств не зная,
Он о любви одной мечтал,
И, поздно сбросив покрывало
С разочарованных очей,
Презренья, равнодушья жало
Почувствовал в груди своей!

XXXVIII

Ему младая жизнь постыла.
Приюта в мире где искать?
Когда и дружба изменила,
Любви нельзя уж доверять!
О, юный странник, — твой гонитель
Безжалостный, жестокий мир:
Беги его в сию обитель,
В Георгиевский монастырь!

XXXIX

Здесь дружбе некогда воздвигли
Чудесный храм.* — Его уж нет!
Века сей памятник настигли
И дружбы стерли самый след.
Ах! на земле, пришлец унылый,
Ты верной дружбы не найдешь
И, одинокий до могилы,
Сей жизни поприще пройдешь!

XL

Но здесь, в объятиях природы,
Души страданья успокой,
И пусть забывчивые годы
Сотрут целительной рукой
Из сердца тяжкие печали;
Все тихо здесь — в объеме скал:
Они преградой вечной стали,
Чтоб мир сюда не достигал!

XLI

Смотри: у ног ревут пучины
И неподвижный бьют утес;
Не так ли жизни сей кручины
Ты с твердым духом перенес?
С вершины скал взирай на море,
На бунт стихий, на плеск валов
И думай: мне знакомо горе,
Но я достиг конца трудов!

XLII

И где в объятьях небосклона
Задумчивое море спит,
Эфиру открывая лоно,
Как вечности отрадный вид —
Туда, туда свой взор унылый,
Печальный юноша, простри —
Тебя так вечность за могилу
Зовет, — здесь слезы ты сотри!

БАЛАКЛАВА

XLIII

Туманны башни Балаклавы,
Забытые на берегах,*
Как гул давно минувшей славы,
Как гром в затихших небесах!
Еще теперь, сзывая к бою
Отважной Генуи сынов,[15]
Они стоят! — Над их главою
Легла печать седых веков!

XLIV

Над устьем дремлющей пучины
Еще стоят обломки врат,[16]
И видны через них долины —
Они прохладою манят,
Волнами зелень развивая,
В лазурной стелятся дали,
Как некогда из двери Рая
Картина радостной земли!

XLV

И где с горы нависли стены —
На дне долины море спит;
Но на волнах его нет пены,
Оно не воет, не шумит;
Так спит младенец в колыбели,
Когда, рукой навеяв сон,
Младая мать, склонясь с постели,
С улыбкой смотрит — спит ли он?

XLVI

И в тишине, между горами
Отрадной праздности приют;
Полузакрытые садами,
Дома их зеленью цветут
В кристаллах дремлющей пучины —
Все здесь в объятьях неги спит;
Лишь изредка земли картины
Волна, играя, возмутит!

МЕРДВЕНЬ

XLVII

Забуду ль вас, холмы, стремнины,
Прохладой полные леса,
И вас, цветущие долины,
Где туч не знают небеса,
Где ветерок прохладный веет,
Полдневный освежая зной,
И сердце путника лелеет
Какой-то негой неземной?

XLVIII

Толпой беспечною татары
Расселены на дне долин:
Там Арнаутка и Байдары,
Сплетая зелень в сад один,
Цветут роскошно над брегами
Прохладой дышущих ручьев,
Журчащих светлыми водами
Между рассеянных домов.

XLIX

Взрастают горы над горами,
Все выше, выше их хребет,
Покрытый мрачными лесами,
Питомцами минувших лет.
Вершины ветрам поверяя,
Они глухой подъемлют вой,
И, ветви шумные сплетая,
Кивают древнею главой.

L

Глубокий лес передо мною,
И позади лишь ветров свист,
Мой конь бежит глухой стезею
И хрупкий попирает лист;
Беги, беги, мой конь ретивый,
Чтобы я ветры обегал,
Обрадуй дух нетерпеливый —
Беги, лети — о конь, ты стал?*

LI

Сквозь мрак ветвей я вижу волны,
У ног — ступени по скалам,
Стою — и, удивленья полный,
Не верю радостным очам:
В виду — безмерная равнина,
Полморя Черного ревет,
И мнится: синих волн пучина —
Лишь воздуха бездонный свод!

LII

Два каменистых исполина
На праге берега стоят;*
В бегущих тучах их вершина,
Пучины у подошвы спят.
Как вечный страж красот природы
Уединен и дик Мердвень,
И в камни врезалися годы
Стезей иссеченных ступень.[17]

LIII

Но с высоты какие виды
Пленяют удивленный взор!
Весь берег радостной Тавриды
Лежит на скате синих гор:
Везде цветущие долины
И плодоносных тень дерев,
И моря светлые равнины,
И зелень сел между садов.

LIV

Там воздух чистый, ароматный
Неувядаемой весны,
Там день не тяготит отрадный,
И ночью слаще веют сны;
Великолепие созданья,
Природы благодатный вид
Там укротит страстей влиянье
И чувства нежные вселит!

АЛУПКА

LV

Уединенная виется
По темю синих гор стезя, —
Неутомимый конь несется,
Ногою легкою скользя
По светлым камням, то в долины
Сбегает быстрою стопой,
То синих вод следит пучины.
И море шумною волной

LVI

Отлогий берег заливая,
Отважного не устрашит;
В песке следов не оставляя,
Он вдоль помория бежит
И снова на горы несется,
Летит — как из лука стрела,
Над бездной сердце в нем не бьется,
Очей не покрывает мгла.

LVII

Бежит — и берег развивает
Пред ним утесистую даль;
Вслед за собой он покидает
Брега туманные — и вдаль
Бегут древа, утесы, горы;
Он мчится узкою тропой,
Доколе радостные взоры
Встречает светлый Кучук-Кой.

LVIII

Конь мчится мимо: расцветая
Пред ним в садах Кикинеис;*
Вдали, прохладу разливая,
Встает зеленый Симеис.
Природные меж ними стены
Подняв из волн, громадой скал
Гордятся дикие Лемены,
И бурь порыв их миновал.

LIX

Алупки помню лавр надменный![18]
Красою дивною гордясь,
Залог победы неизменный,
Он одинок; — и, наклонясь
На камень, скал отломок мшистый,
Его ветвями осенил;
Под ним бежит струею чистой
Ручей из каменистых жил.

LX

Мечтаешь видеть Иппокрены[19]
Журчащий вдохновеньем ключ,
Где нежных Муз приют священный
Скрывает Пинд[20] во мраке туч?
И зыбких листьев трепетанье,
И ропот сладкозвучных вод,
Как светлых Пиерид[21] воззванье
Восторг неизъяснимый льет!

LXI

Сюда мечтать, певцы природы,
Вы приходите в поздний час,
Когда небес темнеют своды,
Бледнеет день — и Музы в вас
Прольют свои очарованья,
Поэзией наполнят грудь
И листьев шум, и вод журчанье
В одну гармонию сольют!

LXII

Кто южных берегов картины,
Кто выразит их красоту?
Я видел светлые долины,
Как легкокрылую мечту,
Слетевшую в лучах денницы,
Развеселить унылый сон,
Когда задумчивые лицы
Рисует утомленным он.

LXIII

Здесь на приветливой пучине
Цветет веселый Мисохор,
Там Хореис приник к вершине
Покрытых облаками гор,
И Гаспер путника пленяет
Картиной диких берегов,
И Орианда призывает
Под тень развесистых лесов!

ОРИАНДА[22]

LXIV

Уж вечер! — Синими стадами
Идут туманы по горам
И, пробираясь меж скалами,
Рисуют путника очам
То древних стен объем зубчатый[23]
И башен уцелевший ряд,
То лес дремучий, необъятный,
То грозный стан, то пышный град.

LXV

Там грозный образ исполина
Из облаков туманный встал,
И мнится: видишь властелина
Сих диких гор, утесов, скал;
Он ходит в ветрах, он кивает
Седым челом, манит рукой,
Клубами дивный стан свивает
И длинной стелется грядой.

LXVI

Спустился вечер молчаливый
На Ориандские леса,
И моря ясные заливы,
Где неба южного краса
В волнах далеких утопала;
Еще последний солнца луч,
Как в дебрях путник запоздалый,
Скользя из пурпуровых туч,

LXVII

По горным высотам блуждает
И их туманы золотит;
Цветами радуги блистает
Седой, нахмуренный гранит;
Там гор зарделися вершины,
Там солнца свет, здесь ночи тень —
Везде волшебные картины
Бегущий провожают день.

LXVIII

Он угасает — и долины
Весенней свежестью дарит,
Твои приветствует вершины,
Массандра! — берег твой златит.[24]
Твои покровы над горами
Из роз, лазури сплетены:
Так блещут яркими крылами
Эфира светлые сыны!

LXIX

Но вся лазурь, весь пурпур, злато,
Горящие на небесах,
Одною слилися громадой
В один блестящий Аю-Даг;[25]
От гор хребет свой отделяя,
Он входит в беспредельный понт
И, волн пучины рассекая,
Кончает дальний горизонт.

LXX

Но постепенно на закате
Все ниже солнце, гаснет день,
И краски яркие на скате
Крутых небес стирает тень;
Они бегут, как сновиденья
Крылатых юношеских дней,
Когда впервые ослепленье
Снимает опытность с очей!

LXXI

Опять, опять, воспоминанья,
Вы грудь тревожите мою!
Бегите прочь из состраданья,
Я слезы и без вас пролью;
Иль в настоящем мало горя,
Чтоб о прошедшем вспоминать?
Когда в виду лишь бедствий море —
О невозвратном ли мечтать?

LXXII

Бегите! — Нет, всю вашу сладость
Еще мне дайте раз испить,
Еще однажды черпать радость
И трепетать, и слезы лить!
Я цвел в объятиях природы
И никогда я не желал,
Чтобы младенческие годы
Скорей текли! — Я цену знал

LXXIII

Беспечной жизни, безмятежной,
Где светлый день за светлым днем
Тянулся цепию безбрежной
Одним невозвратимым сном!
Но сладки были сновиденья,
Не возмущающие кровь;
Мне первой дружбы упоенье,
Мне снилась первая любовь!

LXXIV

И кров родной, и край отчизны,
И ласки ближних, и отца,
И все мечты невинной жизни,
Как блеск небесного лица,
Слегка носились надо мною
И говорили: «Не желай
Проснуться с горькою слезою,
Когда во сне ты видишь рай!»

LXXV

Бегите ж прочь, воспоминанья!
Я вас не звал! Я вас не звал!
Бегите прочь из состраданья,
Чтобы опять я привыкал
К моей судьбе, к моей печали;
Чтобы минувшие мечты
На сем пути не развлекали
Мои пустынные следы!

ЯЛТА

LXXVI

Из-за утесов Аю-Дага,
Бледнея, восстает луна;
Как легкий челн, носимый влагой,
Плывет по воздуху она
И, углубляясь в мрак востока,
Унылый проясняет лик,
Доколь над бездною широкой
Столб серебристый не возник.

LXXVII

Все тихо! — Звуков нет в эфире,
И на земле движенья нет;
Казалось, в усыпленном мире
Исчез последний жизни след!
Но сладкой тишины мгновенье
Такую негу льет в сердца,
Такие чувства упоенья,
Каких не выразят уста!

LXXVIII

Так, если арфы вдохновенной
Последний мощный, дивный звук
Умолк — и голос отдаленный
Звук повторил и вновь потух, —
Рука заснула над струнами,
И тихо все! — Но песнь живет,
Лелея сладкими мечтами,
И эхо — новых звуков ждет!

LXXIX

И никогда в часы смятений,
Когда в груди страстей война
И бунт неистовых волнений,
Так безмятежно не полна
Душа высокая, младая,
Как в тихий ночи час, когда,
Как чаша полная до края,
Она полна собой! — Тогда,

LXXX

Тогда высокою мечтою
Еще восторг, еще один
Вдохни, — и смертной пеленою
Полет воздушный нестесним!
Она разорвала оковы,
Ее жилище в небесах,
И, смерти памятник суровый,
Остался бездыханный прах!

LXXXI

Покрылся мрачной синевою
Необозримый свод небес;
На нем — несметною толпою
Светила ночи — сонм чудес
Горят, как в первый день созданья,
Всем блеском юного лица;
Они горят огнем желанья,
И мнится: мания Творца[26]

LXXXII

Еще однажды ожидают,
Чтобы с гармонией вступить
В полночный путь! Их отражают
Кристаллы вод, но возмутить
Небес торжественной картины,
Играя, не дерзнет волна,
И неподвижные пучины
Лежат — одной громадой сна!

LXXXIII

Над молчаливыми брегами
Роскошно восстают холмы
Аутки,[27] полные дарами
Румяной осени, весны;
На скате легких возвышений
Отдельно хижины стоят,
И, свежие раскинув сени,
Над ними дерева висят!

LXXXIV

Но неприметно исчезает
Холмов отлогий, легкий скат;
У их подошвы развивает
Долина Ялты новый сад.
Эдема свежая картина,
И той же прелестью полна, —
Сия волшебная долина
Лучем луны озарена.

LXXXV

Вокруг нее — ночные горы
Стоят завистливой стеной,
Невольно возвращая взоры
На дно долины золотой;
Она, глубоко в отдаленьи,
Втеснилась в сердце мрачных гор, —
Как первой страсти впечатленье,
Как первый совести укор!

LXXXVI

И моря светлые пучины,
Касаясь низких берегов,
Как продолжение долины,
Бегут до дальних облаков;
Молчанье волн, утесы, горы
И свод полунощных небес —
Пленяют, восхищают взоры
Гармонией своих чудес!

АЮ-ДАГ

LXXXVII

Еще одну картину юга
Поэзия рисует мне
В часы веселого досуга:
Я вновь стою, в волшебном сне,
На светлых берегах Тавриды
И, сладким упоеньем полн, —
Ее пленительные виды
Я вижу вновь при плеске волн!

LXXXVIII

Весь Аю-Даг передо мною
Громадой дикою встает,
Подняв хребет, склонясь главою,
Он волны, рассекая, пьет.*
Его отдельную вершину
Издалека узнает взор
Отважно пенящих пучину
От сонма отдаленных гор.

LXXXIX

Краса природы увлекает
Мечты волшебные пловцов
И скалы — в образ облекает
Владыки мрачного лесов,
Склонившегося над брегами,
Чтоб жажду утолить в волнах,
И моря смелыми сынами
Медведем — назван Аю-Даг!

XC

Его надменная громада
Скрывает море от очей;
Но весь восток и край заката
Волшебной прелестью своей
Далеко увлекают взоры
На дно смеющихся долин,
И на утесистые горы,
Над бездной вставшие пучин.

XCI

На западе я вижу волны,
Биющие седой утес,
Где Гурзувитов прах безмолвный[28]
Давно по берегу разнес
Шумящий ветр!* — но их твердыни,
В обломках на одной скале, —
Остались памятью гордыни,
Веков зарывшейся во мгле!

XCII

И на помории отлогом,
Где мрачной древности следы, —
Цветут в обилии веселом
Юрзуфа нового сады.
Очаровательной долине
Жизнь возвратилася опять,
И на приветливой пучине
Селенья светлые стоят.

XCIII

Так дивной волей Провиденья
Природа совершает круг,
И жизнь рождается из тленья,
И смерть — рожденью близкий друг!
Народы, царства горделивы,
И славы их далекий гул, —
Как волн приливы и отливы,
Когда отзывный ветр подул!

XCIV

Но продолжительной картиной
Брега на запад развились,
И одинокою вершиной
Никиты выбегает мыс,[29]
Дарами зреющий природы,
Роскошный негою садов,
За ним — небес крутые своды
И стая легких облаков.

XCV

Туда, где колыбель денницы,
Отрадный обратите взор:
Долина светлой Партеницы[30]
Там вьется у подошвы гор;
И море шумною волною
То набегает на брега,
То с дикой борется скалою,
Где Партеница возлегла.

XCVI

Там за восточною горою —
Ламбата светлого залив;[31]
Вдали, где синею волною
Обзор далекий затопив,
Слилися с воздухом пучины, —
Там длинной стелятся грядой
Феодосийских гор вершины
И облекают пеленой

XCVII

Эфира ясные равнины;
И о земном не говорят
Их живописные картины:
Полупрозрачные висят,
Как риза светло-голубая,
Одежда радостных духов,
Когда, на землю низлетая,
Плывут по морю облаков.

XCVIII

Туда, во глубину эфира
Еще стремится жадный взор;
Ему пределы тесны мира
И тесен для души обзор!
Но где ж мета ее стремленья?
Где жажду утолит она?
Увы! — Она в юдоли тленья
Одна бессмертной создана!

КУЧУК-ЛАМБАТ[32]

XCIX

Ламбат! Ламбат! Приют покоя,
Для сердца мирный уголок!*
Где легкокрылое, златое
Летает счастье, и далек
Унылый мир с его страстями,
И смертных жизнь не тяготит, —
Кто равнодушными очами
Тебя мог видеть и забыть?

C

Как часто, облеченный мглою,
Я приходил под тень олив
Беседовать с твоей волною
На твой задумчивый залив!
День вечерел, и загорались
Светила ночи в небесах,
И, подымаясь, опускались,
Играя, волны на брегах!

CI

С вершины гор сходили тучи
И пробегали по морям;
Они станицею летучей
Неслися к дальним берегам,
Где Анатолией цветущей[33]
Гордятся Азии края, —
И вслед за их толпой бегущей
Мечтами увлекался я!

CII

Я запад обежал всесильный —
И внял оружий грозный треск;
Оков тяжелых звук могильный —
Востока помрачает блеск,
И полдень — весь горит враждою,
Добыча варваров слепых:
Я обнял земли все мечтою —
И не нашел приюта в них!

CIII

Тогда, унылый и безмолвный,
Я взор усталый опустил
На светлые Ламбата волны —
Их вид мне сердце облегчил!
И, увлеченный сладкой думой,
Вздохнув свободно, я сказал:
«Тебя забуду, мир угрюмый,
Я здесь найду, чего искал!»

CIV

Здесь, где с улыбкою природа
На лоно матери зовет,
Желаний бурных непогода
О камни челн не разобьет;
Здесь якорь брошу я надежный,
Моею — пристань назову,
Забуду жизни призрак ложный
И близких сердцу созову!

CV

Когда б мы счастия искали
Не далеко, вокруг себя, —
Его напрасно б не искали,
И счастием была б семья,
Участница веселья, горя
И сонм приветливых друзей, —
Преплыли б вместе жизни море,
Достигли б пристани своей!

CVI

Мы ж — расторгаем узы крови,
За тщетной гонимся мечтой,
Доколе опыт, друг суровый,
Не возвратит под кров родной;
Тогда, сложив печалей бремя
На сердце пламенных друзей,
Вздохнув, мы вспоминаем время
Невозвратимых, юных дней!

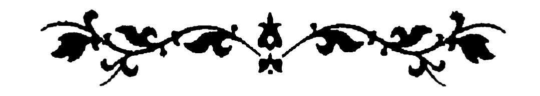
CVII

Прими меня в отрадны сени,
Очаровательный Ламбат,
Когда задумчивые тени
Мой путь цветущий помрачат;
Тогда повей своей прохладой
На утомившуюся грудь,
И ты, Ламбат, и ты отрадой
Разочарованному будь!

I stand in the cloud of years; few are its openings towards the past, and when the vision comes — it is but dim and dark.

It is the voice of years that are gone — they roll before me, with all their deeds. I seize the tales, as they pass, and pour them forth in song.

Ossian



ПОЭЗИЯ

Me vero primum dulces ante omnia Musœ
. . . .
accipiant...

Virg.

Еще я в локонах младенчества играл, —
Мечтатель, и в толпе видений —
я не знал,
Что светлые власы высокою волною
В восторге пламенном взвивало над главою!
Что грудь стесняло мне? Какой невольный
хлад
По членам пробегал? — Искал речей! —
Печать
Безмолвно на устах младенчества лежала,
И вдохновение без песней угасало!
С годами я открыл созревшие уста,
Поэзия млеком эфирного сосца
Для песней сладостных младенца воздоила
И арфу звонкую расцветшему вручила.

Я струны натянул неопытной рукой,
Забуду ль миг, когда их пламенной игрой
Впервые выразил души моей волненье
И в струны вдвинул я — живые вдохновенья!
С тех пор, волшебный друг, — она одна
при мне,
Одна поэзия, в непробудимом сне
Рисует предо мной живые впечатленья
Цветущих, юных лет, и сладкие мгновенья
Уже минувших благ, и пламенных друзей,
Умерших — но еще живых душе моей!

ЧАТЫР-ДАГ

...schweben vor mir
Der Vorwelt silberne Gestalten...
Goethe

Тихо день догорал, и на скалах
Чатыр-Дага —
Солнца гасли лучи, утопавшего
в синей пучине;
На вершине горы, облокотясь на утесы,
Юноша Русский сидел, погруженный
в сладкую думу.
Стадо резвых овец оживляло дикие камни,
И безмолвие гор прерывали трели свирелей
Беззаботных татар: их честолюбие — стадо,
Чатыр-Дага утес — их колыбель и могила!
Там с возвышенных скал, расширив
мрачные крыла,
Низлетают орлы, плывут в бездонном эфире
И чернеют вдали, на пределах моря и неба,
Как воздушный корабль, заходящий
за синюю влагу.

Пелена облаков, вершину гор облекая,
Белым всходит столбом, курится к ясному небу
Фимиамом земли с алтаря прелестной Тавриды!
Крым под ногами лежит, — вокруг
лесистые горы
Поднимают чело у исполинской подошвы;
И, вытекая из скал, бежит сребристой струею
Альма[34] в ущелиях гор и льет прохладу в долины.
Взор с высоты обнимал — неизмеримые степи,
Беспредельность морей и гор надменных
вершины.
Отдыхали века на неподвижных утесах,
И, как бледный туман, восстающий от груды
развалин,
Над могилой чудес воспоминанья носились!
Все обрушило в прах неумолимое время,
И человеков рука не пощадила развалин!
Трепет невольный проник при виде грустных
обломков
Юноши грудь: вдали — он видит башни
Солдайи,[35]
Там за синей горой цвела блестящая Каффа.[36]
Полный тягостных дум, он песнь воспел
о минувшем:
«Генуа! Генуа! Ах! далеко, на береге чуждом
Ты схоронила детей, осиротевших, забытых!

Одиноко стоят, на взморье, башни пустые,
Сеют издали страх, вблизи вещают о смерти;
Сном заснула могил, под грудой
вечных развалин
Генуи дивная дочь, блиставшая славою
Каффа![37]
Тщетно воющий ветр минувшего гул отзывает
В древних стенах! И понт, из бездн валы
выдвигая,
Тщетно пенит утес валов знакомою пеной,
Тщетно будит от сна непробудимую Каффу!»
Он умолк и в синей дали, на мрачном востоке
Сильного Царства искал — и холм нашел
погребальный![38]
Расстилался туман по вечеревшему небу;
Там, казалося, прах Пантикапеи дымился!
Из зеленых могил Цари восставали Воспора
И приходили грустить на обломки
павшего Царства![39]
Но все тени в одну — неизмеримую
слились:*
Ветр далеко разносил края туманной одежды,
Над главой облака — разбегались седыми
власами,
Тень заняла небосклон, ей сердцем —
громовая туча!

Исполинской рукой она к югу бури громила,
И отвечали века на зов ее — гулом событий!
Так, в волнении дум и увлеченный
минувшим, —
Он в мечтах не видал, как утонуло светило;
Но от западных волн и стен забытой Корсуни
Ветр внезапный подул, туман развеял вечерний,
И, не касаясь земли, в лучах румяной зарницы
Изумленным очам предстал очарованный
призрак;
Все в небесных чертах отрадой райской
дышало,
И, как сладкая песнь, слова из уст вытекали:
«Юноша Русский! Зачем, увлеченный чуждою
думой,
Сильных зовешь из гробов, могилу времен
разрываешь?
Не пробудит твой глас давно заснувших
пришельцев!
Их, в чужой стороне, не своих рука схоронила,
И твоя чуждая песнь не прольет отрады
в их сердце!
Взор сюда обрати — Корсунь на западе
солнца! —
Там вдохновений ищи, там луч спасенья
и веры!

Я в сих древних стенах нашел благодати источник
И на Россию излил животворящие воды!
Юноша, в арфу ударь, сорви с веков покрывало!
Тронь сограждан сердца, воспали любовью к отчизне
И наполни их грудь благоговением к вере!
Жар я в струны вдохну, вложу в уста твои песни!»
Светлый призрак умолк; он погас с лучами зарницы,
И глубокая ночь осенила мраком утесы.

АПОСТОЛ В КИЕВЕ

...И рече Андрей: видите ли горы сия?
Яко на сих горах воссияет благодать Божья!

Долины Скифии обнял вечерний сон,
И солнца поздний луч в тумане погребен;
Широ́кий Ворисфен извивистой стезею
Один блуждал в степях и беглою волною
Неколебимые пустыни оживлял:
Он бурные века грядущего сзывал,
И веки шли к нему — в одном усталом
муже!
Пред ним, как даль степей, — грядущее
наруже;
С святыней на устах и с посохом в руке
Бестрепетный идет по пенистой реке;
Виденьями небес таинственными полный
Идет, не чувствуя, — земля ль иль бурны
волны, —
Апостол Божества! И многие страны
Протек, невежества снимая пелены,

Спасительной рукой кумиры сокрушая
И новый, светлый мир народам обещая.
Он не видал, как жизнь земная протекла;
Холодной Скифии языческая мгла
Лежала на душе; он шел — пустыни светом
Наполнить, оживить — любви святым
заветом!
Над путником остыл паливший зноем день,
И без приюта ночь раскидывала тень;
Ночлега дикого его искали взоры,
И зеленью дерев утесистые горы
Манили путника над бездной спящих вод:
Божественному — там покой забвенье льет!
Наутро он хотел, признательный душою,
Благословений след оставить за собою —
И было некому принять отрадный мир;
Ему безжизненный внимал безмолвно —
мир!
Апостол с вербы ветвь зеленую срывает*
И посох странствия в крест дивный
обращает;
Он, искупленья знак подняв на темя гор,
Грядущего развил невидимый обзор:
«Здесь дивный станет град! — воскликнул,
вдохновенный —
И Христианства луч его осветит стены!

Здесь Царства колыбель! В веках зародыш
сил!»
Так некогда Андрей пустыни посетил
И в Киевских полях божественной рукою
Воздвигнул первый крест над Русскою
землею!

ДНЕПР

...И тѣ Словѣне пришедше и сѣдоша по Днѣпру.

Днепр, воинственный Днепр, — России
Тибр величавый!
Воем седых валов на брань зовущий утесы!
Подвигов дивных река, река далеких
столетий!
Кто твои годы сочтет? Кто бурные подвиги
вспомнит?
Мрак проницая времен деяний отблеском
светлым,
Диких славян племена по тебе издавна
скитались!
Ты на бесплодных скалах их древние грады
взлелеял, —
Мрачный Смоленск тебя посылает к дальнему
югу,
Любеч[40] отцвел на твоих берегах, и Киев
надменный,

Став на твердых скалах, смирил кичливы
народы!
Царь одиноких степей, безмолвный браней
свидетель, —
Сколько вражьей крови слилось с твоими
волнами!
Сколько раз на тебе шатры половецки
белелись,
Печенегов толпы в твоих гнездились утесах,
Угров яркая сталь отражалась в бегущем
потоке,
Крымцы, поляки, Литва — коней поили
струями!..
Стук мечей, и треск щитов, и посвисты
копий,
Браней гул, и клик побед, и томные стоны,
Смерти последний вздох — тебе знакомые
звуки!
Завывая в скалах, им вторят шумные волны!..
Сколько раз неслись по тебе, окрыленные
смертью,
К Византии суда и возвращались
с победой! —
Рюрика сын!..[41] Оскольд!..[42] Святослав!..[43]
Олег победитель!..[44]
О, как сладки душе имен их звуки родные!

В ропоте каждой волны — отголосок славы их слышен...
Днепр, о Днепр! Краса, защита, слава России,
В шумных крутись берегах, реви сердитой волною,
Полным током теки по беспредельным равнинам,
Но не перетекай, о Днепр, величья отчизны!

РУСАЛКИ

Волнуется Днепр, боевая река,
Во мраке глухой полуночи;
Уж выставил месяц из тучи рога
И неба зарделися очи;
Широкие, и́дут волна за волной
И с шумом о берег биются;
Но в хладном русле́, под ревущей водой,
И хохот и смех раздаются.
  Русалки играют во мраке ночей,
  Неопытных юношей манят.

Как проглядывают ясные
Звезды в синих небесах, —
Друг за другом девы красные
Выплывают на волнах;
Полным цветом нежной младости
Привлекателен их хор,

Обещает много радости
Негою томящий взор.
  Бегите, о юноши, томных очей, —
  Мечтами коварные манят!

Черны косы, рассыпаяся,
С обнаженных плеч бегут;
По волнам перегибаяся,
Вслед за девами плывут;
Грудь высокая колышется
Сладострастно между вод, —
Перед ней волна утишится
И задумчиво пройдет;
Над водами руки белые
Подымаются, падут;
То стыдливые, несмелые —
Девы медленно плывут;
То в восторге юной радости
Будят песнями брега
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога
На пучине серебристые,
Или плеском быстрых рук
Брызжут радуги огнистые,
Резвятся в волнах — и вдруг
Утопают, погружаются

В свой невидимый чертог,
И видения теряются,
Как луны воздушный рог! —
  Не верьте, о юноши, мраку ночей, —
  Мечтами коварные манят!

ОЛЬГА

...Се оуже иду к вамъ,
да створю трызну мужю своему.

Задумчиво Ольга сидит у окна, —
О чем же горюет Княгиня?
О гибели мужа мечтает она,[45]
О возрасте юного сына,
В высокой светлице скучает одна,
И очи не знают отрадного сна.

Из терема видно теченье Днепра,
И мрачно колышутся волны:
Тяжелая на сердце пала гора,
Все думы отмщения полны;
Она на волнение смотрит Днепра, —
И взор обещает не много добра.

Главу приподняв с белоснежной руки,
Княгиня угрюмо спросила:
«Кто в ладьях несется вдоль бурной реки?»

И снова главу опустила.
Все отроки быстро к водам потекли
И грустный Княгине ответ принесли:

«Владыка Древлянский мирует с тобой,
Дарит тебя хлебом и солью
И молвит: „Не век оставаться вдовой".
Дели же княжую с ним долю;
Он с Игорем бился в грозе боевой, —
Тебя ж назовет своей верной женой!»

«Дре́вляне сразили супруга в боях! —
Я мести давно ожидала;
Забудут убийцы о брачных пирах!
Скажите им, — Ольга сказала:
„Вы, брачные гости, останьтесь в ладьях,
Народ понесет вас на мощных руках".

Близ терема знаете черный провал? —
Я белой махну вам рукою!»
Народ иноземцев в их ла́дьях поднял,
Несет их беспечной толпою,
Из терема Ольги он знак увидал, —
И рухнулись брачные гости в провал!

К Коростню сбирается Ольга в поход,
  Бросает княжую отчизну,
В Древлянскую землю дружины зовет
  Отпраздновать грозную тризну;
И сына-младенца с собою берет,
Копье Святослав боевое несет!

На холме супруга дружины стоят, —
  И дрогнули страхом древляне;
Пощады лишь просит у Ольги их град;
  Она ж говорит: «Горожане,
Здесь Игорю тризну дружины свершат
И вечный древлянам покой посулят!

Я дани обильной не требую с вас,
  Для тризны же все соберите
И с каждого дома, где птица вилась,
  Два голубя мне принесите».
По городу быстро молва пронеслась,
И к Ольге крылатая дань собралась.

Последняя ночь на Коростень легла!
  Не дремлют княжия дружины,
Пеньковую светочь Княгиня зажгла,
  На хвост привязав голубиный,

И каждая птица в свой дом принесла
Довольно огня, чтоб рассеялась мгла.

Обширное пламя! — Коростень горит,
  Рыдания жен раздаются,
Весь град пеленою багровой обвит,
  С младенцами матери рвутся;
Но все, что обломков и пламя бежит,
Княжáя дружина мечами разит.

Стоит на холме погребальном одна
  Не́сытая местью Княгиня.
О гибели мужа мечтает она,
  О возрасте юного сына,
И, отблеском пламенных зданий бледна,
Коростень съедает глазами она!

СВЯТОСЛАВ

...Ляжемъ костми ту,
мертвыи бо сраму не имутъ.

Пенит волны разъяренные
Днепр неистовый, ревет
И брега уединенные
Заунывным валом бьет.

В грозной бездне камни дикие
Дружно в бурях говорят;
Неприступные, великие,
Им и гром, и вихрь — не брат!

Как из камня ноздреватого
Змеи, выглянув, шипят, —
Печенеги Князя ратного,
Святослава сторожат.

Что за лебеди сребристые
Вверх Днепра-реки плывут?
Что за птицы голосистые
Песни сладостные льют?

Это ладии славянские,
Дружных весел плеск знаком!
Песни звучные, Баянские
Весело поет их сонм.

И меж ними — солнце красное,
Богатырский Князь сидит;
Он на воинство подвластное
Взором радостным глядит.

Говорит им: «Други смелые,
Не забудет нас Царь-град!
Его нивы запустелые
Голодом проговорят!

Наши ла́дьи полны золота,
Иноземного сребра;
Не помрем мы с глада, холода,
И судьбина к нам добра!

Вот обновы: меч воинственный —
Ярополку, и шелом;
Пояс греческий, таинственный —
В дар Олегу, и хитон!

А Владимиру...» — Пернатая
Перервала речь стрела,
И на грудь глава косматая
Тяжко витязя легла.

Смерть почуял неизбежную,
Обагренный кровью Князь,
И души борьба мятежная
В горькой речи излилась:

«Хорошо, что в землю хладную
Ольга, матушка, слегла!
Весть о сыне безотрадную
Перенесть бы не могла!

Верный друг мой, друг единственный,
Ты один, Свенельд, при мне;
Бурный век мой, век воинственный
Улетел, как бы во сне!

Дар сулил я сыну младшему,
Досулить же не успел;
Мне ль дарить, ах! мне ли, падшему?
Но скажи — я дать хотел.

Ты скажи — в волну зеленую
Я паду стрелой врагов;
Отнеси ж стрелу каленую
И скажи: „Губи врагов!"»

ОССИАН

Son of Alpin, strike the string.
Ossian

Коснися струн, о сын Альпина![46]
В них отзыв радости гремит!
И от души моей кручина
Туманом легким отлетит!
Тебе во мраке, Бард, внимаю;
Но да умолкнет песней глас,
В скорбях лишь я отраду знаю,
И жизнь годами упилась!

Зеленый терний над могилой,
Полночных ветров верный друг,
В тебе нет звука — прежней силой
Уж листьев не колеблет Дух!
Умерших тени в тучах славы,
Отзывный ветер их несет,
Когда луна, как щит кровавый,
С востока сумрачно идет!

Уллин![47] минувших дней отрада!
Дай в Сельме глас услышать твой![48]
Куда исчезли песней чада?
Без них вся жизнь — как сон немой!
Где в тучах ваш чертог орлиный?
Быть может, с арфой золотой
В туманных тканях из пучины —
Зовете солнца луч младой!

ГАЛЛ[49]

Breacker of echoing schields.

⟨Галл⟩

Щитов отзывных сокрушитель,*
Чью тень туманы погребли! —
Во мраке туч твоя обитель! —
Оттоль, Колгаха сын, внемли![50]

Шумит река, полет орлиный
Удары волн не привлекли;
Ты ветром увлечен пустыни —
Постой, Струмона царь, внемли!

Живешь ли в веяньи дубравы
Или рвешь терния с земли? —
Оставь и листья ей, и травы,
И мне, о Клоры вождь, внемли![51]

Иль в бурю с шумом гонишь волны,
Чтоб скал основы потрясли? —
В борьбе стихий — их гневом полный,
Родитель Галла, мне внемли!

Морн[52]

Кто будит старца в беглой туче,
Где с облаками жизнь слилась?
Как плеск волны о брег сыпучий,
О Галл, раздался мне твой глас!

Галл

О Морн! Я окружен врагами,
Их корабли идут с валов;
Дай меч Струмона, — он над нами
Блеснет, как луч меж облаков!

Морн

Вот меч отзывного Струмона!
Когда ты в бранях, сын, пылал, —
С туманного смотрел я трона,
Как метеор; — рази, о Галл!

АРФА

На арфу опершись рукою,
Я отголоску струн внимал
И отягченною главою
Склонясь, — в виденьях засыпал.
Передо мной мелькали тени
Моих утраченных друзей,
И в сонм знакомых привидений
Все близкие душе моей,
Казалось, медленно летели
С прощаньем горьким на устах,
И на меня они смотрели...
Проник невольный сердце страх, —
Слеза на арфу покатилась,
Как капля звонкого дождя,
И по струне она спустилась,
Звук заунывный пробудя. —
Проснулся я. — Сны изменили!

Но голос вещий струн — узнал;
Вы все, которые любили, —
Скажите, — что ж он предвещал?

ЗАБВЕНИЕ

Кто усладит мои страданья?
Кто слезы сирому сотрет?
Меня бегут воспоминанья,
Меня забвение зовет!
Везде, везде я за собою
Стираю легкий, зыбкий след,
И уже веет надо мною
Забвение грядущих лет! —
Так дышит хлад на дне могилы
И смерти освежает сон!
Так, бурные удвоив силы,
Глотает море слабый челн!

ЕРМАК

Путник

Младой Остяк![53] Ненастье в поле,
Останови твой быстрый бег:
Моей стези не видно боле,
Ее занес пушистый снег.

Остяк

Стою, о путник! Хладной дланью
Тебя приветствует Остяк!
И ты, быть может, вслед за ланью
Гонялся в ледяных степях?
Я сам с пернатою стрелою
Опередил встающий день;
Мы позднею сошлись порою,
Нас ночи настигает тень!

Путник

Я весь продрог, — мои ресницы
Одною льдиною срослись,
Меня не греет мех куницы,
Остяк! Куда мы забрались?

Остяк

Куда? Ирты́ша ты не знаешь?
На чьих же, путник, мы брегах,
По ширине его узнаешь,
Хотя зарытого в снегах!
Когда бы лето — гласом бурным
Иртыш проговорил бы сам!
Однажды вняв пучинам хмурным, —
Нельзя забыть! Другим рекам,
И даже вою Енисея
На ловле часто я внимал,
Но выразительней, сильнее
Ирты́ша — нет, я не слыхал!
Смотри, уж вьюга перестала.
Здесь недалёко мой курень;
Я не хочу, чтоб нас застала
На этом бреге ночи тень!

Путник

Чего ж боишься?

Остяк

Не бояться
С младенчества учились мы;
Стрелою меткой защищаться
Привык Остяк! — У нас домы
Не безопасны от набега —
А мы беспечно в кущах спим
На глыбах родственного снега.
Но деды правнукам своим
В рассказах мрачных передали
Молву о грозном мертвеце,
Чей призрак часто здесь видали!

Путник

Я вижу на твоем лице
Весь ужас грозного преданья;
Но сей мертвец — скажи, кто был?

Остяк

Его мудреное названье
Я прежде помнил, но забыл;

И нам ли знать о том, что было?
Поверь мне, путник, — в сих полях
Мне, кроме ланей, все постыло;
И если бы не тени страх,
Скитающейся над брегами, —
Я позабыл бы мертвеца! —
Он залит бурными волнами!

Путник

Скажи — что ж слышал от отца?

Остяк

Вот видишь, путник: много, много
Прошло холодных, бурных зим
С тех пор, как бранною тревогой
Иртыш великий был грозим.
Отколь? Зачем? — Я не открою,
Но бурной вьюгой притекли
Сюда, к убийственному бою,
Другого племя остяки;
Они друг друга убивали,
Везде лишь кровь текла одна,
Снега с полей уж не смывали
Войны багрового пятна.
И вот однажды ночь застала

Здесь, на Иртышских берегах,
Пришельцев. — Все меж ними спало,
Забыв о мстительных врагах.
Они ж стрелами разбудили
И смертью отогнали сон!
Но челноки пришельцев плыли
Среди кипящих, грозных волн. —
Их вождь был скован из железа,
И нашей смерти чужд он был!
В Иртыш — добыча мрачной грезы[54] —
Прыгнул, проснулся и поплыл.
И близок был к ладьям союзным,
Быть может, их бы досягнул, —
Иртышу показался грузным,
Иртыш взревел — он потонул!
Чу! слышишь треск? —

Путник

Лед проломался
И затрещал. —

Остяк

Неправда! — Он
На наши речи отозвался! —

Путник

Тебя тревожит грозный сон. —

Остяк

Что говоришь? Взгляни: поднялся
Из-подо льда живой мертвец!
Он нам грозит! — Он так являлся
Другим! — так рассказал отец!
Он в пролубь путников сзывает!
Огонь, огонь в его очах!
Смотри — он льдину подымает! —
Он бросит в нас! — Ермак! Ермак!

Путник

Ермак? —

Остяк

Мне страх напомнил имя!
Беги! Беги!

Путник

Тебя ль, герой,
Иртыш залил неумолимый?

И погребальною волной
Великого покрылась сила.
Утешься, грозный богатырь!
Пускай Иртыш — твоя могила,
Надгробный памятник — Сибирь!

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

...wehe, wehe, wer verstohlen
Des Mordes schwere Tat vollbracht.
Schiller

Сироткой несется ковыль по степям,*
Перекатываясь;
Однажды сорвавшись, к родимым местам
Не докатываясь;
И, ветров добыча, — скучает на воле
Перекати-поле!

Вот едет купец с молодою женой
На проселочный путь;
На ярмарке сбыт и товар дорогой —
Волновали их грудь;
Навстречу к ним мчится стезей круговой
Перекати-поле!

Купца засверкали живые глаза,
Улыбнуться хотел,
Но дикой улыбкой скривило уста, —

Он молчал и бледнел;
Все пусто! — а мнится на сердце купца
Перекати-поле!

На мужа со страхом взглянула жена:
«Что с тобою, мой друг?»
— «Как что? Я здоров!» — «Да скажи ж, я одна,
Не на сердце ль недуг?»
— «Ах, нет! Посмотри, как несется, жена,
Перекати-поле!»

— «Так что ж, не оно ли на сердце твоем?»
— «А тебе кто сказал?»
— «Ты словно волнуем мучительным сном,
Тебя страх обуял!»
— «Жена, не шепнуло ль тебе кой о чем
Перекати-поле?»

— «Опомнись!» — «Я помню! Когда бы забыть!»
— «Да о чем?» — «Не скажу!»
— «Жестокий! Я вижу, тебе погубить
Мало горя жену!
Меня в твоем сердце могло заменить
Перекати-поле!

Не любишь меня, не любил никогда!
В тебе нету души!»
— «Жена! Я люблю, буду верен всегда!»
— «Коли любишь — скажи!»
— «Так слушай! — Тебя ж, чтобы смяла гроза,
Перекати-поле!

Вот видишь: однажды ночною порой
На том самом пути
С хозяином ехал с базара домой,
И попутал в глуши
Лукавый меня, как теперь пред тобой, —
Перекати-поле!

Без совести я обобрал старика,
Взял из пазухи нож;
— „Помилуй, не режь, не убей старика!"
— „Как спущу — донесешь!"
Вот мчится, когда уж поднялась рука,
Перекати-поле!

— „Родной, не скажу, не скажу, я клянусь!" —
И в крови уж старик.
— „Так слушай же, к Богу теперь я молюсь,
Чтобы казнью настиг;

Свидетелей нет — на тебя положусь,
Перекати-поле!”

Что было, то сплыло! — Под этим бугром
Схоронил его я;
С тех пор и женился, и дружно живем,
Ты родная моя!
Молчи ж! — И пусть мчится обычной стезей
Перекати-поле!»

Он смолкнул, и в ужасе смолкла жена,
В ней изныла душа;
Все ноет, томится скучна и бледна, —
Не забыть ей ножа! —
И молча сидит, поминая она
Перекати-поле!

Не вынесла горя, приходит к судьям:
«Муж убийца и вор!»
И он в преступленьи сознался властям,
Смерть — его приговор.
«Ой, съело меня, — молвил он палачам, —
Перекати-поле!»

Сироткой несется ковыль по степям,
Перекатываясь;

Однажды сорвавшись, к родимым местам
Не докатываясь;
И, ветров добыча, скучает на воле
Перекати-поле!

УНЫНИЕ

La nature pour lui n'a plus d'écho; et le vulgaire prend pour de la folie ce malaise d'une âme qui ne respire pas dans ce monde assez d'air, assez d'enthousiasme, assez d'espoir.

⟨J. de Staël⟩. Corinne

Я гасну, я гасну в безжизненной мгле,
И сердце уж пеплом одето!
Зачем не могу я найти на земле
Душе моей пылкой ответа?
Иль нет очага, чтобы пламя вместить?
И сердца — всей страстью моей упоить?

Вы звукам внимаете песни младой,
А вам и на мысль не придется,
Что сердце певца с его каждой струной —
В могильном созвучии рвется!
И скоро останется арфа одна,
Без струн и без сердца, как призраки сна!

С улыбкой глядите на краски лица,
  На возраст, на юные силы! —
Еще ли не знаете сердца певца? —
  Его равнодушьем убили! —
Взгляните, как вешний течет водопад; —
Но стают снега — и все воды стоят!

Ах, дайте мне призрак, бегущую тень,
  Крылатой мечтой освежите!
И хладную ночь в согревающий день —
  Любовью своей обратите!
Создайте мне сердце, создайте одно! —
Меня воскресит — отголоском оно!

СОН ПЕВЦА

Не будите певца в его сладостном сне!
На оттенки лица посмотрите, — оне
Выражают любовь, выражают печаль,
То в волнении кровь, то минувшего даль;
Напрягает черты, и рука ищет струн;
Но вам чужды мечты, вы не знаете дум!
Он так крепко заснул, чтобы мир позабыть,
Чтоб никто не дерзнул его к плачу будить!
Если в очи хоть раз завернется слеза,
Не закроешь уж глаз, — ее выжить нельзя!

СТИХИИ

I had a dream, that was not all a dream.
Byron

Я с Духом беседовал диких пустынь! —
  Пред юношей с мрачного трона
Клубящимся вихрем восстал исполин —
  Земли расступилося лоно!
Он эхом раздался, он ветром завыл, —
И юношу тучею праха покрыл.

Я с Духом беседовал бурных валов! —
  Завыли широкие волны;
Он с пиршества шел поглощенных судов,
  Утопших отчаяньем полный!
И много о тайнах бездонных ревел, —
И юноша пеной его поседел!

Я с Духом беседовал горних зыбей,
  С лазурным владыкой эфира;
И он, улыбаясь во звуке речей,

Открыл мне все прелести мира;
Меня облаками, смеясь, одевал, —
И юноше свежесть эфира вдыхал!

Я с Духом беседовал вечных огней! —
Гул дальнего грома раздался!
Не мог усидеть он на туче своей,
Палящий, клубами свивался,
И с треском следил свой убийственный путь, —
И юноше бросил он молнию в грудь!

Я духом напитан ревущих стихий,
Они — и с младенцем играли;
Вокруг колыбели моей возлегли
И бурной рукою качали;
Я помню их дикую песнь надо мной, —
Но как передам ее звук громовой?

ПРОМЕТЕЙ

E caddi come corpo morte cade.
Dante

По высям Кавказа скитается Дух,
Суровый его повелитель;
Он царства свершает холодного круг,
Снегов покидая обитель,
В порфире метелей, в венце ледяном,
И бури сзывает могучим жезлом!

Давно уж, в златые младенчества дни,
Когда над цветущим созданьем
Носилися жизни приметы одни,
И смерть — не была ожиданьем, —
На трон одинокий, ступенями скал,
Он шел и с улыбкой на землю взирал!

Внезапно исторгся орел из-под ног,
На кости стопа наступила,
Он стал и без ужаса видеть не мог,

Что птица впервые открыла:
Пред ним распростерся на диких скалах
Великого остов, иссохший в цепях!

Широкие кости окованных рук
Свободно в железах ходили;
От ног раздавался пронзительный стук, —
Их ветры о камень разили;
Но череп остаток власов развевал
И, страшно кивая, зубами стучал!

Трепещущий Дух над костями стоит,
Впервые о смерти мечтает;
На светлый свой призрак уныло глядит
И с остовом грозным сличает;
Одни у них члены и те же черты,
И смертию — Духа смутились мечты!

Он легкой рукою тяжелую кость
С трудом со скалы подымает,
Но с радостью видит, как тяжкая кость
Опять на скалу упадает;
А он, подымаясь, — летает в зыбях! —
«Бессмертен!» — И тщетный рассеялся страх!

Но Дух своенравный пылает стыдом,
  Он мстит за минуту боязни
И остов свергает могучим жезлом
  Со скал — к довершению казни!
С вершины Кавказа, во звуке цепей,
Упал, рассыпаясь костьми, Прометей!

ЭСКИМОСЫ

Эскимос

Ревет нахмуренное море,*
Плывут громады вечных льдов;
Наш челн потонет, — горе! горе!
Мы все — добыча злых валов.
Зачем, безумные, отплыли
От берегов родной земли?
Коварным сном нас заманили
Вы, вероломные валы!

Жена

Мой сын! мой сын! — младенец милый,
Неужли лоно хладных волн —
Тебе сужденная могила!
И никогда твой легкий челн

Над Гроенландскими морями[55]
Не опенит седых валов!
Ты сам пернатыми стрелами
Не будешь ужасом китов;
Питомцы снега, наши лоси
Не разбегутся пред тобой,
И не помянут эскимосы
Тебя за чашей круговой!
Седая ведьма — страж полночи,
Сметая бури помелом,
Для нас ты мрак сгустила ночи,
И стелишь одр на дне морском!

Эскимос

Жена! еще одно спасенье,
Но не для всех — осталось нам;
Троих не вынесет в волненьи
Наш утлый челн: конца бедам
Один из нас пусть ищет в море,
Другой, с младенцем, доплывет!

Жена

Какую мысль внушило горе!
Но как, без нас, сын расцветет?

Эскимос

Ты видишь: трем — смерть неизбежна,
Но без меня он может жить.
Возьми ж весло рукой надежной,
Ты мать! — Тебя ему любить.
Он так привык, как в колыбели,
В твоих объятьях засыпать;
В часы бушующей метели
Ты будешь сына согревать,
И сил источник несозревших —
Всосет он с сладостным млеком!

Жена

Иль мало серн осиротевших,
С оставшимся от чад млеком?
Но кто же взрослого — стрелами
Зверей научит поражать?
Отважно управлять ладьями?
Китов на берег увлекать?
С медведем белым в бой суровый
Вступать на плавающих льдах,
Чтобы мехов одежды новы
Развесить в радостных шатрах?
Тебе я сына поручаю,
Меня младенцу заменяй!
Я не нужна — и утопаю!

Эскимос

Постой!

Жена

О сыне помышляй!

Эскимос

Она в волнах! — В пучине хладной
Простыл ее минутный след!
Младенец плачет безотрадный:
Ах! матери замены нет!
Твой плач — ей песнью погребальной!
Быть может, там, на дне пучин,
Раздался ей сей вопль прощальный,
И мать — еще утешил сын!

ГОЛОС СЫНА

Е. В. Н.........вой

О мать! — Зачем с душой унылой,
Как памятник минувших лет,
Ты стала над моей могилой? —
Меня давно в могиле нет!

Я там, куда не обращаешь
Взор, затмеваемый слезой;
Сотри слезу, и ты узнаешь —
Где я живу, дыша тобой!

Я в той стране, где нет печали,
Где не слыхали о слезах;
Куда мы прежде возлетали
С тобой, о мать, в одних мольбах!

Ах, бесконечною тоскою
Ты нарушаешь мой покой;
Твоею каждою слезою
Тускнеет светлый призрак мой!

Не унывай! — Что мне в сей жизни,
В сей горькой области мечты? —
Я улетел к моей отчизне,
Отколь изгнанницею ты!

Но в те унылые мгновенья,
Когда мечтаешь быть одна,
И духа чувствуешь смятенье —
Меня, о мать, узнай, меня!

Ты не одна! — Я над тобою,
Так близко от тебя лечу,
Маню прозрачною рукою,
Обнять невидимо хочу!

ИДЕАЛ

Сбылись живые сновиденья,
Блеснул очам мой идеал!
Когда в минуты вдохновенья
Я без надежды создавал
Сей призрак светлый, незабвенный
В неисполнительных мечтах, —
Найти не льстился во вселенной
Небесную — в земных чертах!
Мне дева юная мелькала
В обилии златых власов;
Ее одежда догорала
Румянцем поздних облаков;
Стан величавый возвышался,
Как мысль о горних небесах;
И мир лазурный отражался
В ее задумчивых очах —
Я в ней таинственную деву

Поэзии боготворил;
Любил внимать ее напеву,
Все вдохновения ловил;
Но призрака воображенья
В природе мрачной не искал;
Сбылись живые сновиденья,
Блеснул очам мой идеал!

ПЕВЕЦ И ОЛЬГА

К.⟨нягине⟩ З. А. В.......ой

П е в е ц

Великая тень! Для чего ты мелькаешь
В таинственной мгле безмятежных ночей?
Мечтой о минувшем зачем нарушаешь
Отрадные сны утомленных очей?
Не звуков ли арфы опять ожидаешь,
Могучего отзыва славы твоей?
Иль в песнях вещать ты к потомству желаешь?
Вещай — и певцу вдохновенье пролей!

О л ь г а

Не к тебе я лечу нарушать твои сны! —
Не певца я ищу, но могучей жены!
В ней варяжская кровь моих светлых Князей,
Ольга спящая вновь пробудилася в ней!

Ее стан величав, как сосна на холме,
Под которым Синав[56] позабыл о земле!
Кудри спят на плечах снеговой белизны,
Цвет лазурный в очах — Белозерской волны;[57]
И блистают лучом вдохновенья глаза —
Не столь ярким огнем я Коростень сожгла![58]
Но душа велика, как пустыни обзор,
И как дно глубока моих Чудских озер!
Она Ольгу одна постигает вполне,
И, воспрянув от сна, воспоет обо мне!

В ПЕРСИЮ!

Я слышу клич призывный брани! —
Ему внимает жадный слух.
На битву рвется меч из длани,
В груди пылает юный дух!

Зарокотали смертью струны, —
Я узнаю их вещий глас!
Их громозвучные перуны,
Друзья, — на бой подвигнут вас!

На бой! на бой, на поле славы
Стремитесь бурною толпой!
Вас увенчает лавр кровавый,
Бессмертье — храм откроет свой!

Сожмите меч в руке могучий!
Отважно обнажите грудь!

На сонм врагов, как вихрь летучий,
Неситесь в незабвенный путь!

Туда, туда, где бурны волны
Аракса берега разят,[59]
И где, ковчега страж безмолвный,
Стоит двуглавый Арарат![60]

Туда — где колыбель Вселенной!
Где мира первобытный Рай!
Мы там сорвем венец нетленный,
Велим молве — не умолкай!

О конь, кипящий духом брани,
Неси меня на бурный бой!
Как цвет да не увяну ранний,
Да не паду в стране чужой!

И ты руке нетерпеливой
Не измени, надежный меч!
Тебе вверяю я порывы
Души младой: с тобою лечь!

ОСНОВАНИЕ МОСКВЫ

Се повѣсти времяньныхъ лѣтъ!
Нестор

Кропит брега Москва-река
И град Царей в волне своей
Золотоглавый отражает,
С крестами куполов играет;
Ее струи блестят вдали,
Где темя гор пленяет взор,
И Воробьевских рощ прохлада —
Обзору дальнему преграда.
И над рекой седой стеной,
Суров и дик, весь Кремль приник;
Громадой башен величавый,
Он стал — Российской память славы,
Как исполин, Авроры сын, —
Она златит, но сын молчит
В пустынях Мемнонийских Нила;[61]
И ты, Москвы краса и сила,

О Кремль! стоишь и весь горишь
В златых лучах, но нет в сердцах
Тебе могучего ответа —
Промчались радостные лета!

Но не всегда Москва-река
Под дикими Кремля стенами
В немом величии текла! —
Над живописными брегами
В преданьях дальней старины
Леса прохладные качались;
Одни зеленые холмы
В ее потоке отражались;
И одинокою струей
Она бежала по долине,
Природной дивная красой,
Не зная о своей судьбине!

Но кто стоит на берегах
В лучах задумчивой зарницы? —
Слеза жемчужная в очах
Блестит сквозь черные ресницы;
Она сложила на груди
Крестом трепещущие руки,
И волновалися в груди
Биеньем сердца — сердца муки.

Она мечтала о стенах,
Стенах Владимирских, отрадных,
О днях любви, волшебных днях —
Мимотекущих, невозвратных!
Ее любил удельный Князь,
Сын Мономаха, Долгорукий;[62]
Но муж молвы услышал глас, —
Жене отмстил Боярин скукой.
И на брегах Москвы-реки,
В селеньи Кучкове унылом,[63]
Дни одинокие текли
С суровым старцем, ей постылым.

Но не плеснула ли волна?
Не колыхнулись ли дубравы? —
Невольно вздрогнула она,
Глядит на волны, на дубравы —
И тихо все! — В вечерний сон
Мир утомленный погружался;
Не сердца ли тяжелый стон —
Ей чуждым звуком помечтался?
Она глядит в туманну даль,
И гул — с Владимирской дороги!
Сквозь мрак ветвей мелькнула сталь,
Затопотали конски ноги.
Она — в неверии очей;

Боится радости предаться,
Но с сладкою мечтой своей
Не хочет рано расставаться!
Все звукам внемлет, вдаль глядит,
Без мыслей, цели, ожиданья
И, неподвижная, стоит
Под пеленой очарованья.
Как утром, на краю морей,
Туманы плавают стадами,
И волны все ясней, ясней,
И ближе свет, и вдруг лучами
Проглянет солнце — так предстал
Внезапно Князь и сжал в объятьях,
Но робко взор ее блуждал,
Она не знала — в чьих объятьях?

«Узнай меня, мой нежный друг!
С тобой, прелестная Предслава,[64]
Делю воинский мой досуг! —
Иду я выгнать Изяслава[65]
Из Киевских родимых стен:
На Мономаховом престоле
Окончу я твой долгий плен —
Недолго жить тебе в неволе!
Мне без тебя весь свет постыл;
Веди в свой терем одинокий!»

— «Что говоришь? Или забыл —
Со мною здесь мой муж жестокий!
Бесстрашен он, как твой булат,
Как сталь — в нем закалилось мщенье!»
— «Пусть будет рад или не рад,
Мне дела нет до угощенья!
Я знаю — он имеет связь
С моими тайными врагами;
Но я — его удельный Князь,
Какие ж распри между нами?
Не бойся, друг, — веди меня!»

Они идут, но старца взоры
Узнали Князя из окна,
И он велит на все запоры
Замкнуть дубовые врата.
А сам из терема крутого
Смеется: «Красная чета,
Пируйте! — Гостя дорогого
Где хочет угостит жена!»
Отмщеньем вспыхнул Долгорукий:
«Узнаешь, как принять меня!
И будет впредь тебе наукой!
Сей час с колоды сбей врата,
Ломай весь дом, моя дружина,
Чтоб не осталося следа!»

Предслава молит властелина,
Но тщетно — ей не внемлет Князь.
Отвсюду бревна, доски рвутся,
Уж с треском кровля сорвалась,
И праха облака несутся, —
Рассеялись — и дома след
В одних развалинах остался!
Но где ж она? — Предславы нет!
Князь долго местью наслаждался,
Теперь очнулся — близь себя
Предславы ищет, не находит:
Где терем был — теперь одна
Громада бревен. Князь подходит,
Под грудой — тело старика,
И вся в крови брада седая;
Там дальше — белая рука,
Но не его, и не мужская,
Из-под тяжелого бревна
Последней судорогой бьется —
Не подымайте же бревна!
Уж поздно! Так пусть остается!
Сын Мономаха — ты отмщен!
Желал ли ты такого мщенья?

И на крови воздвигнул он,
Чтобы прикрыть след преступленья,

Золотоглавую Москву!
Под Капитолия стенами
Отрыли свежую главу! —
Москва заложена костями,
Ей первым камнем — череп был,
И Галл — меч об него разбил!**

** Москва — *третий Рим* (говорят летописцы). Капитолий заложен на окровавленной голове; Москва также основана на крови. *Истор.⟨ия⟩ Карамз.⟨ина⟩* (подстраничное примеч. А. Н. Муравьева).

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 10

Взгляните на шатер Тавриды,
Раскинутый на теме гор.

Гора Чатыр-Даг или Шатер-Даг имеет издали совершенный вид шатра, раскинутого над горизонтом свыше темя всех прочих гор, и от сего получила свое название. С ее вершины видна панорама целого Крыма: солнце, показываясь на горизонте Кафского пролива, садится в Черное море за Севастополем и обнимает в своем течении весь полуостров. —

Как целый мир в пространстве года, —
В объеме дня вместился Крым.

С. 19

Я на холме среди развалин,
Вокруг меня обломки стен...

Это тот холм, который насыпали корсунцы посреди городской площади, разрушая ночью насыпь осаждающих. Кто не вспомнит на груде священных развалин Владимира, просветителя России!

С. 29

Здесь дружбе некогда воздвигли
Чудесный храм.

Искатели древностей утверждают, что на том месте, где теперь Георгиевский монастырь, возвышался некогда храм Дружбы в честь Ореста и Пилада, освободивших Ифигению.

С. 31

Туманны башни Балаклавы,
Забытые на берегах...

Много Генуэзских крепостей, почти невредимых, осталось на берегах Тавриды. Балаклава и Солдайя в Судацкой долине особенно замечательны смелостию строения, висящего над самым морем как продолжение скалы, на которой оно основано. В Балаклаве море узким протоком, пробив утесы, образует малый пруд, служащий пристанью.

С. 36

Беги, лети — о конь, ты стал?

Вид южного берега неожиданно открывается взорам в чаще леса. Вершины двух утесов

останавливают путника: в одном из них пробиты ступени. Сия лестница называется Мердвень.

Два каменистых исполина
На праге берега стоят.

С. 41

Конь мчится мимо: расцветая
Пред ним в садах Кикинеис...

Здесь я постепенно называю живописные татарские селения, встречающиеся на берегу.

С. 58

Весь Аю-Даг передо мною
Громадой дикою встает,
Подняв хребет, склонясь главою,
Он волны, рассекая, пьет.

Гора Аю-Даг, по рассказам мореплавателей, имеет издали вид медведя, склонившегося главою к водам. Татарское название горы ознаменовало силу воображения: *Аю* значит медведь; *Даг* — гора.

С. 59

На западе я вижу волны,
Биющие седой утес,
Где Юрзувитов прах безмолвный
Давно по берегу разнес
Шумящий ветр! 〈...〉

Многие крепости, как то: Юрзуф, Алупка и проч. были воздвигнуты Греческим Императором Юстинианом II для охранения берега.

С. 64

Ламбат! Ламбат! Приют покоя,
Для сердца мирный уголок!

Сие очаровательное место принадлежит почтенному и гостеприимному Андрею Михайловичу Бороздину, всегда оставляющему в сердцах путешественников приятную память своего ласкового угощения.

С. 75

Но все тени в одну — неизмеримую слились...

Два великие Гения поражают воображение путника на двух концах Тавриды. На востоке среди развалин Пантикапеи (нынешней Керчи) —

Митридат; на западе над обломками Корсуни — Св. Владимир. Я избрал обоих предметами двух моих трагедий.

С. 79

Апостол с вербы ветвь зеленую срывает...

Берега Днепра изобилуют вербами (иначе ивами).

С. 97

Щитов отзывных сокрушитель...

Эта пьеса, равно как и предыдущая, переведены из Оссиана. *Струмон* — имя реки.

С. 109

Сироткой несется ковыль по степям...

Сия баллада основана на истинном приключении. Перекати-поле есть степная трава, имеющая вид клуба на тонком стебле; ветры, срывая ее, катят по полям.

С. 122

Ревет нахмуренное море...

Сказание об эскимосах не выдумка. Меня поразила сия сильная черта материнской любви в диком народе. Я старался изобразить в сей пьесе обычаи и даже суеверие эскимосов, полагающих, что ведьма управляет их холодным и тесным миром.

ДОПОЛНЕНИЯ

А. Н. МУРАВЬЕВ

ОПЫТЫ В СТИХАХ

Era gia l'ora che volge il disio
ai navicanti e'ntenerisce il core
lo dì c'han detto ai dolci amici addio.

Dante

Heu fuqāces, Postume, Postume, labuntur anni

Horatius

СМЕРТЬ ДАНТА

Действие в Равенне,
в чертогах владетеля Гвида да Поллента.
Дант (умирающий на ложе), Поллента.

Дант

Певца-изгнанника последний покровитель,
Поллента! — Я иду в ту мирную обитель,
Которую от бурь давно себе желал:
Для гостя твоего последний час настал!
Ты Данта не отверг, ты старцу в утешенье
Скитавшемуся был... Прими ж благодаренье;
Да наградит тебя небесный наш Отец!

Поллента

Нет, нет! твоих друзей, божественный певец,
Еще не оставляй! — Тебе венки лавровы
Италия плетет, — сограждане готовы
Тебя со славою принять в родимый град! —

Дант

Уж поздно! Мертвого они не воскресят!
. . . .
Приподыми меня, Поллента, дай мне руку,
Хочу я воздухом мою развеять муку;
Веди ослабшего... Я сяду близь окна...
Дорога из него к Флоренции видна...
Вот так, благодарю.

(Садится)

Поллента

О чем мечтаешь ты?

Дант

Вы изменили мне, любимые мечты!..
. . . .
Когда я пел, землей и небом вдохновенный,
Высокий гимн Творцу, был голосом
Вселенной, —
К жестокой родине любовью я горел,
И в славе я искал изгнанию предел,
Мечтал поэмою открыть стезю к отчизне
И упокоить там остаток бурной жизни!..

Тогда б в тот светлый храм, где смертный грех
омыл
Водой крещения, — я в торжестве вступил
И над купелью бы принял венок мой... Где я?..
Ах, я в Равенне!..

Поллента

Дант! или во мне злодея
Ты здесь нашел?

Дант

Прости, мой благородный друг.
Ах! речь невольную, и горе, и недуг
Из сердца вырвали.* — Прости, мои
страданья
Ты облегчил; но, друг, не знаешь ты изгнанья,
И на престоле ты его не испытал;
Я ж, по Италии скитаяся, узнал,
Как солон хлеб чужой и как крута дорога
На чуждое крыльцо![1] — Поллента, много,
много
Я странником терпел; — на старца не сердись!

* Первоначально: *извлекли* (примеч. составителя).

Поллента

Друзьями вечно быть взаимно мы клялись.

Дант

Так! Ты один мне друг! Флоренция, с тобою
Я узы все расторг; ты адскою враждою,
Непримиримая, всю жизнь меня гнала
И в ранний, чуждый гроб бескровного свела!
Ты мне не родина! — Не признаю тебя!
Не твой певец, не сын, — здесь в землю лягу я!
Не погребе́шь меня, — я мертвою рукою
Твой камень гробовой с моей могилы срою!..
Поллента, поклянись не выдавать мой прах!

Поллента

Не выдам, Дант.

Дант

Клянись!

Поллента

Или в моих словах
Ты сомневаешься?

Дант

Клянись!

Поллента

Клянусь святыней!

Дант

Но клятва на тебе не на одном, — на сыне,
На внуке, правнуках, на роде всем лежит,
И горе племени, когда ей изменит!
Клянись за весь свой род!

Поллента

Клянусь всесильным Богом!

Дант

Теперь спокоен я. Поллента, об убогом
Ты в счастьи не забыл, все дал ему, что мог; —
Прими же от Певца, от странника в залог
Признательности — все, что с жизнью*
оставляю, —
Мои творения! Тебе их завещаю.

* Первоначально: *в жизни* (примеч. составителя).

Сей свиток сохрани, он с Дантом не умрет,
И скоро вся к тебе Италия придет,
Как к свежему ключу — здесь черпать
вдохновенья,
И будут ей мои — Оракулом виденья!

Поллента

О Дант, бессмертный Дант! ах, ежели знаком
Тебе молений глас, и если этот дом
Приютом был тебе, забвением страданий, —
Не отвéргай, молю, отцовских заклинаний!
Ты сам отец, о Дант!

Дант

Что хочешь? Говори!

Поллента

Еще ты жив! И вот твой свиток... Ах, сотри
Любовь, судьбу и смерть, воспетые тобою,
Франчески, дочери!..

Дант

Безумный!

Поллента
(бросается к ногам его)

Пред тобою
Здесь повергаюсь я, певец, как пред судом
Всего потомства, Дант! Ах, сжалься
над отцом
Несчастной дочери, не разглашай позора,
Из ада выведи, оставь без приговора!
Она мне стоила столь многих горьких слез!
Когда б ты знал ее!..

Дант

Поллента! много слез
Я пролил сам в часы подземного свиданья;
Как трупы падают — упал я от рыданья,
Увидя тень ее! — Тебе прощаю я
Безумную мольбу; Франческа — дочь твоя!
Восстань... иль ты мечтал — я мог
без вдохновений
Духовный мир воспеть и видеть без видений?
Пройти сквозь Ад и Рай — живым в толпе
теней
И мертвый, хладный мир — создать в душе
моей?..
Поллента, я не Бог! Взгляни, я умираю,

Как смертный; хладный труп — вот все,
что оставляю;
Но некогда сей труп был духом оживлен
Божественным, был им в святилище введен,
И не мои слова в устах моих гремели!
Когда б не истину они запечатлели —
Тогда б страшился жизнь меж теми потерять,
Которые сей век — минувшим будут звать!

Поллента

Безмолвствую, о Дант! В слезах благоговею!

Дант

Но время! Смерть в очах! Я гасну и хладею!
Дай руку мне, сожми... прости... не забывай!
Бог, Искупитель мой! — прими меня
в твой Рай...

(Умирает)

1827

ИТАЛИЯ

Италия! — страна могил,
Развалин и воспоминаний.
Италия! я полюбил*
Младенцем гул твоих преданий!

Твой мертвый Рим меня сковал
Окостеневшею рукою;
В толпе теней я возрастал**,
С твоей сроднился я семьею...

И неужли в потоке лет
Мечты не сбудутся младые?
И не прильнет мой зыбкий след

* Первоначально: *возлюбил* (примеч. составителя).
** Первоначально: *взрастал* (примеч. составителя).

К гробам, где спят твои *Живые*?
Италии — потомства нет!
Мой путь — под своды гробовые!

1827

ЦАРЕГРАДСКАЯ ОБЕДНЯ

Баллада

«Когда ж я увижу Софийский алтарь?[2]
Что мне обещанья пустые!
Ты, Ходжия,[3] ты сего храма ключарь, —
Открой мне врата золотые!» —
Так стража седого Князь Гика просил,[4]
И старец младенцу речами грозил*:

«Затем ли отец, молдаван Господарь,
Мне вверил твое воспитанье,
Чтоб я на погибель открыл сей алтарь
И с неба навлек наказанье? —
Мой сын! — не укроем от гнева Судьбы
Ни кудрей златых, ни седой головы!

* Первоначально: *в ответ говорил* (примеч. составителя).

Хотя в сей мечети читают Коран,
И гимны Алле раздаются, —
Не смеет никто из благих мусульман
К вратам алтаря прикоснуться!
Дерзнет ли — и здесь же сразит его гром! —
Так вечным мечети — алтарь сей пятном!»

— «Нет, Ходжия, туркам алтарь сей грозит,
Гонителям Греческой веры!
Но мне, православному, он не закрыт,
Младенцу откроются двери!»
— «Останься, мой сын, ах! останься, поверь:
В пучину геенны ведет сия дверь!»

Но тщетно, младенец не внемлет мольбам;
От старца поспешной стопою
Бежит — и с улыбкой подходит к вратам,
Пленяется пышной резьбою,
Парчевую занавесь хочет поднять...
Врата вдруг открылись — его не видать!

Отчаянный, Ходжия с вестью бежал
К отцу малолетнего Гики,
Седой Господарь со слезами упал
К подножию трона Владыки,

Об участи сына узнать он молил,
«Но кто же узнает?» — Султан возразил.

— «Меж греками есть чудотворный монах —
Он столп адамантный закона! —
Григорий укрылся в Афонских горах,
Сойдя с Патриаршего трона. —
В броне своих дел прикоснется к вратам,
И тайны святыни поведает нам!»

В Софийской мечети — духовный собор
С святою водой и крестами,
Толпится на крылосах юношей хор
И храм очищает мольбами.
Меж ними смиренно стоит Господарь
И влажные взоры вперил на алтарь.

Святитель идет в облаченьи к вратам,
Завесу отдернул с мольбою,
Взглянул, — что предстало смятенным очам?
Он дрогнул и быстрой рукою,
Завесу задернув, вступил на амвон,
И слов его ждет ужаснувшийся сонм!

В священном восторге Григорий стоит:
    Земное далеко, далеко!..
Глагол прорицаний уста шевелит,
    Горит вдохновенное око! —
Ему суждено Искупителем быть
И кровью свободу отчизне купить!

«Внимайте! внимайте! — В тот миг роковой,
    Когда Византия упала,
Тех дней Патриарх[5] недоступной мольбой
    Молил, чтобы казнь миновала,
И полным собором обедню служил,
Но тела и крови еще не вкусил,

Когда среди вопля, убийств и огней
    Ворвалися в храм янычары,
Достигли по трупам до Царских дверей,
    Уж близки мечей их удары, —
Внезапно захлопнулся с треском алтарь,
И пала завеса пред сонм янычар!

Я первый содвинул завесу веков, —
    И мне те же лица предстали
В том виде, в котором их тучи врагов
    В минуту обедни застали! —
Седой Патриарх, наклонясь на престол,
Стоит над дарами, внимая Символ.[6]

И два архидьякона митру над ним
Обмершей рукою подъемлют,
И два архирея над даром святым
Недвижимо воздух колеблют,
И два иподьякона с вечным огнем
Безжизненным блеск отражают лицом!

Вокруг — Митроносных двенадцать чинов,
Как трупы, стоят без движенья,
Не внемля течению долгих веков.
И, чуждые порабощенья,
Как будто не зная о наших цепях,
Стоят, неприступные, в вечных мольбах!

И самое время расторгло для них
Жестокие смерти* заветы!
Лишь томная бледность на лицах святых
Легла отпечатком столетий!» —
«Где ж сын мой?» — воскликнул князь Гика в слезах.
— «Близ образа Девы, с кадилом в руках!

И знайте: тогда лишь сей службе конец,
Когда наша цепь разорвется,
С Султана падет — Константинов венец,

* Первоначально: с *смертью* (примеч. составителя).

Здесь знамя креста разовьется,
И сонм одноверцев проникнет в сей храм,
И Царь Россиян прикоснется к вратам![7]

Тогда лишь отыдут на вечный покой
Уставшие в долгом соборе! —
Но прежде... я слышу стенанья и вой!
Я вижу кровавое море!
Все ужасы, все упадут на тебя,
Отчизна!.. и первою жертвою — я!»

1827

КРЕМЛЬ

Тихий хор теней

Когда бурный ветр на соборных главах
Звено о звено ударяет
Крестовых цепей, и луна на стенах
Тень длинную тенью сменяет, —
И люди, как смертью, окованы сном —
Их жизнью дохнуть мы из гроба встаем!

Другой хор из собора

Моря житейского шумные волны
Мы протекли!
Пристань надежную утлые челны
Здесь обрели!
Здесь, невечернею радостью полны,
Слышим вдали —
Моря житейского шумные волны!

Хор дев на теремах

Не спеши, денница красная,
Не беги, родная ночь!
Загляни к нам в терем, ясная
Темносиних сводов дочь!
Под златыми покрывалами
Собирается наш двор,
Здесь Царевны запевалами,
Княжеский им вторит хор!
Здесь, забыв минуты скучные
В гробе душного нам дня,
Мы вплетаем в песни звучные,
Что нам пела старина!
Мы живем воспоминаньями
Невозвратных жизни дней,
Упиваемся мечтаньями,
И в мечтах — вся жизнь теней!
Мы любуемся волнением
Лунных струй Москвы-реки! —
Так невидимым течением
Наши годы утекли!
Ах, с ее водами синими
Мы знакомы с давних дней,
И грудями лебедиными
Часто волновались в ней. —

И на дев светила ясная
Темносиних сводов дочь! —
Не спеши, денница красная,
Не беги, родная ночь!

1827

ТАДМОР

Ты видел ли, путник, пустынный Тадмор,[8]
Разбитыми дивный столбами,[9]
И терние́м солнца поросший притвор?
Его омывает песками
Ветр буйный пустынь, и он бел на степях,
Как белые кости в разрытых гробах.[10]

Ты знаешь ли, путник, — кто создал Тадмор?
Смотри: на гнедой кобылице
Араб! он степей оживляет обзор,
Ширяя в них лётом орлицы;
Скажи ему: «Мир тебе, друг бедуин;
Поведай: кто создал владыку пустынь?»

«Джьяур![11] Его создал наш Царь Соломон,
А дикое время разбило!
На Западе знают ли, кто Соломон?

Ему вся исподняя сила
Служила рабами — и дивным жезлом
Водил он трепещущий демонов сонм.[12]

Всю жизнь их тяжелой работой карал; —
Одни аравийское злато,
Другие из моря жемчуг и коралл
Носили без меры и платы;
Иных — обелисками Нила томил,
Другими Ливанские кедры возил.

И так его демонов сонм трепетал,
Что долго по смерти царёвой,
Когда уж он мертвый пред ними стоял,
На жезл опершися кедровый,
Над коим прямой его труп онемел, —
Никто ему в очи взглянуть не посмел!

Год лишний работал на мертвого сонм,
Доколе жезла не сглодали
Могильные черви — и пал Соломон —
И демонов мигом не стало!
Джьяур! Вот что слышал средь наших степей,
Близ спящих верблюдов, в прохладе ночей!»

1828

БОГОМОЛЕЦ

Я принял крест, я посох взял,
Меня влечет обет священный;
Вы все, для коих я дышал
В отчизне дальней, незабвенной,
  Ах! помолитесь за того,
  Кто вспомнит вас в своих мольбах!

Куда весь Запад слал сынов
За гроб Господний лечь костями,
Стезею славной их гробов
Пойду с молитвой и слезами.
  Ах! помолитесь за того,
  Кто вспомнит вас в своих мольбах!

Где в перси Божиих дворян[13]
Сквозь медные кольчуги кольца
Вперялись стрелы Агарян,[14] —

Меня ждет пальма богомольца![15]
  Ах! помолитесь за того,
  Кто вспомнит вас в своих мольбах!

И где страдал за смертных Бог,
Паду пред гробом Искупленья!
Быть может, там доступней вздох,
И сердце чище для моленья!
  Ах! помолитесь за того,
  Кто вспомнит вас в своих мольбах!

К мете далекой труден путь,
Коварны степи, бурно море,
И часто богомольца грудь
Стеснит тоска, взволнует горе!
  Ах! помолитесь за того,
  Кто вспомнит вас в своих мольбах!

Когда взойдет в стране родной
Ненастье, знойный день над вами,
Ах! понеситесь в край глухой
За юным путником мечтами!
  И помолитесь за того,
  Кто вспомнит вас в своих мольбах!

Когда ж, быть может, там мета
И странствию, и краткой жизни,
И лягу я под сень креста
Далеко от полей отчизны —
  Ах! помолитесь за того,
  Кто вспомнит вас в своих мольбах!

1829

ИОСАФАТОВА ДОЛИНА[16]

Юдоль плачевная, юдоль суда,
Где вспрянут осудившие Христа
Во звуке их встревоженных костей
И в ужасе о слепоте своей!
Юдоль плачевная! — На дне твоем
Все ныне спит могучим смерти сном,
Кедрон в числе умерших![17] Над тобой
В вечерний час, как саван гробовой,
Лежит поруганного храма тень!
Все кончено, сбылось в судьбе твоей;
Из стольких будущих для мира дней
Один тебе остался — судный день!

1830

* * *

Ночная мгла град облегла,
Безмолвие в стенах Сиона,[18]
В святой тиши журчат струи
Плачевного ручья Кедрона.[19]

И в царстве сна встает луна —
Пустынница полей эфира,
Как тень бледна, как смерть хладна,
Бесстрастный гость ночного мира.

ХАНСКАЯ ЛОВЛЯ

Хор ловчих

Средь шумных дубрав и обширных степей,
Которые делит волнами
Клокочущий* Терек, поитель коней,
Доколь не проглочен песками,[20] —
В палящие дни и в прохладе ночей —
Мы, ловчие, ловим заветных зверей!

Наш звонкий рожок проникает леса,
Он слышен сквозь грохот потока;
Копье наше видит, и чует стрела, —
Для метких нет цели далекой!
Что утром летает, что скачет в горах,
Мы вечером дружно несем на плечах!

* Первоначально: *раздвигший их* (примеч. составителя).

1-й ловчий

Широко орел надо мною летал,
Расстлавший крил черную ризу,
И клектом — он племя людей осмеял,
Бескрыльем прикованных низу!
Я месть мою вверил пернатой стреле, —
И жизнь его — в ветрах, а труп — на земле!

2-й ловчий

Из свежей дубравы исторгся олень,
Ветр буйный ноздрями глотая,
И следом — рогов лишь ветвистую тень
На дол против солнца кидая!
Но псов и коня сам бы ветр не нагнал,
И ночью на коже оленьей я спал!

3-й ловчий

Где дикого Терека бурный исток,
За туром рогатым я гнался;
С скалы на скалу чрез ревущий поток
Быстрее он Терека мчался;
И, ринувшись с камня, на роги он пал —
Чтоб вспрянуть! — Копье мое вслед —
и не встал!

Другой хор

Когда, по небесной скитаясь степи,
Скидает, как лань свои роги,
Усталое солнце дневные лучи, —
Для ловчих стихают тревоги!
Их дети добычу рвут жадно в шатрах,
А жены лелеют на белых грудях.

И снятся им ловли в прерывистом сне:
То лани чрез ложе их мчатся,
То вепрь в изголовьи клык точит на пне,
То выклевать очи стремятся
Орлы, иль на грудь с камня тур им падет,
Иль Терек сердитый волнами их бьет!

Отважный ловец глухо вскрикнет сквозь сон,
И, спящий, протяжно завоет
В ответ ему пес, и заржет его конь,
Он в сумраке — взоры откроет...
О, страх!.. Горный Див, жаждой крови томим,[21] —
Стоит, полузверь-полуптица, над ним!

1829

ПЕСНЬ ПЛЕННИЦЫ

Бурным ветрам — песнь моя,
Синей Волге — злая речь,
Мертвых — к жизни кличу я,
А живых — в могилу лечь!

Словно птица неясыть,[22]
Я скитаюсь по ночам
И устами льну к гробам,
Чтоб мне хладом их остыть!

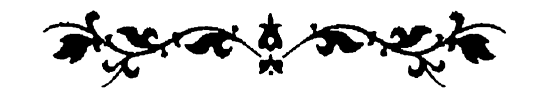
Лучше б бывшему не быть,
Чем в бедах о нем тужить,
Был мне дом, был Царский трон,
Ныне ж рабством заменен!

Ненавистный сонм людей
Жадно ждет моих речей;
Вещим — холод сердца мнит,
Словно горю — рок открыт!

Отзыв ждет бедам чужим,
Там, где нет его своим;
Не доверю людям чувств;
Как они — мне мир их пуст!

Бурным ветрам — песнь моя,
Синей Волге — злая речь!
Ветры — в степь, река — в моря,
Мне ж — в сырую землю лечь!

1829



ОТЗЫВЫ КРИТИКИ О «ТАВРИДЕ»

Е. БАРАТЫНСКИЙ.
«ТАВРИДА» А. МУРАВЬЕВА. М., 1827 г., in 12, 148 с.

Полезна критика строгая, а не едкая. Тот не любит искусства, кто разбирает произведение с эпиграмматическим остроумием. Более или менее отзываясь недоброжелательством, оно заставляет подозревать критика в пристрастии и удаляет его от настоящей его цели: уверить читателя в справедливости своего мнения. Еще замечу, что, разбирая сочинение, не одной публике, но и автору (разумеется, ежели он имеет дарование) нужно показать его недостатки, а этого никогда не достигнешь, ежели будешь расточать более насмешки, нежели доказательства, более будешь стараться пристыдить, нежели убедить сочинителя.

Ежели строго разбирать стихотворения г-на Муравьева, конечно, многое и очень многое найдешь достойным осуждения; но в то же вре-

мя увидишь красоты, ручающиеся за истинное дарование. Г-н М.⟨уравьев⟩ Поэт неопытный, но Поэт, — и это главное. Во всех его пьесах небрежность слога доведена до крайности; но почти во всех ощутительно возвышенное вдохновение. Он еще не написал ничего истинно хорошего, но подает прекрасные надежды.

Книга г-на Муравьева заключает в себе описательную поэму под названием «Таврида» и несколько мелких стихотворений.

«Таврида» — произведение совершенно ученическое. Создание ее бедно или, лучше сказать, в ней нет никакого создания. Это риторическое распространение двух стихов Пушкина в «Б.⟨ахчисарайском⟩ Ф.⟨онтане⟩»:

Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все пусто, все уныло...

Ежели мы прибавим, что в поэме г-на Муравьева нет ни одной строфы, с начала до конца написанной истинно хорошими стихами, достоинство ее будет весьма невелико. «Таврида», кажется, первый опыт г-на Муравьева; но ежели в ней еще не видно искусства, то видны уже силы. «Таврида» писана небрежно, но не вяло. Неточные ее описания иногда ярки и необработанные стихи иногда дышат каким-то беспокойством, похожим на вдохновение. Не привожу примеров, ибо сказанное мною чувствительнее в целом сочинении, нежели в его частностях.

В мелких стихотворениях дарование г-на Муравьева гораздо зрелее. Каждая пьеса уже заключает в себе более или менее полное создание, и от времени до времени встречаются прекрасные стихи. Приведем отрывок из стихотворения «Ермак», которое одно из хороших в разбираемой нами книге. Остяк рассказывает Путнику о завоевании Сибири по темным преданиям, сохранившимся в его племени:

Вот видишь, путник: много, много
Прошло холодных, бурных зим
С тех пор, как бранною тревогой
Иртыш великий был грозим.
Отколь? зачем? я не открою;
Но бурной вьюгой притекли
Сюда, к убийственному бою,
Другого племя остяки;
Они друг друга убивали,
Везде лишь кровь текла одна,
Снега с полей уж не смывали
Войны багрового пятна.
И вот однажды ночь застала
Здесь, на Иртышских берегах,
Пришельцев. Все меж ними спало,
Забыв о мстительных врагах.
Они ж стрелами разбудили
И смертью отогнали сон!
Но челноки пришельцев плыли
Среди кипящих, грозных волн.
Их вождь был скован из железа,
И нашей смерти чужд он был!
В Иртыш, добыча мрачной грезы,

Прыгнул, проснулся и поплыл,
И близок был к ладьям союзным,
Быть может, их бы досягнул,
Иртышу показался грузным,
Иртыш взревел, — он потонул!

Другого племя остяки, И нашей смерти чужд он был, Иртышу показался грузным. Прекрасно! Но сколько недостатков в этом отрывке! *Я не открою* — нужно: *я не знаю*; *они друг друга убивали*, — т. е. воины Ермака друг друга убивали, по смыслу стихов; это ли хотел сказать сочинитель? *Снега с полей уж не смывали войны багрового пятна*, слишком изысканно для Остяка. *Забыв о мстительных врагах*: *мстительных* — ненужный эпитет. *Они ж стрелами разбудили*... Кого? Все четверостишие дурно. *В Иртыш, добыча мрачной грезы*... Почему знает Остяк, что Ермаку в это время что-нибудь грезилось? Лучше было сказать: *полусонный*. Надобно заметить, что я разбираю хорошее у г-на Муравьева...

Не буду говорить особо о каждом стихотворении г-на Муравьева: это бы заняло слишком много времени. Не могу, однако ж, оставить без внимания стихотворение его «Стихии», которое мне кажется лучшим из всего собрания как по созданию, так и по исполнению. Я приведу его в новое доказательство и прекрасного дарования г-на М.⟨уравьева⟩, и великих его недостатков.

Я с духом беседовал диких пустынь!
Пред юношей, с мрачного трона,
Клубящимся вихрем восстал исполин;
Земли расступилося лоно!
Он эхом раздался, он ветром завыл
И юношу тучею праха покрыл.

Строфа сия звучна и живописна; но где же логика? К чему: *земли расступилося лоно*? Г-н Муравьев изобразил уже своего духа, *восставшего с мрачного трона*, следовательно, трон этот ему видим, следовательно, он не в глубине земли; а ежели не так, то прежде, нежели явится дух, земля должна расступиться. Сколько несообразностей! Последние два стиха прекрасны.

Я с духом беседовал бурных валов!
Завыли широкие волны;
Он с пиршества шел поглощенных судов,
Утопших отчаяньем полный!
И много о тайнах бездонных ревел,
И юноша пеной его поседел!

Завыли широкие волны... — вставка. Следующие три стиха красоты превосходной. Ежели б г-н Муравьев всегда облекал в подобные стихи картины своенравного воображения, мы бы уже поздравили себя с великим Поэтом. *И юноша пеной его поседел*: дурно, потому что изысканно. Надобно было сказать: *И юношу пеной своею покрыл*. Лирическая поэзия любит простоту выражений.

Я с духом беседовал горних зыбей,
С лазурным владыкой эфира!
И он, улыбаясь во звуке речей,
Открыл мне все прелести мира;
Меня облаками, смеясь, одевал,
И юноше свежесть эфира вдыхал!

В этой строфе хорош один только стих: *Меня облаками, смеясь, одевал.* Что такое значит: *во звуке речей открыть все прелести мира?* Прочтите кому угодно эти два стиха, каждый будет их толковать по-своему и, может быть, никто не угадает настоящей мысли автора. К тому же дух эфира должен говорить только о своей области, а не о целом мире; а не то г-ну Муравьеву не для чего беседовать особо с каждым стихийным духом: довольно поговорить с одним воздушным, который всеведущ.

Я с духом беседовал вечных огней!
Гул дальнего грома раздался!
Не мог усидеть он на туче своей,
Палящий, клубами свивался,
И с треском следил свой убийственный путь,
И юноше бросил он молнию в грудь!

Отчего дух огня не мог усидеть на своей туче (не говорю уже о низком выражении: *усидеть*)? Чего же он испугался? Можно ли писать таким образом и никогда не поверять воображения рассудком? Для пользы искусства почти досадно, что г-н Муравьев человек с дарованием.

Я духом напитан ревущих стихий,
Они и с младенцем играли;
Вокруг колыбели моей возлегли
И бурной рукою качали;
Я помню их дикую песнь надо мной,
Но как передам ее звук громовой?

Эта строфа с начала до конца прекрасна, кроме рифм: *стихий* и *возлегли*, которые чересчур не точны. Еще: *И бурной рукою качали* — кого, что? Должно подразумевать, колыбель, но это не сказано: местоимение здесь необходимо.

Скажем вообще о г-не Муравьеве, что, богатому жаром и красками, ему недостает обдуманности и слога, следственно, — очень многого. Истинные поэты потому именно редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать другим свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего ж писать? Надеемся, что г-н Муравьев в будущих своих сочинениях исполнит наши ожидания и порадует нас красотами, не затемненными столькими недостатками.

М. П. ⟨*М. П. ПОГОДИН*⟩. «ТАВРИДА» А. МУРАВЬЕВА. МОСКВА. В ТИПОГРАФИИ С. СЕЛИВАНОВСКОГО. 1827. В 12 д. 147 с. (МЕЛКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРИЛОЖЕННЫЕ К «ТАВРИДЕ», ЗАНИМАЮТ с. 69—147.)

Мы получили разбор сих стихотворений, слишком строгий и резкий, — но не печатаем оного, прочитав в «Телеграфе» разбор г-на Баратынского, слишком, впрочем, снисходительный. Держась середины, мы скажем вместе с Баратынским, что в стихотворениях г. Муравьева часто бывают видны следы пиитического беспокойства, — и часто отсутствует логика, как говорит другой рецензент.

Советуем г-ну Муравьеву воспользоваться замечаниями критиков. Мы очень уверены, что он исправил бы многое странное в своих стихотворениях и представил бы их в лучшем виде, если бы не поторопился издать оные в свет. Желаем, чтоб сей опыт послужил ему в пользу при издании его трагедий.[1]

Между тем позволяем себе сказать несколько слов о некоторых мыслях в разборе г-на Баратынского.

Он говорит, что «Таврида» есть «риторическое распространение двух стихов Пушкина в „Б.⟨ахчисарайском⟩ Ф.⟨онтане⟩"

Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все пусто, все уныло...»

А чрез шесть строчек: «„Таврида" писана небрежно, но не вяло». Здесь противоречие: или г. Муравьев не растягивал двух стихов Пушкина в 800, или писал вяло.

«Лирическая поэзия любит простоту выражений». Сие положение очень неопределенно и подвержено многим исключениям: укажем на простые выражения в *эпических* местах Священного писания, на простую сцену в *трагедии* «Борис Годунов» Пушкина, — а с другой стороны, на псалмы Боговдохновенного Давида, на непростого Пиндара и проч.

Нам кажется, что лирическая поэзия более прочих допускает непростые выражения.

«Истинные поэты потому редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего». — Нет — у истинных поэтов воображение бывает *вместе* и умом: они не поверяют своих творений, а творят верно.

«Критика едкая не приносит пользы ни читателям, ни авторам». На это мы скажем, что с слепыми нечего говорить о цветах, а знаток искусства и в едкой критике различит истину от суждений пристрастных.

[*П. И. ШАЛИКОВ*]. «ТАВРИДА» А. МУРАВЬЕВА. С ЭПИГРАФОМ: PATET CASTIS VERSIBUS ILLE LOCUS. OVID. EX PONTO. МОСКВА. В ТИПОГРАФИИ С. СЕЛИВАНОВСКОГО. 1827.

Поэт воспел почти всю Тавриду в стихах, ознаменованных печатью развивающегося таланта. Вот предметы его пиитических размышлений: I. Вообще *Таврида*; II. *Чатыр-Даг, Бакчи-Сарай, Развалины Корсуни, Георгиевский монастырь, Балаклава, Мердвень, Алупка, Орианда, Ялта, Аю-Даг и Кучук-Ламбат*. Это почти целая поэма *Крым*, занимающая во 148 (всей книги) 66 страниц и разделенная на 117 осмистишных строф. Остальные листки заняты другими стихами. Вот они: *Поэзия, Чатыр-Даг, Апостол в Киеве, Днепр* и проч. Есть везде стихи сильные, приятные, дышащие каким-то *Державинским* полетом; но есть и небрежные, слабые, даже темные; между рифмами звучными, блестящими есть полубогатые, небогатые, бедные и даже непростительные, например: *знаешь — не знаешь!* Выпишем несколько хороших стихов из *Тавриды*.

V

Передо мной шумели волны
И заливали небосклон;
И я, отрадной думы полный,
Следил неизмеримость волн —
Они сливались с небесами.
Так наша жизнь бежит от нас
И упивается годами,
Доколе с небом не слилась.

(*Тавр.*, стр. 7-я)

XLV

И где с горы нависли стены —
На дне долины море спит;
Но на волнах его нет пены;
Оно не воет, не шумит:
Так спит младенец в колыбели,
Когда, рукой навеяв сон,
Младая мать, склонясь к постели,
С улыбкой смотрит — спит ли он.

(*Балаклава*, стр. 30)

Картина, достойная Легуве![1]

LXIV

Уж вечер — синими стадами
Идут туманы по горам,
И, пробираясь меж скалами,
Рисуют путника очам

То лес дремучий, необъятный,
То грозный стан, то пышный град;
То древних стен объем зубчатый
И башен уцелевший ряд.
(*Орианда*, стр. 42)

Превосходно окончена пиеса *Ермак*. В отношении к нему вот что сказал Стихотворец:

Утешься, грозный богатырь!
Пускай Иртыш — твоя могила,
Надгробный памятник — Сибирь!

А вот и целая пиеса:

ГОЛОС СЫНА

Е. В. Н..........ой

О, мать! — зачем с душой унылой,
Как памятник минувших лет,
Ты стала над моей могилой? —
Меня давно в могиле нет!
Я там, куда не обращаешь
Взор, затмеваемый слезой;
Сотри слезу, и ты узнаешь —
Где я живу, дыша тобой!
Я в той стране, где нет печали,
Где не слыхали о слезах,
Куда мы прежде возлетали
С тобой, о мать, в одних мольбах!
Ах! бесконечною тоскою
Ты нарушаешь мой покой;

Твоею каждою слезою
Тускнеет светлый призрак мой!
Не унывай! — Чтó мне в сей жизни;
В сей горькой области мечты? —
Я улетел к моей отчизне,
Отколь изгнанницею ты! —
Но в те унылые мгновенья,
Когда мечтаешь быть одна
И духа чувствуешь смятенье, —
Меня, о мать, узнай, меня!
Ты не одна! — я над тобою
Так близко от тебя лечу;
Маню прозрачною рукою,
Обнять невидимо хочу!

О. СОМОВ.

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ЗА 1827 ГОД.

[Фрагмент].

«Таврида», поэма г. А. Муравьева, слаба по вымыслу, но в некоторых ее стихах мелькают искры дарования. Приложенные к ней другие стихотворения г. Муравьева богаче и воображением, и хорошими стихами. Впрочем, и сии первые опыты ручаются нам, что с выполнением условия, предложенного выше,[1] и с меньшею доверчивостию к самому себе г. Муравьев может занять не последнее место в списке молодых наших поэтов.

Н. МАРКЕВИЧ.
УКРАИНСКИЕ МЕЛОДИИ.
[Фрагмент].

Днепровская Русалка, которая столько лет или десятков лет увеселяла нашу публику, приняла бытие свое от Днепра; если устарела опера, то воспоминания удовольствий, которые она нам когда-то доставляла, придают ей большую цену; только недавно благодаря Ал. Серг. Пушкину перестали петь наши провинциальные красавицы арии из «Днепровской Русалки». Но преданье о Русалках, и теперь оставшееся во всей почти силе своей, не одному сочинителю этой Оперы дало мысль для произведений поэтических; один писатель прелестно изобразил их следующими стихами:

Черны косы рассыпаяся,
С обнаженных плеч бегут;
По волнам перегибаяся,
Вслед за девами плывут:

Грудь высокая колышется
Сладострастно между вод, —
Перед ней волна утишится
И задумчиво пройдет;
Над волнами руки белые
Подымаются, падут;
То стыдливые, несмелые —
Девы медленно плывут;
То в восторге юной радости
Будят песнями брега,
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога...
(*Таврида* А. Муравьева. Стр. 86)

В этом описании нечего переменить; несколько таких пьес могут поставить писателя на высокую степень; игривость, отделка языка и изобилие картин находим мы в совершенстве; косы, которые плывут, перегибаясь на волнах, волна, которая, притихнув, проходит задумчиво мимо *лучшей волны*, и забава, которую красавицы находят в том, чтобы ловить рога месяца: все это достойно пера высокого; только жаль, что сочинитель не знал, где остановиться, и что строка, следующая после гораздо лучшей и привлекшей внимание читателей, кажется хвостом: *ловят месяца рога, на пучине серебристые*. Главное искусство состоит в том, чтобы знать, где осадить Пегаса. Лучшее должно быть на конце, а не то и лучшее, и окончание будут друг другом взаимно испорчены.

Есть к Днепру и другая пьеса того ж сочинителя (С. 82); она не так блестяща, но есть строки прелестные, достойные Днепра. «Река далеких столетий! Кто твои годы сочтет! Смерти последний вздох — тебе знакомый звук» (С. 131).

[*А. В. НИКИТЕНКО*].
ОБОЗРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

[Фрагмент].

⟨...⟩ Собрание их (стихотворений. — *Н. Х.*) вышло в свет в 1827 году под названием: *Таврида*. В них заключаются небольшие лирические пиесы. Предметом их служат то красоты крымской природы, то изображение сентиментальных порывов сердца, свойственных наклонностям тогдашних юных поэтов. Вообще стихотворения эти слабы и по содержанию, и по языку. Они принадлежат к роду тех сочинений, которые пишутся под влиянием мимолетного скользящего по душе одушевления, принимаемого авторами их за признак чуть не гения, тогда как это просто признак некоторой суетности, желающей во что бы то ни стало обратить на себя внимание общества.

«ВОКРУГ „ТАВРИДЫ"»: ПИСЬМА А. Н. МУРАВЬЕВА А. А. МУХАНОВУ, В. А. МУХАНОВУ И М. П. ПОГОДИНУ

ПИСЬМА АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ МУХАНОВУ

1

Alexandrovskoe. Le 20 d'octobre 1826

Pardon, cher Mouchanoff, que je ne vous ai pas écrit jusqu'à présent: à peine arrivé j'ai rempli vos commissions envers votre frére, mais je n'étais pas d'humeur à écrire, et même à présent je prends la plume le cœur serré. — Jamais de la vie je n'étais aussi triste que lors de mon arrivée à Moscou; j'ai revu tout ce qui m'était jadis cher avec la plus grande indifférence, mais je ne savais pas me réjouir comme auparavant, et jusqu'à présent je ne puis me rendre raison de cette profonde tristesse qui m'accompagne partout. Elle redoubla à mon arrivée à la campagne. — Me trouvant sur les lieux où s'écoula mon enfance si gaie, si brillante, seul et sans cette foule d'amis

qui m'environnait jadis, je ne puis me retenir d'un sentiment involontaire de douleur, qui me bouleversa d'autant plus, que j'étais obligé de le cacher aux gens de mon pére. Vous pouvez concevoir ce que c'est que la dissimulation pour un être comme moi énervé par la fougue de mes affections et des sensations fortes qui viennent m'accabler sans que je puisse en devenir maître ou les cacher, c'est un tourment moral sans fin; Dieu merci je quitte aprés-demain la campagne et je m'établirai à Moscou, où j'airai au moins quelques distractions et moins de souvenirs. Je suis si franc envers vous puisque vous me comprenez, un autre aurait ri de ma faiblesse, qui véritablement en est une; mais est-ce ma faute, si le ciel a voulu me créer ainsi; et mettre un brasier dans mon cœur qui finira par me brûler.

Венчайте ранними цветами
  Чело певца;
Он тронул мощными струнами
  Друзей сердца!
Но кипарис пускай вплетется
  В его венок;
Своим он пламенем сожжется,
  Он жить не мог!*

Que vous dirai-je sur ma tragédie? — Elle a plu à tout le monde, on a trouvé Рогнеда magnifique et

* Рядом со стихотворным текстом приписка: «*Avez-vous retrouvé la montre que vous avez perdue le soir de mon départ?*» (примеч. составителя).

de la faiblesse dans Vladimir; ce qui est bien vrai, mais la faute en est à l'histoire; je vais à Moscou pour la retoucher un peu par rapport aux vers, et pour faire de la musique aux chœurs.

Si mon semestre de quatre mois arrive, j'irai à Pétersbourg, de grâce accélérez, — le si vous le pouvez de Тульчин, vous m'obligerez infiniment. J'ai donné entre autres quelque piéces dans un nouvel almanach qui va paraître le nouvel an; on me force d'imprimer la «Tauride», et on ne comprend pas l'immensité du «Déluge»; ils y sont noyés. — Cependent quelques personnes l'ont goûté et me prient de le continuer; mais Раич a pris le parti de la «Tauride»; je m'attendais à le voir plus grand; figurez-vous dans la tragédie il a plutôt pensé aux vers qu'aux caractéres; et l'eau du déluge lui a echappé de la bouche comme à Tantale, cependant je n'ai pas à me plaindre de la réception de mes poésies; on venait chez moi tous les soirs et on me faisait tant lire que la poitrine a commencé à me faire mal. Jusque'à ce moment je ne me suis pas occupé de poésie; je n'ai fait que ici une petite ballade d'un sujet populaire — «Перекати-поле», elle est trés originale, et je vous l'enverrai un jour, maintenant cela m'ennuit trop de copier, de tout ce temps je n'ai lu que le seul «Ivanhoe»; cela peut vous montrer dans quelle humeur je suis; je désire qu'elle passe au plus vite, puisque je me sens entièrement abattu. Pour le moment je reviendrai à mon ancien sujet, la bataille de Tiberiade et j'ai l'intention de faire cette tragédie, c'est que j'ai

des sources pour y suppléer; je veux lire Michaud et «Le voyage en Syrie»; — «Ivanhoe» m'a entièrement excité pour les croisades; que ne vivons nous dans ces temps heureux — où on pouvait s'élancer sur son destrier, pour aller la croix en main combattre à Palestine! — Si je ne puis être de ce temps je veux le chanter, et me plonger pour quelque mois dans les brillantes rêveries de ces siècles fameux:

И душа моя улетит во звуках!

En voilà trop, je vous ai ennuyé avec trop de tragique — mais vous me connaissez assez pour me pardonnez l'empreinte de folie dont ma lettre respire; — adieu — pensez à votre ami qui vous aime tendrement.

Tout à vous

A. Mouraviev.

Saluez Colochin; je lui suis bien reconnaissant de m'avoir jugé autrement que les autres.

2

Москва. 1 декабря 1826

Я так долго не отвечал тебе, любезный Муханов, полагая из письма твоего, что сам скоро тебя здесь увижу, но, узнав вчера от Владимира[1] о замедлении твоего отъезда, я спешу благодарить тебя за то удовольствие, которое ты мне доставил

своим письмом. По твоему желанию и к собственному удовольствию я довольно часто навещаю брата твоего — и видел вчера Jean,[2] который только что приехал из деревни. Я с ними очень сблизился. Я знаю, что ты любишь новости; но у нас никаких почти нет, кроме больших перемен в мундирах, которые ожидают к новому году. Слухов нет о Персидской войне — ожидают на весну новой кампании — брат меня туда зовет, может быть, я решусь к нему ехать, впрочем, ничего еще не знаю насчет будущей моей службы.[3]

Теперь надобно тебе сказать что-нибудь о Поэзии. С тех пор как я здесь, я написал несколько малых пьес: «Перекати-поле», «Байкал», «Трубадур», «Локоны», «Песнь Стихий», «Певец и Ольга» и проч., и проч.[4] Вчера ходил на Ивана Великого искать вдохновений и начал балладу «Основание Москвы»[5]:

Кропит брега Москва-река
И град царей в волне своей
Золотоглавый отражает,
С крестами куполов играет;
Ее струи блестят вдали,
Где темя гор пленяет взор
И Воробьевских рощ прохлада —
Обзору дальнему преграда;
И над рекой седой стеной,
Суров и дик, весь Кремль приник
Громадой башен величавый —
Он стал — Российской память славы,
Как Исполин, Авроры сын!

Она златит — но сын молчит
В пустынях Мемнонийских Нила!
И ты, Москвы краса и сила,
О Кремль, стоишь и весь горишь
В златых лучах, но нет в сердцах
Тебе могучего ответа!
Промчались радостные лета!

Я буду теперь продолжать сию пиесу, я было начал «Потоп», но здесь невозможно его продолжать. Я стал известен в Москве пьесой, которую написал Е. В. Новосильцевой на смерть ее сына.[6] Все старые дамы обо мне говорят; — и моя трагедия ходит по рукам.[7] Я в нескольких местах ее читал — и теперь знаю ее наизусть. Баратынский восхищен «Потопом». «Тавриду» я печатаю. Пушкина нет, но его ⟨опять⟩ сюда ожидают, тогда я с ним познакомлюсь; Хомяков в деревне. Вот все, что имею сказать о себе. И на сей раз окончу письмо еще маленькой пьесой.

СОН ПЕВЦА

Не будите певца в его сладостном сне;
На оттенки лица посмотрите — оне
Выражают любовь, выражают печаль;
То в волнении кровь, то минувшего даль
Напрягает черты, и рука ищет струн, —
Но вам чужды мечты, вы не знаете дум!
Он так крепко заснул, чтобы мир позабыть,
Чтоб никто не дерзнул его к плачу будить —
Если в очи хоть раз завернется слеза,
Не закроешь уж глаз, ее выжить нельзя![8]

Прощай, любезный Муханов, желаю тебе по возможности приятно проводить время — кланяйся Будбергу[9] — и не забывай преданного тебе

А. Муравьева.

3

Лысинка. 10 августа 1827

Давно уже ожидаю от тебя писем, любезный Муханов, но, верно, ты хочешь меня перемолчать. Будь по-твоему — мне досадно только видеть, что мне надобно быть беспрестанно на твоих глазах, чтобы напомнить о себе — в отсутствии же у тебя память коротка, да и у всех тульчинских. Что мне сказать о себе? Я живу в Лысинке очень мирно и покойно, даже так приятно, что я отложил мое намерение ехать в Тульчин; к тому [же] оно было б и бесполезно, потому что я получил насчет отставки ответ, что она отложена до первого сентября. Итак, может, долго не выйдет.

Справься, пожалуйста, в дежурстве и разреши мое недоумение: должен ли я подать в сентябре новое прошение или достаточно и этого? Пожалуйста, уведомь сейчас и адресуй письмо твое по летучей почте в г. Звенигородку для доставления в м. Лысинку.

Теперь, поговорив с тобою о деле, скажу несколько слов и о Поэзии, которая сделала в сие последнее время большие успехи: я кончил сегодня вторую песнь «Потопа»; она сильнее очерками первой, хотя и не имеет столько в себе поэзии; я бы прислал тебе отрывки, но это бы слишком много заняло времени и бумаги. Я также продолжаю трагедию «Битву при Тивериаде, или Падение Крестоносцев в Палестине»; и уже на половине четвертого действия, но мне кажется, она будет только слабым опытом в немецком роде. Не знаю, что дальше будет. Впрочем, есть хорошие сцены, но они не понравятся многим, потому что писаны белыми пятистопными ямбами и слог очень прост, судя по лицам. У меня в голове бродит новый план трагедии — «Жизнь Тасса, или Судьба Поэта».[1] Если ты читал жизнь его, то ты вспомнишь, как он был гоним за Поэзию, почтен за сумасшедшего людьми, которые его не поняли, ожесточен их обращением и наконец умер пред получением венца в Капитолии. Какой сюжет! Эта трагедия будет моею любимою и, верно, всех лучше удастся! Вот все мои новости, впрочем, уединение, Природа и совершенное забвение меня утешают.

Я не получил ни одного письма от своего брата, хотя и писал к нему. Также нет ответа и от к.⟨нязя⟩ Вяземского. Скажи, если получаешь «Телеграф», напечатаны ли «Италия» и «Смерть Данта»?[2] Прощай, отвечай мне ско-

рее, я с нетерпением буду ожидать твоих писем —

твой А. М.

Засвидетельствуй мое почтение графине.[3]

Кланяйся Жеребцову[4] и тем, которые меня помнят.

4

Звенигородка. 23 августа 1827

Пишу к тебе несколько слов, любезный Муханов; — поход переменяет все мои намерения;[1] итак, постарайся остановить мою отставку; нельзя ли написать о том через дежурство в Петербург, если это нужно. С сею же почтою я пишу к графине,[2] прося ее исполнить ее обещание насчет помещения моего в ординарцы к графу.[3] Постарайся и ты о том же. Может быть, я на днях приеду в Тульчин.

Прощай ⟨нрзб.⟩,

твой А. Муравьев.

Я прошу Жеребцов.⟨ых⟩[4] то же сделать.

5

Б/д, б/м.

ТАДМОР

Ты видел ли, путник, пустынный Тадмор,
Разбитыми дивный столбами,
И тернием Солнца поросший притвор? —
Его омывает песками
Ветр буйный пустынь, и он бел на степях,
Как белые кости в разрытых гробах!

Ты знаешь ли, путник, кто создал Тадмор:
Смотри, — на гнедой кобылице
Араб! Он степей оживляет обзор,
Ширяя в них лётом орлицы.
Скажи ему: «Мир тебе, друг бедуин,
Поведай, кто создал Царицу пустынь?» —

«Джьяур! Его создал наш Царь Соломон,
А дикое время разбило! —
На Западе знают ли, кто Соломон? —
Ему вся подземная сила
Служила рабами — и дивным жезлом
Водил он трепещущий демонов сонм!

Всю жизнь их тяжелой работой карал;
Одни аравийское злато,
Другие из моря жемчуг и коралл
Носили без меры и платы;
Иных обелисками Нила томил,
Другими Ливанские кедры возил.

И так его демонов сонм трепетал,
Что долго по смерти Царевой,
Когда уж он мертвый пред ними стоял,
На жезл опершися кедровый,
Над коим прямой его труп онемел —
Никто ему в очи взглянуть не посмел!

Год лишний работал на мертвого сонм,
Доколе жезла не сглодали
Могильные черви — и пал Соломон!
И демонов мигом не стало! —
Джьяур! Вот что слышал средь наших степей
Близ спящих верблюдов — в прохладе ночей!»

Тадмор — иначе Пальмира.[1]

И вот что я передаю тебе, любезный Муханов, в подлиннике, у меня даже не осталось и копии, кроме как в памяти. Поэзия, которая на 8 месяцев меня оставила, возвратилась опять: боюсь не сглазить ⟨бы⟩! Я написал две большие пьесы: «Кремль» (беседы его мертвых Царей) и «Царьградскую Утреню» (смерть Патриарха Григория).[2] Теперь я начал «Магомета» и написал уже два явления, но не могу продолжать, потому что не имею его жизни для подробностей. А в том Коране, который здесь нашел у г. du Ryer, они только вкратце — Notice, или Légende de Mahomet — всего 20 страничек.[3] Пожалуйста, пришли мне с первой верной оказией 1-ый том твоего Корана, в котором так подробно описана жизнь

Магомета,[4] я обещаюсь беречь его, как свой глаз. Ты знаешь, что у меня не пропадают книги, а эта мне беспрестанно будет нужна, и не пропадет. Я надеюсь, что ты мне не откажешь, зная, сколь меня тем обяжешь и как нужно пользоваться первыми минутами вдохновения, пока они не утекли и пока не надоел предмет. Ожидая от тебя книги и письма, остаюсь навсегда преданным тебе другом

А. Муравьевым.

Ты блаженствуешь в Бухаресте, а мы страдаем часто холодом.[5] У меня нет ничего теплого; пришли мне, если можешь, молдаванскую кацавейку, только подлиннее и не красную, на каком-нибудь меху, хоть на кошачьем; за 100 левов или и меньше можно достать хорошую. Мы разочтемся при первом свидании. Впрочем, это если можешь, а книгу — непременно.

ПИСЬМА
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ МУХАНОВУ

1

Александровское. 6 марта 1827

Ты меня совсем забыл, любезный Владимир, хотя и обещал писать; это мне неприятно, потому что я более надеялся на твою память, нежели на память братьев твоих Александра и Ивана, хотя Великий пост и подкосил им плясовые ноги; я, кажется, в Москве тебя не забывал, а отсюда не писал единственно потому, что ждал твоего письма; все известия у тебя в руках, у нас только скука и уединение. Я бы еще не столько жаловался на него, если бы оно рождало во мне вдохновение; но вообрази, какое горе, — поэзия убита прозаическим воздухом нашей деревни, я не чувствую в себе прежней силы и пылкости, и все мои стихи носят отпечаток сего уныния.

Сперва я был более недели болен, простудившись дорогою, и так ничего не мог делать; по вы-

здоровлении я хотел продолжать старую песнь «Потопа», но, написавши 70 стихов, остановился, недовольный своим произведением. Вчера я принужден был по просьбе Шаховских описать берега Лены,[1] и ты можешь себе вообразить, как слабы заказные стихи; попробую еще раз продолжать «Потоп», потому что теперь нет другого предмета в виду, и если опыт не удастся, брошу писать до лета. Правда, я и прошлого года в ноябре, декабре, генваре и феврале почти ничего не произвел, но зато в марте я написал почти всю первую песнь «Потопа»; дай Бог, чтобы и этот март был столь же благоприятен; а я уже начинаю сомневаться, не погасло ли во мне вдохновение от слишком сильных порывов вначале; и моя поэзия не была ль одним минутным огнем души пылкой, которая, высказав все, что ее волновало, — умолкла до новых потрясений, и может быть надолго! Мысль грустная, когда все наслаждения моей мечтательной жизни так тесно связаны с поэзией!

Теперь я читал «Римские ночи»; они меня несколько одушевили; прочти их, мой друг, если найдешь французский перевод; я читал на итальянском; впрочем, они довольно легки и в оригинале — автор, граф Verri,[2] вызывает великих теней Рима и водит их по развалинам столицы, сохраняя каждому его исторический характер; вражда, ненависть, раздоры волнуют мертвых над развалинами отечества; иные не в силах вре-

дить друг другу — мирятся! В сем авторе виден гений Данта. Я недавно читал здесь его «Ад», и меня сильно поразили характеры его героев, которые в ужасных мучениях вечного пламени остаются флорентийцами и спрашивают об отечестве. Ни с чем из новейших не может сравниться характер La Farinata, гибелина (sic! — *Н. Х.*), врага Дантова в междуусобных войнах Флоренции, который, увидя своего соперника, идущего живого по аду, встает из огненного гроба и с презрением его спрашивает: «Кто твои предки?»[3] Мне утешительно напитываться силою других, когда я не чувствую своей собственной; теперь я начал читать огромную историю Sismondi, в 16 частях, о республиках итальянских;[4] я хочу знать короче современников Данта.

Вчера я видел в «Телеграфе» разбор «Северной Лиры» и похвалы «Русалкам»[5] и «Ермаку». Ожидаю с нетерпением критики Баратынского и брани Соболевского;[6] надеюсь, что они не замедлят показаться.

Ты видишь, как длинно письмо мое; я отчасти сказал все, что у меня было на сердце, и мне легче; пожалуйста, отвечай скорее, почта к нам отходит в четверг утром. Адресуй на мое имя в Волоколамск для доставления в село Александровское. Скажи мне, кто был критиком «С.〈еверной〉 Лиры» в 3 № «Телеграфа», там подписано Ас. Б.[7] Но, кажется, и в Святцах нет христианского имени, которое бы начиналось с сих двух

букв Ас. Пожалуйста, уведомь меня о нем. Прощай, уже негде писать, кланяйся братьям твоим, Алекс.⟨андру⟩, если он в отношении меня в Тульчинском расположении, а Ивану, ежели он в великопостном духе.

Твой А. М.

2

1827. Александровское. 12 марта

Долг платежом красен, любезный Владимир, и потому мне очень приятно было получить твое письмо, которое я уже давно и с нетерпением ожидал. Но оно наполнено смертями, которые меня огорчили; мне очень жаль отца Идеаме;[1] я очень живо принимаю участие в его семействе. О смерти Апраксина[2] я уже слышал, но кто сей князь Волконский? Уж не Петр ли Михайлович?[3] В таком случае это бы меня крайне огорчило. Пожалуйста, уведомь по первой почте. Еще я дам тебе одно поручение и надеюсь, что ты по дружбе ко мне его исполнишь. Я два раза писал к.⟨нягине⟩ Зинаиде Волконской, и оба письма очень нужные, но не получил ответа; попроси от меня твоего брата Александра съездить к ним в дом и узнать, где княгиня — в Москве ли или в деревне, или поехала в Петербург? Ее молчание меня очень беспокоит. Сделай одолжение, дай мне от-

вет в сей четверг, я его буду ожидать с нетерпением, и он подействует на мой приезд в Москву. Не забудь также о к.⟨нязе⟩ Волконском написать; надеюсь на твою аккуратность и на желание видеть меня скорее в Москве — пожалуйста, не пропусти сей почты. Верно, твой брат не откажется для меня потрудиться. Кланяйся им обоим и скажи, что я им желаю, сколько могут более веселиться; жаль только, что Москва не Венеция и что в ней на месте каналов навозные водопроводы.

Я опять начал продолжать «Потоп»;[4] написал 100 стихов, и на сей раз удачнее; два характера хорошо отлились — молодой матери, лишенной детей, и старой женщины, ожесточенной смертью близких, охладевшей ко всему, кроме мести. Напишу еще стихов 30 для окончания эпизода и опять оставлю. Иногда руки опускаются, когда подумаешь, что я пишу понапрасну «Потоп»; немногие его поймут; почти все закричат против гекзаметров и эпической поэмы; никто не обратит внимания на обширность предприятия и возвышенность предмета. Многие из поэтов, пристрастных к одному предмету, на нем основывали свою славу; но они часто обманывались. Петрарка никогда не надеялся быть известным своими сонетами; он твердо надеялся на свою огромную латинскую поэму: «Сципион Африканский»;[5] но она с ним вместе умерла, и его неутомимый любимый труд упал; быть может, так и мне покива-

ют главами, услышавши о «Потопе», и я утону в своих волнах; но пусть по крайней мере скажут, как Мильтон о своем Сатане:

Et si c'est un débris — c'est celui d'un Archange![6]

Не называй меня честолюбивым, назови страшным, ненавистным. Я бы мог утолить жажду поэзии двумя источниками Парнаса, но я жаждал океана. В нем утону или переплыву его в ковчеге. Но я думаю, я уже надоел тебе, говоря все об одном «Потопе»; впрочем, здесь ничего нового нет; живу по-прежнему, целый день читаю и уже привык к уединению; хотя не люблю одиночества. Прощай — отвечай непременно в четверг.

Твой А. М.

3

Александровское. 18 марта 1827

Хотя письмо твое очень коротко, любезный Муханов, и я сам надеюсь приехать к Страстной неделе в Москву, однако ж мне так приятно вести с тобою переписку, что я решился еще раз тебе написать перед отъездом. Не бросай моих писем, — я сохраняю твои, равно как и всех моих знакомых и приятелей; в разлуке приятно вспоми-

нать о друзьях, перечитывать их письма, и даже через несколько лет приятно видеть посредством их перемены мыслей и чувств, происшедших в сие течение времени; у меня есть даже письма людей, которых больше нет на свете; вообрази ж, как они для меня драгоценны.

Я не согласен с тобой, любезный друг, насчет критики Баратынского;[1] признаюсь, я ожидал от него лучшего, а он, как кажется, не оставил даже ничего сказать Соболевскому.[2] Я могу найти много выражений неприятных, кроме тех двух, которые тебе не понравились, сознаваясь, впрочем, в справедливости многих замечаний насчет слога и рифм. Говоря, что он разбирает только самое лучшее, он останавливается только на двух пьесах: «Ермаке» и «Стихиях», и то только, чтобы раскритиковать их; следовательно, остальные не достойны даже внимания. Но если так строго замечают все ошибки, надобно строго выказать и все красоты, чтобы по двум пьесам не подать общего мнения; говоря о «Тавриде», он коротко и просто сказал, что она вся есть растянутые два стиха Пушкина из «Бак.⟨чисарайского⟩ Фонтана» — справедливо ли это? И этот упрек мне всех неприятнее, потому что я не только не старался ловить его мысли, но даже и во всем избегал подражать ему. И ты сам это знаешь; впрочем, не думай, чтобы я был очень огорчен сею критикою; ты знаешь, что я ожидал брани если не от того, то от другого, а брань на вороту не виснет, и так

безрассудно бы было с моей стороны принимать на сердце критику и через то угашать в себе поэзию, которая и без того может много терпеть от внешних несчастий, встречающихся в жизни.

Я кончил начатый мною здесь эпизод из «Потопа», а с ним вместе и половину второй песни; в ней меньше игры воображения, но зато больше силы в характерах; я не успел хорошо заняться слогом, и во многих местах он неисправен. Прощай покамест, любезный Муханов, кланяйся братьям; если хочешь, ты еще можешь мне написать в четверг, письмо твое застанет меня здесь.

Твой А. М.

4

Александровское. 10 апреля 1827 года

Твое письмо мне точно было красным яичком, любезный Владимир, и я с удовольствием прочитывал прелестные стихи Туманского и «Три розы» Веневитинова, которые я бы желал посадить на его раннюю могилу, чтобы они всегдашним благоуханием напоминали о поэте юном, чистом и прекрасном, как они. «Завещание» я знаю, также и последнюю его пьесу «Поэт и друг».[1] Предчувствие ранней смерти иногда невольно рождается в сердце пылком и чувствительном. Я и сам, кончив в Тульчине мою трагедию, был до такой

степени истощен силами, что уже мечтал видеть близкую смерть; вот что я написал:

Обет торжественный, священный
Я разрешил,
И, светлым князем вдохновенный,
Все победил!
Венчайте ранними цветами
Чело певца,
Он тронул звонкими струнами
Друзей сердца.
Но кипарис пускай вплетется
В его венок,
Своим он пламенем сожжется, —
Он жить не мог![2]

Я до сих пор не могу совершенно утешиться о смерти Веневитинова; сколько надежд великих он подавал; он был бы, наверное, нашим Goethe; но вместе с тем его поэзия имела нечто восточного, и «Три розы» написаны в духе Саади.[3] Теперь его нам должен заменить Хомяков,[4] я многого от него ожидаю и желаю очень с ним познакомиться. Приятно видеть, как процветает у нас поэзия, и в каком литературном веке мы живем; наши потомки будут сожалеть о нем и скажут — тогда-то была везде поэзия. В самом деле, кроме Дмитриева, Крылова, Жуковского и Батюшкова, которые уже перестали писать, сколько новых блестящих поэтов на сцене: Пушкин, Боратынский, Языков, Хомяков, к.⟨нязь⟩ Вяземский, Грибоедов, Туманский, Загоскин, Дельвиг,

кн.⟨язь⟩ Шаховской и проч. Какая страна, кроме Англии, может похвалиться теперь подобным числом поэтов? Кроме того, сколько переводчиков. Надобно ожидать в течение сего пятидесятилетия великих творений — тогда опять все стихнет, и поэзия отцветет.

Я слышал, что друзья Веневитинова хотят собрать его стихотворения и напечатать; они прекрасно сделают.[5] Его память должна жить вечно.

Ты просишь у меня красного яичка, но в ковчеге куры не неслись, и мне, право, тебе нечего дать.[6] Хотя у меня и написана половина второй песни, но в ней все так связано вместе, что невозможно уделить ни одного отрывка. Новые лица, которые беспрестанно появляются на сцене, занимательны своими бедствиями и характерами зверскими, дикими, как в младенческие дни природы, когда люди были к ней ближе. Ужас есть главная страсть сей песни; но первая была наполнена поэзиею, и я больше ее люблю.

Теперь я опять принялся за Данта, читаю его «Чистилище»[7] — но сам ничего не могу писать по беспрестанному беспокойству в неудаче моего перевода, на который почти не надеюсь;[8] в деревне я уже отвык скучать, езжу иногда по соседям, жалею только, что ни за какое дело приняться равнодушно не могу.

Доставь, пожалуйста, ответ мой к.⟨нязю⟩ Вяземскому (и напиши мне его имя и отчество). Он просил меня переправить «Хоры Перуну»,[9]

которые я ему дал напечатать; отчасти я исполнил его желание; в некоторых же местах не согласен с его мнением и потому оставил по-прежнему. Прощай, любезный Владимир, кланяйся своим ветрогонам;[10] отвечай мне непременно в четверг, а не то я рассержусь.

А. М.

5

Александровское. 24 апреля 1827

Я бы рассердился на тебя, любезный Владимир, за твое молчание, если б в то же время не был обеспокоен мыслию: а не болен ли ты? Но когда бы и в самом деле у тебя по-прежнему болела бы рука, ты бы мог хотя продиктовать несколько строк и вместо подписи поставить крест, как в старину наши бояре за неумением грамоти. По крайней мере, я бы знал, что с тобою делается и получил ли ты письмо мое, что меня очень интересует, потому что в нем находилось также и письмо мое к князю Вяземскому, который может обидеться, если не получит ответа на писанное им ко мне; пожалуйста, уведомь меня вскорости, дошло ли до тебя мое письмо и доставил ли ты Вяземскому то, которое было вложено в твой пакет?

Что мне сказать тебе о себе? Моя жизнь деревенская довольно однообразна, но не могу по-

жаловаться на скуку; до сих пор были книги; правда — теперь истощились; я прочел всего Данта: ад, чистилище и рай и беспрестанно удивлялся его гению. Дант одушевил меня, и давно не имел я такого вдохновения, как в сие последнее время; и кончил «Реки», которые начал в Москве, и эта пьеса мне удалась; написал «Песнь Байкалу»,[1] сонет «Италия», который тебе здесь посылаю; но всего удачнее я написал одну трагическую сцену «Смерть Данта». Он умирает в Равенне в объятиях Guide da Pollenta, ее владетеля, которого дочь Франческа составляет почти лучший эпизод его «Ада» (5 песнь). Она была убита мужем за неверность. Когда мы увидимся, я прочту тебе сей отрывок. Я было начал уже переписывать тебе «Реки», но не кончаю, потому что ты сам ленишься отвечать; вот тебе маленький сонет «Италия»:

Италия! страна могил,
Развалин и воспоминаний,
Италия! — я полюбил
Младенцем гул твоих преданий.

Твой мертвый Рим меня сковал
Окостеневшею рукою;
В толпе теней я возрастал,
С твоей сроднился я семьею...

И неужли в потоке лет
Мечты не сбудутся младые? —
И не прильнет мой зыбкий след

К гробам, где спят твои живые?
Италии — потомства нет!
Мой путь — под своды гробовые!

Вчера получил я совершенно неожиданное письмо из Крыма от генерала Бороздина, у которого я гостил в Кучук-Ламбате; он благодарит меня за «Тавриду», которую я ему послал, и мне очень приятно было видеть, что он меня не забыл и не был равнодушен к сему знаку моего к нему уважения.[2] Я послал также две книжки графине Витгенштейн и Киселеву[3] — и они как в воду упали — хоть бы плюнули!

Вчера также получил очень утешительное письмо от брата Михаила из Петербурга, который усовещивает меня бросить поэзию, доказывая подробно ее ничтожество; также от Дяди[4] в том же роде и от двоюродной сестры[5], которая уверена, что я брошу писать, прочитавши критику Боратынского.

Ты можешь себе представить, как приятно получать подобные увещания; как они все мало меня знают, полагая, что чьи-нибудь речи надо мной властны и что я последую их советам вопреки внутреннего убеждения![6]

Прощай, любезный друг, отвечай скорее непременно на этой почте. Кланяйся братьям. Александр здесь ли?

Твой А. М.

6

Александровское. 2 мая 1827

Наконец получил я от тебя письмо, любезный Владимир, но я не сбирался отвечать тебе на этой почте, потому что отъезд батюшки в Москву удержал нашу почту: теперь, однако же, узнал, что она все-таки идет, и потому спешу воспользоваться последними минутами, чтобы отвечать тебе прозой, потому что уже не поспею переписать «Рек», которые пришлю в другой раз. Очень рад, что тебе понравился мой сонет «Италия», но не давай его в печать, ибо я еще не получил никакого ответа от к.⟨нязя⟩ Вяземского насчет посланного мною «Хора Перуну» и не вижу его в «Телеграфе». Впрочем, я уверен, что «Италия» не понравится им. Они найдут ее слишком смелою в выражениях и подсекут ей крылья.

Третьего дня, 30 апреля было мое рождение, мне минуло 21 год, и я решился с этого дня описывать все сильнейшие впечатления, которые на меня подействуют; но я начал описанием моего младенчества и каким образом до сих пор развивалась во мне поэзия; также путешествие мое в Крым и что побудило меня писать «Потоп» и обе трагедии. Сегодня я кончу сей журнал.[1] И когда увидимся, прочту его тебе. Это будет большим знаком моей доверенности, потому что он писан для весьма немногих. Ты спрашиваешь

меня о моей службе? Еще ничего совершенно верного не знаю, только надеюсь, и вот все, что могу тебе на сей счет сказать. Не спрашивай более — я суеверен и боюсь неудачи от рассказа.

Если твой брат Александр еще не уехал, обними его за меня; отдай ему, пожалуйста, от моего имени твою «Тавриду», которую я тебе дал, я по приезде дам тебе другую. Я не хочу, чтоб он уехал без сего знака памяти и приязни с моей стороны. В мою последнюю поездку в Москву я не успел сего сделать, а прежде меня мучила его ко мне холодность. Теперь, может быть, мы расстаемся; хочу расстаться по-прежнему друзьями. Он знает, как я пылок, как не люблю равнодушия — неужели до сих пор еще меня не понял?

Прощай. Время кончить.

Твой А. М.

7

Александровское. 15 мая 1827

Наконец я получил от тебя письмо, любезный Владимир, но в самое неприятное для меня время. Ты говоришь мне о надеждах на отставку, когда я совершенно потерял их; моя отставка не вышла, и я еду обратно в полк. В субботу к ночи буду я в Москве и, пробыв там дни два, отправляюсь в путь. Как бы я был счастлив, если б

до того времени твой брат Александр не уехал; мы бы с ним доехали бы вместе по крайней мере до Орла, ибо он хотел поворотить на Харьков. Если он еще не уехал и его можно убедить подождать меня, то сделай одолжение, уговори; я надеюсь, что он по дружбе своей не откажет мне.

Ты спрашиваешь меня о поэзии, я бы хотел тебе об ней говорить, но она теперь в ум нейдет, и мне некогда много писать. Скажу только, что можешь, если хочешь, отдать в печать «Италию». Теперь она в твоей воле. Все, что здесь написал, прочту тебе в Москве, если найдется довольно времени; но я не думаю, чтобы успел, потому что я с собой привезу два акта новой трагедии, которую я здесь начал: «Падение крестоносцев, или Битва при Тивериаде».[1] Я пишу ее пятистопными ямбами без рифм, в роде немецких трагедий. Больше двадцати действующих лиц. Не знаю как удастся. По крайней мере, в уединении полка я буду разгонять скуку продолжением сей трагедии и для сего единственно и начал ее писать. Поэзия — в горе утешением.

Прощай, любезный друг, спешу кончить, попроси ж Александра.

Твой А. Муравьев.

ПИСЬМА МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ ПОГОДИНУ

1

Александровское. 27 ноября 1827

Вот я опять в деревне, любезнейший Михаил Петрович, и пишу Вам несколько слов, чтоб известить Вас о моем приезде. — Во все время моего отсутствия переписка наша шла очень медленно, и я не знаю до сих пор, получили Вы мой ответ на Ваше первое письмо (в июле), писанный из Лысинки в августе. — По крайней мере, Вашего я не получал, будучи беспрестанно в походах, теперь, возвратившись, желаю знать оный, пожалуйста, уведомьте насчет продажи моих книг.

В предпоследнем нумере «Вестника» я читал прекраснейший отрывок Пушкина из «Вадима»; хотя я его и прежде знал, но здесь прочел снова с большим удовольствием, жалею, зачем вы не поместили двадцати последних стихов, где старик прощается с юношей, желая ему всяких бла-

гополучий, и говорит, чтоб невеста его встретила «с улыбкой и слезами», — выражение прелестное и которое прекрасно бы окончило сей отрывок, по моему мнению, один (sic! — *Н. X.*) из лучших творений Пушкина; желал бы я прочесть всю поэму, которой сюжет занимателен и изобилует поэзией.[1]

Скажите мне что-нибудь о себе и о наших общих знакомых? — Где княгиня Трубецкая?[2] — Я проехал мимо Москвы прямо в деревню и никого не видал. — Может быть, через месяц удастся мне завернуть в Москву. — Кланяйтесь С. Е. Раичу (который не отвечал мне на письмо мое, вложенное в ваш пакет), Оболенскому, Шевыреву и проч.[3]

преданный вам
А. Муравьев.

Адресуйте на мое имя в г. Волоколамск для доставления в село Александровское. Почта отходит в четверг утром.

2

[1830]

Вот Вам мой счет в сравнении счета Ширяева[1] и вот Ваше письмо для удостоверения Пономарева[2] в 450 экземплярах. — Если в Петербур-

ге ничего не продано, то всех остается 457. — Я хочу взять из сего числа 7 — а остальные пусть Пономарев возьмет у Ширяева. Итак, ему ⟨не должно⟩ сбавлять цены, довольно и того, что отдал не на ассигнации. — Напишите ему записку для выдачи сих денег, и я пошлю ее. — Тот же человек может занести счет Ширяеву и взять у него 7 книг по моей записке. — Мне надоела «Таврида», хочу с ней развязаться!

А. М.

3

Б/д, б/м.

Любезный Михайла Петрович, желая Вам доброго пути, прошу Вас не забыть привезти мои книги из Питера. — Вчера мы не успели ⟨договориться⟩. — Кто мне должен? — Если Ширяев,[1] то потрудитесь написать ему, чтоб он выдал моему человеку следуемые деньги, лично же с ним ⟨видеться⟩ я не хочу, равно и с Пономаревым,[2] которые оба хотят протянуть дело.

Прощайте, извините, что беспокою.

А. М.

4

[*1832*]

Памятная записка любезнейшему Михаилу Петровичу.

1. Не уезжать из Москвы прежде моего возвращения от Троицы.[1]

2. Повестить Семена Егоровича Раича[2] о моем прибытии и просить его навестить меня 7-го утром или 6 вечером.

3. Узнать и сказать мне, где Оболенский и Ознобишин[3] и спросить у сего последнего, что он сотворил с моими тетрадями?

4. Доставить мне:

а) повести М. П. Погодина[4]

в) Иерархию Российскую[5]

с) избранные слова Златоуста, переведенные Оболенским[6]

d) духовный алфавит Димитрия Ростовского[7]

(Все сие, если милости будет и возможности).

5. Похлопотать у Ширяева о моей книге, чтобы он скорее ее вытребовал и отпустил мне 10 экземпляров.

А. Муравьев.

5

Петербург. 30 мая 1834

Любезнейший Михаил Петрович, вы, вероятно, осуждаете меня за мое молчание и за невежливость, что я доселе не отвечал на благосклонное ко мне внимание Московского Общества,[1] а того никак не подозреваете, что я только вчерашний день, т. е. 29 мая узнал о моем избрании, за которое ныне приношу вам живейшую благодарность; а вот каким образом сие случилось.

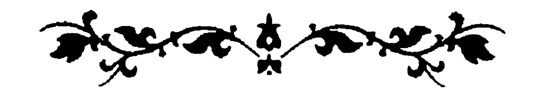
Я очень давно не был у Смирдина, вчера же по случаю моего переезда на Крестовский остров зашел к нему в лавку за книгами,[2] и там его комиссионер вдруг подает мне пакет, я очень удивился, увидев мое назначение, и вместе обрадовался такому вниманию, но я очень попенял Смирдину за таковое нерадение, показавшее меня совершенною невежею пред обществом; а потому я прошу вас, любезнейший Михаил Петрович, научить меня, как мне следует благодарить общество и к кому писать о том. — Не возьмете ли вы на себя сами этот труд как Секретарь Общества благодарить лично, т. е. словесно, или я должен написать сам, и кому именно? Адресуйте письмо ваше уже не к Смирдину, а к Аничкину мосту, в дом княгини Белосельской.[3]

Если бы я получил ранее письмо ваше, то я бы прислал для чтения в общество «Монастырь на

Валааме», напечатанный в 4 книжке «Библиотеки».[4] Теперь же у меня ничего нет, кроме «Обзора Русских Паломников в Св. земле», который хочу вместо предисловия напечатать осенью в 3-ем издании.[5] Если такого рода статья может годиться для чтения (в ней много цитаций из самих паломников), то я готов прислать ее: научите, если же еще что напишу, то пришлю, у меня есть отрывки из «Тивериады» стихами.[6] Да теперь, кажется, нет летом собрания. А третие издание вам пришлю зимою. Прощайте, целую вы.

А. Муравьев.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Н. А. Хохлова

ОБ А. Н. МУРАВЬЕВЕ И ЕГО ПОЭТИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ «ТАВРИДА»

Творчество Пушкина как вершинное достижение поэзии представляет собой безусловный ценностный ориентир для русской литературы первой трети XIX в. Само понятие «пушкинская эпоха» задает координаты моноцентрической системы, состоящей из центра (творчество Пушкина) и периферии. Для обозначения различных по своему художественному уровню явлений последней в науке выработан в высшей степени условный, но тем не менее необходимый понятийный аппарат, представляющий собой систему градации. Многочисленную плеяду поэтов этого периода принято делить на категории: «поэты пушкинского круга» и «поэты второго ряда» (сами названия категорий тоже условны, а поэтому допускают вариации). К первой, как известно, принадлежит вполне конкретный, обозримый круг имен

(В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, И. И. Козлов, П. А. Вяземский, А. А. Дельвиг, Е. А. Боратынский (мы придерживаемся принятой в настоящее время нормы написания фамилии поэта: Боратынский. При этом при цитировании сохраняем другой, ранее употребительный вариант — Баратынский), Н. М. Языков и некоторые другие). Вторая безмерно широка — так, в антологии «Поэты 1820—1830-х годов» представлены произведения 46 авторов, среди которых наиболее известны С. П. Шевырев, В. И. Туманский, В. Г. Тепляков, Н. В. Кукольник, Д. П. Ознобишин, А. И. Подолинский.[1] Основным критерием подобной градации, разумеется, является уровень поэтического дарования и мастерства, но при этом исключительно важное значение имеют такие факторы, как степень внедренности в литературный процесс эпохи и прежде всего — лич-

[1] Впервые проблема «поэты второго ряда» была осознана на рубеже XIX—XX вв., свидетельством чему служат исследования и издания текстов некоторых из них, впрочем очень немногочисленные (например: *Языков Д.* Федор Антонович Туманский... М., 1903; *Браиловский С. Н.* К вопросу о Пушкинской плеяде. Орест Михайлович Сомов. Варшава, 1909). В советское время, в 1960-е гг., когда, собственно, и утвердился термин «поэты второго ряда», тема получила мощное развитие, итогом которого стало фундаментальное издание — антология «Поэты 1820—1830-х годов» (Вступ. ст. и общ. ред. Л. Я. Гинзбург. Биогр. справки, составл., подготовка текста и примеч. В. Э. Вацуро и В. С. Киселева-Сергенипа. Т. 1—2. Л., 1972. Б. п. Б. с.).

ные и творческие связи с Пушкиным. Так, имя С. А. Соболевского по преимуществу с учетом этих факторов традиционно включается в «пушкинский круг».

Жизнедеятельность любой моноцентрической системы обеспечивают центростремительные силы (в нашем случае — многообразные связи «поэтов пушкинского круга» и «поэтов второго ряда» с Пушкиным). Поэтому вполне закономерно, что их изучение составляет глубинный интерес, нерв большинства исследований. Между тем проявление этого интереса по отношению к каждой из условных «категорий» имеет свою специфику.

Художественный мир, созданный любым из поэтов «пушкинского круга», оригинален и самоценен. Фактический материал их творческих биографий богат и разнообразен. Поэтому исследование связей с Пушкиным неизбежно содержит в себе элементы сопоставления, что вполне закономерно, продуктивно и имеет обоюдоважное значение (как для изучения творчества данного автора, так и Пушкина).

Иное дело — «поэты второго ряда». Если термин «поэты пушкинского круга» имеет, как мы стремились показать выше, некое обозримое наполнение, то термин «поэты второго ряда» в сущности его лишен и употребляется — по логике метода исключения — для обозначения того пласта литературы, который лежит за пределами «пушкинского круга» (условно — ниже его уровня),

то есть является «вторым» по отношению к нему. При этом сам по себе он включает бесконечное число «рядов»: от произведений значительного художественного уровня до так называемой «низовой» литературы, от выше уже названных, известных имен до имен совершенно забытых или вовсе неизвестных. Эта, условно говоря, «вторичная литература» имеет свою художественную специфику, к которой должны быть адаптированы привычные, разработанные пушкинистикой методы исследования.

Художественное произведение «первого» ряда как одна из форм познания действительности, преобразуя ее, становится еще одной — художественной — действительностью. Например, восприятие Крыма в целом и Бахчисарая в частности в русском культурном сознании опосредовано пушкинским поэтическим восприятием. В рамках современной ему эпохи такое произведение неожиданно, ново, несет в себе заряд преобразующей силы, меняет стереотипы (при этом часто остается недооцененным или не понятым современниками). А за ее пределами — актуально для многих последующих эпох, каждая из которых открывает в нем свой, особый смысл и художественное содержание.

Создание произведения «первого» ряда можно уподобить строительству здания в новом архитектурном стиле; «второго» — перепланировке старого здания. В последнем случае специфика

поэтики заключается в бесконечном (в различных комбинациях и сочетаниях) воспроизведении уже освоенных художественных моделей современной и в большей степени — уходящей или ушедшей эпох. Подобная специфика определяет и суть академического интереса к произведениям «второго» ряда: их анализ позволяет выявить репертуар тем и мотивов, характерный для данного периода.

Между тем сама идея их комментированного, научного издания долгое время представлялась сомнительной. В науке до сих пор преобладает тенденция, согласно которой жизнь и творчество «поэтов второго ряда» изучаются не сами по себе, но лишь в связи с причастностью к имени Пушкина. Из контекста их творческих биографий извлекаются «пушкинские» сюжеты, которые зачастую рассматриваются изолированно, и в этом смысле ущербно. Иными словами, исследовательская логика направлена на изучение центростремительных сил, в то время как творческий и биографический пласты в большинстве случаев остаются изученными лишь в малой степени.

Многие из «поэтов второго ряда» не были профессиональными литераторами. Некоторые из них прославились на иных поприщах — государственной, военной, церковной службы. Иные значительно пережили «пушкинскую эпоху», прошли существенную творческую эволюцию. Такова, например, биография А. Н. Муравьева. Если рассматривать ее (как преимущественно делалось

ранее) лишь в координатах «пушкинской эпохи», то это заведомо приведет к грубым искажениям.

В настоящее время заметно стремление к преодолению подобного подхода. Недавно появились «полуакадемические» собрания сочинений Д. П. Ознобишина и В. Г. Теплякова.[2] Настоящее издание продолжает этот ряд. Хотя исчерпать его, по-видимому, невозможно, создание монографических исследований и издание текстов наиболее значительных «поэтов второго ряда» будет означать известную завершенность темы. Таким образом из нынешнего состояния статистов целая плеяда литераторов перейдет в действующие лица литературного процесса. А совокупный материал их научных биографий станет мощным и, возможно, неожиданным вкладом не только в пушкинистику, но и в изучение всего литературного процесса первой половины XIX в.

* * *

Предлагаемое вниманию читателей издание преследует две задачи. Одна вполне очевидна: опубликовать поэтический сборник, давно став-

[2] *Ознобишин Д. П.* Стихотворения. Проза: В 2 кн. / Изд. подгот. Т. М. Гольц и А. Л. Гришунин. М., 2001 (Литературные памятники); *Тепляков В. Г.* Книга странника. Стихотворения. Проза. Переписка. / Изд. подгот. Е. В. Петренко и М. В. Строганов. Тверь, 2004.

ший библиографической редкостью, снабдив его аппаратом, максимально полно раскрывающим историю создания, сюжетику, репертуар мотивов, источники, а также проанализировать оценки, данные ему современниками. Другая не имеет столь явного практического, эмпирического значения, но едва ли не более важна. Работа над расширенными комментариями к «Тавриде» дала возможность собрать и проанализировать существенный объем материалов, который в дальнейшем может быть осмыслен в рамках проблемы «специфика поэтики произведений „второго" ряда».

Так, некоторые стихотворения «Тавриды» («Бакчи-Сарай», «Развалины Корсуни», «Георгиевский монастырь») строятся на неожиданно, причудливо «скомпонованном», но в конечном счете всегда узнаваемом культурном, литературном материале. Мы видели свою задачу в том, чтобы обнаружить и охарактеризовать устойчивые модели, составляющие художественную основу каждого произведения сборника; раскрыть его культурный, иногда очень глубокий и прихотливо сложенный фундамент. Таким образом, на примере «Тавриды» нами обозначается спектр поэтических тем и мотивов, их разработок, характерный для второй половины 1820-х гг.

Книга включает практически все поэтическое наследие А. Н. Муравьева: сборник «Таврида», ранее не публиковавшийся, сохранившийся в рукописи сборник «Опыты в стихах». За рамка-

ми издания остаются произведения, относящиеся к крупным стихотворным формам: драмы «Митридат», «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине» и незавершенная эпическая поэма «Потоп».

Сами тексты, а также отнесенные в раздел «Дополнения» письма А. Н. Муравьева 1820-х гг. дают довольно полное представление о нем как о лирическом поэте, о начальном периоде его творчества. Целостный анализ этого периода был предпринят нами в монографии «Андрей Николаевич Муравьев — литератор» (СПб., 2001).

1

Андрей Николаевич Муравьев родился в Москве 30 апреля 1806 г. Его отец, генерал-майор Николай Николаевич Муравьев (1768—1840), был одним из наиболее образованных и либерально настроенных людей своего времени. Ученый-математик и военный специалист, в 1815 г. он организовал Московское заведение для колонновожатых (Школу колонновожатых), просуществовавшее на его «иждивении» до 1823 г. Она подготовила многих видных специалистов по военному делу; некоторые выпускники Школы были причастны к движению декабристов.

Мать писателя, Александра Михайловна Муравьева (урожд. Мордвинова), умерла очень

рано, в 1809 г., поэтому сведения о ней чрезвычайно скудны. Наиболее емкая характеристика принадлежит А. Н. Львову, который писал о ней как о женщине «...вполне образованной, а главное — очень религиозной и с раннего детства вселившей в своих сыновьях горячую любовь к православной вере и привязанность ко всем обрядам и установлениям православной церкви».[3]

В семье было шестеро детей: Александр, Николай, Михаил, Андрей, Сергей, Софья (умерла в 1826 г. девицей). Все братья (кроме Сергея) оставили заметный след в отечественной истории. Достаточно сказать, что о каждом из них написана книга.[4] Единственным, кто выбрал не

---

[3] *Львов А. Н.* Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету... СПб., 1900. С. 255.

[4] Александр Николаевич, старший из братьев Муравьевых (1792—1863), — декабрист, член «Союза спасения» и «Союза благоденствия». Несмотря на то что уже в 1819 г. он отошел от участия в тайных обществах и не был причастен к восстанию, был осужден по VI разряду и сослан в Якутск. Впоследствии — военный губернатор Нижнего Новгорода. См.: *Муравьев А. Н.* Сочинения и письма. Иркутск, 1986.

Николай Николаевич (1794—1866) известен как выдающийся военачальник, сподвижник А. П. Ермолова, главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом. Во время Крымской войны прославился взятием неприступной турецкой крепости Карс (1855), за что получил добавление к фамилии — Карский. См. о нем, в частности: *Задонский Н.* Жизнь Муравьева. Документальная историческая хроника. М., 1985.

военное или государственное, а литературное поприще, был Андрей. В немалой степени этому способствовал его домашний учитель и литературный наставник — поэт и педагог С. Е. Раич. Муравьев в чреде его знаменитых учеников оказался между Тютчевым и Лермонтовым. За годы учебы (1819?—1823)[5] С. Е. Раич, известный переводчик Т. Тассо и Ариосто, привил ему любовь к античной и европейской, главным образом итальянской поэзии: «В четырнадцать лет, — писал Муравьев, — я имел наставником доброго и почтенного Раича и благодарю Провидение, которое ко мне его послало. Он совершенно образовал меня и кончил мое домашнее воспитание. Он вселил в меня всю склонность к литературе, и под его руководством я начал мои первые опыты; при нем перевел я всего *Телемака*, всю *Энеиду* прозой и несколько книг Тита Ливия, что очень послужило к образованию моего слога, переводил

Михаил Николаевич (1796—1866) был самым сановным из всех братьев Муравьевых. Сделал блестящую карьеру, стал крупным государственным деятелем, получил графский титул. Занимал пост министра государственных имуществ, был генерал-губернатором Виленским (Муравьев-Виленский). Вошел в историю как усмиритель Польского восстания 1863 г. См. о нем: *Кропотов Д. А.* Жизнь графа М. Н. Муравьева в связи с событиями его времени. Т. 1—2. СПб., 1874.

[5] Обоснование даты начала учебы у С. Е. Раича см.: *Хохлова Н. А.* Был ли Тютчев участником кружка Раича? // Русская литература. 2005. № 3. С. 114.

иногда гекзаметрами Виргилия, но редко и неудачно. Латинский язык познакомил меня с древними; в то же время я занялся русскою, французскою и немецкою литературами...»[6] Муравьев был свидетелем создания и участником известного кружка Раича, впоследствии трансформировавшегося в философское Общество любомудрия. Именно здесь истоки его многочисленных литературных знакомств, среди которых самым долговечным оказалось знакомство с М. П. Погодиным.[7]

Весной 1823 г. по настоянию отца он вступил в военную службу во Вторую армию (7 мая зачислен юнкером 34-го Егерского полка). Вторая армия, и в особенности Тульчин, где располагалась ее штаб-квартира, была, как известно, центром деятельности Южного общества декабристов. Со многими из них Муравьев был не только в дружеских, но и в родственных отношениях (не говоря о том, что декабристом был его старший брат Александр). Тем не менее свидетельств его непосредственной причастности к декабристскому движению нет. Военная служба (к которой Муравьев не имел призвания) оказалась непро-

---

[6] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 58—59. (Далее ссылки на это издание даются кратко: год, номер, страница).

[7] Подробно об участии Муравьева в кружке Раича см.: *Хохлова Н. А.* Андрей Николаевич Муравьев — литератор... С. 23—35.

должительной. В сентябре 1827 г. он был уволен «с повышением чина для определения к статским делам».[8] А после сдачи в апреле 1827 г. экзаменов «в языках и науках» в особом Комитете при Московском университете определен в ведомство Коллегии иностранных дел с причислением к дипломатической канцелярии главнокомандующего Второй армией, гр. П. Х. Витгенштейна, и в этом качестве участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 гг.[9]

Несмотря на обременительность службы, период с 1823 по 1830 г. оказался чрезвычайно плодотворным в литературном отношении: в это время Муравьев был захвачен многочисленными, сменяющими друг друга литературными замыслами. Культивируя в себе «поэтический огонь», в августе 1825 г. он отправился в Крым за новыми впечатлениями, необходимыми для реализации грандиозного замысла эпической поэмы «Потоп», которая мыслилась им как логическое завершение «Потерянного рая» Дж. Мильтона и «Мессиады» Ф.-Г. Клопштока.[10] Он рассматривал «Потоп»

---

[8] Из формулярного списка Муравьева (РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Д. 254. Л. 894).

[9] Подробнее см. здесь, во вступлении к разделу: «Вокруг „Тавриды“: письма А. Н. Муравьева А. А. Муханову, В. А. Муханову и М. П. Погодину».

[10] Впервые опубл.: *Муравьев А. Н.* Потоп: Эпическая поэма / Публ. Н. А. Хохловой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 2000. М., 2001. С. 19—45.

как поэму провиденциальную, а свой труд — почти как пророческую миссию; в письмах В. А. Муханову о ней говорится как о деле жизни. Одновременно шла работа над поэмой «Чатырдаг» (осталась неопубликованной), а в конце 1825 г. была завершена трагедия «Митридат».[11]

В Крыму произошло знакомство Муравьева с А. С. Грибоедовым, подробно описанное в мемуарах «Мои воспоминания»[12] (впоследствии он пытался поддерживать связь с автором «Горе от ума» через своего брата Н. Н. Муравьева-Карского, хорошо его знавшего[13]). Грибоедов одобрил замысел «Потопа», «...хотя и грозил его огромностью».[14] С большей надеждой он отозвался о замысле трагедии «Владимир», возникшем еще до путешествия в Крым (которое Муравьев предпринял, в частности, ради посещения места крещения князя Владимира, Корсуни (Херсоне-

---

[11] Митридат: Трагедия в трех действиях / Публ. Н. А. Хохловой // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 5—42.

[12] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 61—63; см. также: *Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 9.

[13] Так, в письме брату от 6 марта 1827 г. он сообщал: «Я также послал их (стихи; имеется в виду сборник «Таврида». — *Н. Х.*) Грибоедову, с которым бы мне очень хотелось завести переписку. Если увидишь его, кланяйся ему от меня» (ОПИ ГИМ. Ф. 254. № 352. Л. 61 об.).

[14] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 63.

са)).[15] Трагедия «Владимир», оставшаяся неопубликованной,[16] тем не менее сыграла важную роль в судьбе начинающего поэта. Она стала первым произведением, получившим довольно широкую известность: Муравьев, приехав в Москву в октябре 1826 г., читал ее во многих домах (вскоре после первого чтения Пушкиным «Бориса Годунова» и почти одновременно с чтением А. С. Хомякова драмы «Ермак»).

Так начался один из самых ярких периодов в его литературной биографии, относящийся к зиме 1826/27 гг. П. А. Вяземский писал о «Владимире» В. А. Жуковскому и А. И. Тургеневу: «Молодо, зелено, но есть живость, огонь и признаки решительного дарования».[17] Муравьев позна-

---

[15] Интересно отметить, что замыслы Грибоедова и Муравьева совпали. Как отмечает в своем комментарии Н. А. Тархова, в Крым Грибоедова также «влекли интересы, связанные с замыслами новых драматических произведений на сюжеты древней русской истории — трагедий о великом князе Владимире ⟨...⟩ и о князе Федоре Рязанском» (см.: *Грибоедов А.* С. Полн. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 587). Источник сведений об этих неосуществленных замыслах — мемуары Муравьева (см.: *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 62—63, 74).

[16] Опубликован лишь небольшой фрагмент (1 и 2-е явл. 2-го действия): Атеней. 1830. Ч. 1. № 3. С. 259—266 (в книге ошибка в пагинации). Об авторских заимствованиях из этого произведения см. коммент. к стихотворениям «Поэзия» и «Русалки».

[17] Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 6. С. 48.

комился с Е. А. Боратынским и Пушкиным; стал постоянным посетителем салона кн. З. А. Волконской, своей дальней родственницы, куда был введен ее сводным братом, Э. А. Белосельским-Белозерским (бывшим воспитанником Школы колонновожатых). Ей он посвятил два стихотворения: «Певец и Ольга», которое вошло в «Тавриду», и «Молитва об Ольге Прекрасной».[18] Находясь под покровительством З. Волконской, Муравьев упрочил репутацию многообещающего поэта. Его стихи стали предметом обсуждения. Весьма одобрительно была встречена его первая публикация (в альманахе С. Е. Раича и Д. П. Ознобишина «Северная лира на 1827 год» (М., 1827)): на молодого поэта «с надеждой и радостию» обратил внимание Пушкин,[19] а П. А. Вяземский нашел в его стихах «живую поэзию в вымысле и выражении».[20] Почти одновременно с альманахом вышел в свет и сборник «Таврида» (М., 1827). Он давал уже достаточно емкое представление о Муравьеве-поэте и стал заметным литературным явлением, получившим неоднозначную оценку. Появление «Тавриды» в салоне З. Волконской и в кругу «Московского вестника» еще более упрочило репутацию

---

[18] Современник. 1836. Т. 4. С. 232—233.

[19] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. [М.; Л.], 1949. Т. 11. С. 48.

[20] Московский телеграф. 1827. Ч. 13. № 3. С. 244.

Муравьева как «гениального юноши». Пушкинское окружение, напротив, обнаружило в нем лишь задатки способного ученика, а потому отнеслось к сборнику сдержанно-наставительно, «педагогически». Именно эту позицию выразил Е. А. Боратынский в рецензии на «Тавриду». Однако Муравьев воспринял ее не с благодарностью начинающего автора, а с обидой.

Приблизительно месяцем раньше в доме кн. З. Волконской произошло событие, давшее пищу для известной эпиграммы Пушкина «Из Антологии» («Лук звенит, стрела трепещет...»): Муравьев случайно отломил руку у статуи Аполлона, украшавшей театральную залу, и тут же написал экспромт на пьедестале:

О, Аполлон! Поклонник твой
Хотел померяться с тобой,
Но оступился и упал.
Ты горделивца наказал,
Хотя пожертвовал рукой,
Чтобы остался он с ногой.[21]

Эта театральная, претенциозная «шалость» стала, по мнению В. Э. Вацуро, подробно исследовавшего историю создания эпиграммы, неким кульминационным моментом в подспудно назревавшем противостоянии: Пушкин — салонная ли-

[21] Впервые опубл.: Русский архив. 1885. Кн. 1. № 1. С. 132.

тература (в лице З. Волконской).[22] Именно наличие глубинных мотивов объясняет ту, казалось бы, неадекватную реакцию, которая последовала из пушкинского лагеря: еще более едкая эпиграмма была написана Е. А. Боратынским.[23] Несомненно, это был уже акт литературно-кружковой борьбы, в центре которой — в сущности случайно — оказался Муравьев. М. П. Погодин, относившийся к нему сочувственно, тем не менее вынужден был по настоянию Пушкина опубликовать эпиграмму «Из Антологии» в своем журнале «Московский вестник».

Дабы показать, насколько тесно были сплетены все описанные события 1827 г., представим их, несколько дополнив разыскания В. Э. Вацуро и А. М. Пескова,[24] в хронологическом порядке.

---

[22] *Вацуро В. Э.* Пушкин в московских литературных кружках середины 1820-х годов (Эпиграмма на А. Н. Муравьева) // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 135—163.

[23] Убог умом, но не убог задором,
Блестящий Феб, священный идол твой
Он повредил: попачкал мерным вздором
Его потом и восхищен собой.
Чему же рад нахальный хвастунишка?
Скажи ему, правдивый Аполлон,
Что твой кумир разбил он, как мальчишка,
И, как щенок, его загадил он.

(*Баратынский Е. А.* Стихотворения, поэмы. М., 1982. С. 362).

[24] Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 189—192.

Начало февраля: Боратынский пишет стихотворение «К***» (Московский телеграф. 1827. Ч. 13. № 3). Номер вышел 24 февраля.

Начало февраля, до 10-го: «Таврида» вышла из печати (с письмом от 10 февраля Муравьев послал брату, Н. Н. Муравьеву-Карскому, «на днях напечатанную ⟨...⟩ книгу» (ОПИ ГИМ. Ф. 254. № 352. Л. 57)).

Февраль, между 10-м и 20-м: происшествие в салоне З. Волконской. (Обоснование даты. Нижняя граница: стихотворение Боратынского «К***», написанное в начале февраля, как будет показано далее, явно ему предшествовало. Верхняя граница: из письма Муравьева В. А. Муханову, датированного 6 марта 1827 г., следует, что Муравьев уже более недели как покинул Москву и находится в деревне: «Сперва я был более недели болен, простудившись дорогою...» Следовательно, из Москвы Муравьев уехал в 20-х числах февраля. В имении Александровском (Осташево) Муравьев будет жить почти безвыездно до 15 мая 1827 г.).

Конец февраля—начало марта: Пушкиным и Боратынским написаны эпиграммы на Муравьева.

Март, 14: опубликована рецензия Боратынского на «Тавриду» (Московский телеграф. 1827. Ч. 13. № 4. С. 325—331).

Март, 19: опубликована эпиграмма Пушкина на Муравьева (Московский вестник. 1827. Ч. 2. № 6. С. 124).

Март (?): Муравьев пишет эпиграмму на Пушкина «Ответ Хлопушкину»:

Как не злиться Митрофану!
Аполлон обидел нас:
Посадил он обезьяну
В первом месте на Парнас.

(Впервые опубл.: *Каллаш В.* Русские поэты о Пушкине. Сборник стихотворений. М., 1899. С. 298).

Как видим, рецензия Боратынского была опубликована почти одновременно с пушкинской эпиграммой, что, разумеется, не могло не повлиять на восприятие ее Муравьевым: он расценил ее как «брань».

Теперь попытаемся ответить на вопрос, который неизбежно возникает при знакомстве с разделом «Отзывы критики о „Тавриде"»: что заставило Е. А. Боратынского, стяжавшего к концу 1820-х гг. славу выдающегося поэта, обратить внимание на произведение начинающего автора, к тому же отнюдь не исключительных достоинств? Вообще необходимо иметь в виду, что исследовательский интерес к «Тавриде» был в немалой степени связан с попыткой решения именно этого вопроса. Между тем ответ на него по существу уже найден В. Э. Вацуро в упоминавшейся статье «Пушкин в московских литературных кружках середины 1820-х годов (Эпиграмма на А. Н. Муравьева)». Суть исследовательской

проблемы В. Э. Вацуро видел в том, чтобы объяснить «действительно странный эпизод: почему Пушкин, приветствовавший его (Муравьева. — *Н. Х.*) литературные опыты, написал на него злую эпиграмму?»[25] Для этого понадобилось, с одной стороны, изучить эволюцию литературной репутации Муравьева, которая складывалась в салоне З. Волконской, с другой — исследовать отношение Пушкина к самому этому салону, и прежде всего к его хозяйке. Выводы, к которым пришел ученый, на наш взгляд, вполне уместно спроецировать на позицию Е. А. Боратынского по тем же вопросам. Ведь, как известно, он не просто принадлежал к пушкинскому окружению, но наряду с А. А. Дельвигом, П. А. Вяземским, С. А. Соболевским входил в его ядро, которое в вопросах литературно-кружковой борьбы — а именно о них и идет речь — неизменно проявляло сплоченность.

Приведем ключевые фрагменты статьи: «Пушкин, конечно, не питал враждебности к Волконской и ее кругу и сохранял с ним вполне лояльные и даже доброжелательные светские отношения. Но вместе с тем он сохранял и дистанцию, значительно большую, нежели, например, Вяземский. Отдавая должное талантам и образованности княгини, он пассивно, но решительно проти-

[25] *Вацуро В. Э.* Пушкин в московских литературных кружках середины 1820-х годов. С. 140.

вился, когда ощущал претензии на роль законодателя литературных вкусов». И далее: «Литературная личность Муравьева становилась предметом споров. И салон Волконской, и часть „любомудров" устанавливали его литературную репутацию превыше его не лишенных таланта и известного мастерства, но еще очень незрелых литературных дебютов; в обсуждение его стихов оказалось втянутым ближайшее пушкинское окружение». «Именно этот разрыв между реальными поэтическими заслугами и искусственно раздуваемой репутацией молодого поэта, которой он уже начинал кичиться, и определил, нужно думать, совершенно необычную резкость и даже грубость эпиграммы Баратынского. Семантические же ее акценты («убог умом, но не убог задором», «нахальный хвастунишка») как бы имплицировали емкий пушкинский образ „Бельведерского Митрофана"...»[26]

Таковы причины эволюции отношения Пушкина к личности и творчеству Муравьева: от в высшей степени доброжелательного отклика на его первую публикацию (в «Северной лире») до известной эпиграммы. Боратынский прошел примерно тот же путь: от стихотворения «К***», адресованного, как убедительно доказал В. Э. Вацуро, Муравьеву (а не А. Мицкевичу)[27], и ре-

[26] Там же. С. 147 и далее.
[27] Там же. С. 151—152.

цензии на «Тавриду» до упомянутой «грубой» эпиграммы. Стихотворение «К***», рецензия на «Тавриду» — это отклики, причем очень заинтересованные и в конечном счете доброжелательные (В. Э. Вацуро оценил их как «литературно-педагогический акт»), относящиеся непосредственно к Муравьеву и его первым шагам в литературе. Они появились вне всякой связи с известным происшествием в салоне З. Волконской, ставшим поводом к созданию эпиграмм, — незадолго до него. Боратынский на правах старшего указал начинающему поэту на ошибки, касающиеся не только собственно поэтического творчества, но и поведенческие, связанные с самооценкой:

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Однако адресат не внял этому предостережению.

Ряд фактов указывает на то, что у Боратынского были причины воспринимать Муравьева не только в связи с салоном З. Волконской (что характерно для Пушкина), но и непосредственно. Его отношение к автору «Тавриды» было более, так сказать, заинтересованным, личным, чем у Пушкина — в этом суть того поправочного коэффициента, который следует иметь в виду, размышляя над приведенными выше выводами В. Э. Вацуро.

Каковы мотивы интереса Боратынского к Муравьеву? Впервые он мог услышать о нем из уст своего приятеля, а впоследствии родственника Н. В. Путяты[28] еще в 1824 г. во время службы в Финляндии.[29] Н. В. Путята, выпускник Школы колонновожатых (1820 г.), был очень предан семейству Муравьевых. Он стал первым историком этого учебного заведения и одновременно биографом Н. Н. Муравьева, издав в 1852 г. обширный очерк его деятельности.[30] С самим Муравьевым он познакомился, когда тот был еще отроком: «Я начал знать Муравьева с 1819 года, когда поступил колонновожатым в учебное в Москве заведение его отца...», — вспоминал он в небольшой мемуарной «Заметке об А. Н. Муравьеве».[31] Знакомство упрочилось благодаря участию обоих в кружке Раича, и впечатления от него в 1824 г., когда их пути окончательно разошлись, были еще очень свежи.

Таким образом Н. В. Путята мог сформировать особый интерес Боратынского к этому семей-

---

[28] Е. А. Боратынский и Н. В. Путята были женаты на сестрах: Анастасии Львовне и Софье Львовне Энгельгардт.

[29] В 1824—1825 гг. Боратынский состоял на службе при штабе генерал-губернатора Финляндии А. А. Закревского. Путята в это время — адъютант А. А. Закревского.

[30] [*Путята Н. В.*] Генерал-майор Н. Н. Муравьев. СПб., 1852.

[31] *Путята Н.* Заметка об А. Н. Муравьеве // Русский архив. 1876. № 7. С. 357—358.

ству, хотя как москвич поэт наверняка знал о нем. Его личное знакомство с Муравьевым, обстоятельства которого известны из воспоминаний последнего, состоялось зимой 1826/27 гг.: «...в течение зимы с 1826 на 1827 год имел [я] случай встретить в Москве много знаменитостей нашей литературы, так как мне сопутствовал родной брат поэта Баратынского, служивший со мною в той же драгунской дивизии. В доме его матери сблизился я сперва с братом его, который был тогда во всем блеске своей славы...».[32] Далее следует рассказ о рецензии на «Тавриду», причем автора он именует «мой приятель поэт Баратынский».[33] Такова единственная известная нам оценка степени близости этого знакомства, оценка, безусловно, преувеличенная, но весьма существенная постольку, поскольку дает представление о некоторой градации: Пушкина, с которым Муравьев также был лично знаком, он никак не мог назвать своим «приятелем».

Таковы, на наш взгляд, личностно-биографические мотивы заинтересованного отношения Боратынского к начинающему поэту. Кроме них, разумеется, были и собственно литературные. Определяющим следует считать то обстоятельство, что Муравьев всецело принадлежал к московским литературным кругам, то есть входил в

[32] *Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. С. 10.

[33] Там же. С. 14.

тот же литературный цех, что и Боратынский. Это заставляло маститого поэта быть особенно «зорко-сметливым и строгим» по отношению к новичку. Литературно-критическая практика Боратынского, по отзыву его сына, Льва Евгеньевича, состояла в следующем: «Любя поэзию от всей души и радуясь более чем кто-либо появлению истинного таланта, он придерживался правила: не щадить ошибок, которые, при указании их опытным литератором, могут быть полезны молодому начинающему писателю».[34]

По-видимому, именно этим правилом и руководствовался поэт, написав рецензию на «Тавриду». Совокупность изложенных выше фактов объясняет иную сторону дела, которая, собственно, и вызывала недоумение исследователей: почему вопреки обыкновению высказывать устно свои критические суждения он опубликовал рецензию? Ведь рецензия на «Тавриду» осталась единственным печатным критическим выступлением Боратынского.

* * *

Неудача, по убеждению самого Муравьева, «Тавриды», рецензия Е. А. Боратынского обозначили конец раннего, собственно поэтического

[34] Цит. по: *Хетсо Г.* Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Oslo; Bergen; Tromsö, 1973. С. 426.

периода творчества. О нем мы можем судить прежде всего по письмам Муравьева братьям Мухановым, опубликованным в настоящем издании. В письме В. А. Муханову от 2 мая 1827 г. он сообщал о том, что начал вести дневник. Впоследствии он превратился в обширные мемуары — «Мои воспоминания», первая часть которых также всецело посвящена раннему периоду.[35]

В 1827—1829 гг. Муравьев работал в основном в области драматургии. Его привлекали сюжеты из средневековой европейской и древней русской истории. Он был захвачен многочисленными, эпическими по масштабу и содержанию замыслами, в которых отчетливо видна его приверженность классицизму. Архаичные для литературной ситуации второй половины 1820-х гг., в большинстве своем они остались нереализованными.

Во время русско-турецкой войны (1828—1829), зимой 1829 г., решив «начертать, по примеру Шекспира, одну огромную драму Россия»,[36]

---

[35] Мемуары состоят из пяти частей. Первые две были опубликованы А. А. Третьяковым в 1895—1896 гг. в журнале «Русское обозрение» (1895. Т. 33. № 5 и Т. 36. № 12; 1896. Т. 37. № 2). Четвертая часть вошла в отдельное издание «Моих воспоминаний» (М., 1913). Пятая часть опубликована нами (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания (Заключительная часть) // Православный Палестинский сборник. Вып. 103. М., 2005. С. 186—218). Неопубликованной остается третья часть.

[36] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 74.

Муравьев приступил к циклу исторических трагедий на сюжеты из русской средневековой истории. Дилогия «Князья Тверские в Златой Орде», состоящая из трагедий «Михаил Ярославич Тверской» и «Георгий Московский», была завершена, но в свет не вышла. Публикатор «Моих воспоминаний», А. А. Третьяков, свидетельствовал о том, что она сохранилась в рукописи;[37] однако в настоящее время ее местонахождение неизвестно. Остальные произведения — «Святополк», «Василько», «Андрей Боголюбский», «Сеча на Калке», вероятно, существовали лишь на стадии замысла.

В этот период еще одна тема — рыцарская — была для него чрезвычайно актуальна. Участвуя в русско-турецкой войне, он ощущал себя крестоносцем: «...меня радовала война, я был напитан духом крестоносцев, которых недавно описал; мое пылкое воображение заранее представляло мне Царьград, волшебные края Греции и самый Иерусалим, всегдашнюю цель моих странствий».[38] (Во время «похода» была завершена драма «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине».)

После победы в русско-турецкой войне и заключения Адрианопольского мира, в конце 1829 г. ему удалось осуществить свою мечту: он

[37] Там же. С. 73.
[38] Там же. С. 67.

отправился в путешествие по Святым местам, получив на то высочайшее разрешение и даже благословение главнокомандующего, гр. И. И. Дибича. Правительство оказало Муравьеву финансовую поддержку, имея в виду, что его паломничество не лишено дипломатической и миссионерской окраски. Накануне отъезда, 30 октября 1829 г., он писал брату Николаю Николаевичу: «Не стану оправдывать или изъяснять пред тобою своего предприятия, ибо ты сам набожен; скажу только, что хотя не давал никогда торжественного обета, но с тех пор, как начал себя чувствовать, дал себе обещание посетить Гроб Господень, но не в той надежде, что там единственно обрету спасение, но из сердечного умиления, из чувства признательности к воплотившемуся Богу!»[39]

Муравьев побывал в Египте — Александрии, Каире, Мемфисе; был одним из первых русских путешественников, кому удалось посетить знаменитые пирамиды. Затем через Синайскую пустыню он отправился в Палестину и прибыл в Иерусалим накануне Пасхи. Здесь он провел три недели, в течение которых посетил все храмы и монастыри города, а также его ближайшие окрестности.

Из путешествия он привез множество памятных вещей и «древностей», которые легли в осно-

[39] ОПИ ГИМ. Ф. 254. № 355. Л. 184.

ву его известной коллекции.[40] Кроме того, по его настоянию в Петербург из Фив были доставлены два сфинкса, в 1832—1834 гг. установленные на набережной Невы напротив Академии художеств.[41]

Путешествие молодого благочестивого человека получило широкий отклик в обществе, а написанное по его впечатлениям «Путешествие ко Святым местам в 1830 году» (СПб., 1832) принесло автору большой успех, а главное, определило новое направление его творчества — духовное. Рукопись книги была просмотрена В. А. Жуковским и митрополитом Московским Филаретом, ставшим вскоре духовным наставником Муравьева. Успех «Путешествия» превзошел все ожидания. «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу», — писал Пушкин в неопубликованной рецензии.[42]

Путешествие в Иерусалим стало поворотным событием в личной и творческой биографии Муравьева. Вот как он оценивал его впоследствии уже с позиций духовного писателя: «Начну с той минуты, когда ⟨...⟩ я решился ехать в Святую

---

[40] См.: *Муравьев А. Н.* Описание предметов древности и святыни, собранных путешественником по Святым местам. Киев, 1872.

[41] См.: Петербургские сфинксы. Солнце Египта на берегах Невы / Под. ред. В. В. Солкина. СПб., 2005.

[42] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. [М.; Л.], 1949. Т. 11. С. 217.

Землю, ибо эта минута была самая решительная в моей жизни; в то мгновение не рассуждал я ни о чем и как бы внезапно посвятил себя и данный мне талант священной цели сего странствия, без всякого мудрования или каких-либо видов. Щедрою рукою вознаградил меня Господь, ибо все, что я ни приобрел впоследствии, как в духовном, так и в вещественном, истекло для меня единственно из Иерусалима...»[43]

Чтобы понять глубинный смысл этого признания, сделанного уже в зрелые годы, обратимся к новейшему исследованию Н. Н. Лисового «Феномен А. Н. Муравьева и русско-иерусалимские отношения первой половины XIX в.».[44] Путешествие Муравьева стало отправной точкой процесса конституирования русско-иерусалимских дипломатических и церковных связей. 1830—1840-е гг. исследователь называет «муравьевской эпохой в истории русско-иерусалимских отношений». Пытаясь наглядно представить картину его появления в среде иерусалимского духовенства в 1830 г., автор пишет: «Невольно складывается ситуация, когда в условиях полного затишья в дипломатических контактах, неустановленности

[43] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 12. С. 587.

[44] *Лисовой Н. Н.* Феномен А. Н. Муравьева и русско-иерусалимские отношения первой половины XIX века // Православный Палестинский сборник. Вып. 103. М., 2005. С. 4—20.

каких-либо официальных отношений ⟨...⟩ вдруг сразу приезжает „генерал". Конечно, он не был генералом, он был просто Андреем Николаевичем Муравьевым и приехал не с официальным заданием. Но сам ореол — он приехал из ставки Дибича и по высочайшему разрешению ⟨...⟩ — способствовал созданию мифа. *Миф Муравьева* родился на Востоке... ⟨...⟩ его в Иерусалиме так и встретили: „к нам приехал Муравьев, к нам приехал эпитроп". Эффект *эпитропства* возникает спонтанно, человеку эту роль навязали».[45]

Не менее важно его собственное восприятие этой роли: он «невольно начинает чувствовать себя „Вашим Сиятельством", а с другой стороны, что более важно и серьезно, он начинает чувствовать ответственность за судьбы ⟨...⟩ Иерусалимской Церкви, которая никому не нужна».[46]

Накануне отъезда из Иерусалима Муравьев был посвящен в рыцари Святого Гроба и получил крест с частицей Животворящего Древа. Этой чести были удостоены многие представители императорской фамилии, а также некото-

---

[45] Там же. С. 10—11. Эпитроп в греко-византийском праве — заведующий имуществом различных церковных учреждений, главным образом церквей и монастырей. В расширительном значении, свойственном позднейшему времени, — поверенный в делах (собора, монастыря, патриаршего престола); наделен церковно-административными и дипломатическими полномочиями.

[46] Там же. С. 11.

рые государственные деятели России. Однако он воспринял посвящение не как ритуальный акт, но с «абсолютной ответственностью — таково его личное устроение, таков его внутренний мир — он реально осознал себя приобщенным к *рыцарям Святого Гроба*».[47] В сущности, посвящение стало своего рода актуализацией его сокровенных, глубоко романтических по своей природе переживаний.

Феномен Муравьева определяется, с одной стороны, его личными качествами: подлинной глубокой религиозностью, «чисто юношеской, поэтической, романтической рыцарственностью»,[48] неутомимой энергией, а с другой — особенностями исторической ситуации, когда возникла острая необходимость в деятеле, обладающем именно такими качествами.

В сознании Муравьева и наречение эпитропом, и посвящение в рыцари Святого Гроба было неким провиденциальным актом — он как бы получил призвание свыше. Поэтому служение этому призванию — а именно оно составило корен-

---

[47] Там же.

[48] Там же. Рыцарская тема нашла яркое отражение в «Путешествии ко Святым местам...»: здесь содержатся описания исторических мест, связанных с памятью о крестоносцах, в частности описания могил их вождей — Готфрида и Балдуина (гл. «Голгофа», «Следы рыцарства»). В третье издание книги (СПб., 1835) вошли приложения: «Орден рыцарей Св. Гроба», «Об обрядах, с какими посвящают рыцаря Св. Гроба, когда он лично присутствует».

ной смысл его дальнейшей жизни, не могло замыкаться какими-либо официальными рамками. Он чувствовал себя «посвященным», «призванным», но отнюдь не назначенным на должность. Впоследствии служба в Синоде и в Министерстве иностранных дел, равно как и многочисленные родственные и дружеские связи были для него лишь возможными каналами осуществления этого служения. Само же направление деятельности, ее конкретное содержание он всегда определял единолично. Властность, решительность, бескомпромиссность в устроении церковных вопросов были проявлением не столько личных качеств, сколько выражением совершенно особого отношения к делу. Сущность его амбициозности была именно такого рода.

Поэтому вытеснение из среды русско-иерусалимских связей, которые с 1841 г. начало полностью контролировать Министерство иностранных дел, он воспринял как личную драму.[49] В дальнейшем Муравьев нашел для себя новые ниши — стал ктитором Андреевского скита на Афоне, заботился о строительстве церкви Святителя Николая Угодника в Мирах Ликийских, а в поздний период жизни всецело посвятил себя сохранению православных святынь Киева. Но сколь многооб-

[49] Тем не менее Православная церковь на Востоке оставалась в центре интересов Муравьева до конца дней. Он был крупнейшим знатоком в области дипломатических и церковных связей с Востоком.

разна не была бы его деятельность, ее сущность раз и навсегда определили события 1830 г. «Долг сыновний по отношению к церкви», — вот как он сам ее выразил.

* * *

После выхода в свет «Путешествия ко Святым местам в 1830 году» Муравьев постепенно оставил поэтическое поприще, которое еще сравнительно недавно считал «единственною целью 〈...〉 жизни».[50] Взгляд его на светскую литературу изменился, и все же, по справедливому замечанию хорошо его знавшего И. И. Козлова, он остался поэтом «даже в своей прозе».[51] Между двумя периодами творчества не было резкой границы: переход к духовной прозе состоялся органично и не потребовал долгих поисков, выработки новых художественных принципов. Напротив, духовное содержание воплотилось средствами вполне литературными, теми, которые он усвоил как поэт. Работая в жанрах духовной прозы, Муравьев оставался романтиком — черты романтизма отчетливо проступают в выработанном

[50] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 64.

[51] Дневник И. И. Козлова / Публ. К. Я. Грота // Старина и новизна. СПб., 1906. Кн. 11. С. 52 (запись от 12 января 1833 г.).

им стиле, названном впоследствии «муравьевским». «Путешествие ко Святым местам в 1830 году» следует считать самым крупным его художественным достижением. Анализ поэтики этого произведения дает наиболее полное представление о специфике художественного в его духовных сочинениях. Она, в частности, заключается в поэтизации религиозного чувства, в суггестивном характере создаваемых образов. «Путешествие» стало излюбленным жанром писателя. В русскую литературу он вошел прежде всего как автор «Путешествия ко Святым местам в 1830 году» и «Путешествия по Святым местам русским» (1836). Вполне сознавая это, большинство своих произведений он подписывал парафразом: «Сочинение автора Путешествия ко Святым местам».

Последнее произведение Муравьева-поэта — сборник «Опыты в стихах». Название сборника вызывает ассоциации со знаменитыми «Опытами в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова, но в данном случае их следует интерпретировать лишь в том смысле, что это творческая *попытка* автора, которому, говоря языком К. Н. Батюшкова, еще «недостает искусства».

Муравьев не стремится к самовыражению. Скорее, он выступает в роли повествователя; лирическое «я» объективировано (исключение составляет стихотворение «Богомолец»). По сравнению с «Тавридой», сборник отличается бóльшим поэтическим мастерством и художественной

цельностью. В нем абсолютно преобладает историческая тематика (возможно, поэт опирался на опыт «Тавриды», где наиболее удачными оказались стихотворения на исторические сюжеты). Однако речь идет не о поэтических переложениях подобных сюжетов, а о различных по своей природе их обработках: в виде предания, легенды («Смерть Данта», «Цареградская обедня», «Тадмор»); в фольклорно-историческом или историко-этнографическом духе («Кремль», «Ханская ловля», «Песнь пленницы»).

Отчетливо выделяется миницикл стихотворений, в котором воплотились переживания и впечатления автора от путешествия по Святым местам («Богомолец», «Иосафатова долина», «Ночная мгла град облегла...»). В целом в сборнике сильны восточные мотивы; поэт стремился передать свое ощущение Востока — мира иной, экзотической культуры.

Сборник, судя по дате, выставленной рукой Муравьева на обложке, был оформлен лишь в 1839 г., хотя вошедшие в него произведения датированы 1827—1830 гг., — то есть в тот период, когда он уже окончательно избрал для себя иное поприще. Факт исключительно примечательный, свидетельствующий о несомненном интересе автора к поэзии, несмотря на известный ригоризм во взглядах на собственное поэтическое творчество и светскую литературу вообще. Отныне занятия поэзией стали для него глубоко лич-

ным, интимным делом. И уж тем более не предполагали публикаций. Вот почему «Опыты в стихах» до сих пор оставались в рукописи. Ныне они публикуются впервые.

Служебная биография Муравьева после выхода «Путешествия ко Святым местам» тоже претерпела существенные изменения. Экземпляр был поднесен Николаю I, после чего в 1833 г. автор «по духу своей книги» был определен «за обер-прокурорский стол» Святейшего Синода (именно так именовалась должность). Пребывание в Синоде продолжалось почти 10 лет (с 1833 по 1842 г.) и стало самой яркой страницей его служебной биографии. События складывались так, что после отставки в 1836 г. обер-прокурора С. Д. Нечаева Муравьев мог быть назначен на его место. К тому времени он уже обладал глубокими познаниями в области церковной истории, был признанным экспертом по связям России с Востоком, ревностным блюстителем церковного благочиния. Однако место обер-прокурора занял Н. А. Протасов. Отношения с ним, поначалу доверительные, постепенно стали осложняться, и в 1842 г. Муравьев покинул Синод. Глубокое противоречие заключалось в их взглядах на соотношение церковной и светской власти в России. В отличие от Н. А. Протасова, безусловного приверженца петровской реформы церковного управления, Муравьев, как и ряд членов Синода (в том числе митрополит Московский Филарет), был

сторонником симфонии двух властей. Не случайно в русской церковной истории ключевой для него была фигура патриарха Никона, занимавшая его на протяжении всей жизни.[52]

Несмотря на служебные неудачи и вынужденный уход, Муравьев рассматривал период службы в Синоде как «едва ли ⟨...⟩ не самое блистательное время ⟨...⟩ жизни, ибо на меня, — отмечал он, — уже начинали смотреть как на церковного писателя».[53] Известность именно такого рода ему принесли «Письма о Богослужении Восточной кафолической церкви»[54] и уже упоминавшееся

---

[52] Материалы по истории патриарха Никона Муравьев начал собирать еще в начале 1830-х гг. (см.: *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1896. Т. 37. № 2. С. 510—511). В 1835 г. он посетил Новоиерусалимский монастырь, основанный опальным патриархом, и написал очерк «Новый Иерусалим», вошедший в первое издание «Путешествия по Святым местам русским». Спустя два года вышла его «История Российской церкви» (СПб., 1838), в которой Никону была посвящена обширная глава (она оказалась единственной законченной работой Муравьева по данной теме). Обосновавшись в Киеве, он приступил к фундаментальной «Истории Патриарха Никона» (осталась незавершенной; доведена до патриаршества Никона). Подготовительные материалы к ней ныне хранятся в Центральной научной библиотеке им. В. И. Вернадского Национальной Академии наук Украины (Ф. 301. Церковно-археологический музей КДА. № 729 Л.).

[53] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1896. № 2. С. 525.

[54] *Муравьев А. Н.* Письма о Богослужении Восточной церкви. Кн. 1—3. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. кан-

«Путешествие по Святым местам русским»,[55] изданные одновременно в 1836 г. Не менее плодотворны были и последующие годы. В 1838 г. появились: «История Российской церкви»[56] и «Изложение Символа Веры Православной Восточной кафолической церкви»;[57] в 1839-м — «Первые годы христианской церкви» и «Письма о спасении мира Сыном Божиим»; в 1840-м — «Первые четыре века христианства»; в 1841-м — «Правда Вселенской церкви о римской и прочих патриарших кафедрах»; в 1842-м — «Священная история». Некоторые из этих книг, написанных по заданию Духовно-учебного управления при Св. Синоде, членом которого Муравьев состоял, вскоре были признаны Министерством на-

---

целярии, 1836 (дополнение «кафолической», т. е. «всемирной», появилось во 2-м издании и сохранялось во всех последующих). Пользуясь поддержкой своего двоюродного брата, А. Н. Мордвинова, управляющего III Отделения Соб. Е. И. В. канцелярии, большинство своих произведений Муравьев издал в типографии этого Отделения.

[55] *Муравьев А. Н.* Путешествие по Святым местам русским: Троицкая лавра, Ростов, Новый Иерусалим, Валаам. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1836.

[56] *Муравьев А. Н.* История Российской церкви. СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И. В. канцелярии, 1838. Ныне переиздана: Муравьев А. Н. История Российской церкви. М.: Паломник, 2002.

[57] *Муравьев А. Н.* Изложение Символа Веры православной Восточной кафолической церкви. СПб.: В Синодальной тип., 1838.

родного просвещения в качестве учебников (например, «История Российской церкви»).

В целом деятельность Муравьева на поприще духовной литературы имела три направления: путешествия по Святым местам, история церкви, догматические вопросы. Многие сочинения (в частности, «Письма о спасении мира Сыном Божиим», «Правда Вселенской церкви...») носили полемический и публицистический оттенок. «Большая часть его сочинений, — писал биограф Муравьева, П. С. Казанский, — были ответом на современные вопросы, занимавшие то общество, среди которого он обращался. Он был публицист церковный ⟨...⟩ Это внимание, эта отзывчивость на современные вопросы церковно-религиозной жизни и давали значение сочинениям А. Н.».[58]

Из приведенного выше хронологического перечня трудов, изданных в 1836—1842 гг., видно, что он писал чрезвычайно много и быстро, что, несомненно, сказывалось на их качестве, причем не только на стилистической отделке, но и на фактической точности, достоверности. Тот же П. С. Казанский вспоминал: «На сделанное мною однажды замечание, что нужно бы ему повнимательнее быть к своим сочинениям, он отвечал:

[58] *Казанский П. С.* Воспоминание об Андрее Николаевиче Муравьеве // Душеполезное чтение. 1877. № 3. С. 10, 12.

„Вы с вашими требованиями пять лет просидите над сочинением, и в десять лет разве сто человек прочитают их и после уже оценят их достоинство. Я напишу это в пять месяцев и скорее, мою книгу станут тотчас читать; знаю, что через десять лет ее забудут, но она сделала свое дело"».[59]

Муравьев рассматривал писательство как миссионерскую и просветительскую деятельность, с позиций современных нужд церкви и общества, то есть как публицист. К каждой из своих книг он относился не как к чему-то единично-ценному и самодостаточному, а как к некоему этапу деятельности, направленной на «защиту православия».

После увольнения из Синода 17 августа 1842 г. он был определен членом общего присутствия Азиатского департамента Министерства иностранных дел, где прослужил до 1866 г. и вышел в отставку «по случаю упразднения должности» в чине действительного статского советника. «Новая служба, — свидетельствовал П. С. Казанский, — не возлагала на А. Н. никаких срочных занятий, а потому он свободно располагал временем».[60] Это дало возможность в 1845—1850 гг. предпринять четыре длительных путешествия: в Италию и Германию (1845), в Грузию и Армению (1846—1847), по волжским городам (1848)

[59] Там же. С. 9—10.
[60] Там же. С. 7.

и вторично (после 1830 г.) — на Восток (1849—1850). Описанию каждого путешествия Муравьев посвятил книгу. Впечатлениями о католическом культе и святынях исполнены «Римские письма» (Т. 1—2. СПб., 1846) и вскоре дополнившие их «Прибавления к Римским письмам» (СПб., 1847). В «Грузии и Армении» (Ч. 1—3. СПб., 1848) и в «Письмах о магометанстве» (СПб., 1848) Муравьев впервые подробно описал состояние христианской, преимущественно православной, церкви у неславянских народов России и религиозные культы у российских иноверцев — их монастыри и обители, ход и значение богослужения, жития местночтимых святых (специально для него переведенные), познакомил читателей с историей и этнографией края. Плодом путешествия по Волге стали «Мысли о православии при посещении Святыни русской» (СПб., 1850), а путешествия на Восток — «Письма с Востока в 1849—1850 годах» (Т. 1—2. СПб., 1851).

Не имея после увольнения из Синода никакой официальной церковной должности, он тем не менее оставался эпитропом трех патриарших престолов (Иерусалимского, Антиохийского и Александрийского). Состоял в переписке по догматическим, церковно-политическим и кадровым вопросам с патриархами и другими святителями Востока. Его роль в их решении была поистине уникальна. Будучи частным лицом, Муравьев мог игнорировать многие формальные установле-

ния и часто выступал, так сказать, в роли церковного дипломата. Авторитет его в этом качестве был очень высок. «Не только по делам своим в России, — писал П. С. Казанский, — но иногда и в своих распрях восточные иерархи обращались к посредничеству А. Н.».[61]

В России он снискал авторитет «защитника православия», который вынуждены были признать даже его оппоненты. Личность Муравьева, яркая и самобытная, не могла не занимать общественное мнение, хотя и получила отнюдь не однозначную оценку. Широко распространено представление о нем как о чрезмерном ревнителе внешнего церковного порядка и благочиния, человеке властном, неуживчивом, претенциозном. Несомненно одно: он являл собой тип исключительно цельной личности, преданной раз и навсегда избранной цели — «защите православия» и не уступающей ни перед какими общественными, политическими изменениями или жизненными обстоятельствами. Это качество сказалось во всем строе его жизни, вплоть до событий, казалось бы, бытового характера.

Так, в 1823 г. по пути в Тульчин к месту службы Муравьев проезжал Киев. Здесь при переправе через Днепр, «в котором было пять верст разливу», он попал в бурю. Впоследствии в «Путешествии по Святым местам русским»

[61] Там же. С. 13.

он подробно описал это происшествие и при этом признался: «Тогда еще мелькнула у меня мысль водвориться в Киеве, который поразил меня своим великолепием».[62]

Последний период в жизни Муравьева — киевский (1858—1874) — был совершенно особым, не лишенным символического смысла возвращения к истокам, в «колыбель православия».[63] Любовь к Киеву он пронес через всю жизнь. Этот город в его сознании всегда оставался «русским Иерусалимом». В «водворении», по его выражению, в Киеве был и иной, глубоко личный, житейский смысл. Родившись в Москве, проведя здесь отрочество и юность, а в Петербурге прожив зрелые годы, именно в Киеве, на исходе лет, Муравьев наконец обрел собственный дом, устройство которого стало предметом его особенных забот. Не случайно он называл себя «киевлянином в душе».[64]

Поначалу (с 1858 до 1867 г.) он проводил в Киеве лишь летние сезоны, а в 1868 г. перебрался на постоянное жительство. Летом 1859 г. он

---

[62] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 60.

[63] Подробно об этом периоде см.: *Хохлова Н. А.* Защитник православия. (Деятельность А. Н. Муравьева в Киеве) // Православный Палестинский сборник. Вып. 103. С. 130—185.

[64] [*Семенов М. О.*] Воспоминание об А. Н. Муравьеве. Киев, 1875. С. 128.

приобрел «пустую землю с полуразрушенным домом»[65] — участок, располагавшийся в непосредственной близости от вновь отстроенной в XIX в. Десятинной церкви (исторически — первая каменная церковь на Руси) и Андреевского храма (построен по проекту архитектора Ф.-Б. Растрелли на том месте, где, по легенде, апостол Андрей Первозванный воздвиг первый крест на Русской земле[66]). В глазах Муравьева это была поистине «священная земля».[67]

Впоследствии его «вилла» благодаря своей обустроенности, а главное — живописнейшим видам, открывавшимся с вершины Андреевской горы на Подол, стала достопримечательностью

---

[65] *Муравьев А. Н.* Киев и его Святыня. Изд. 5-е. Киев, 1878. С. 288. (Далее мы ссылаемся на это издание.)

[66] Апостола Андрея Первозванного Муравьев считал своим небесным покровителем. Впервые к теме Андрея Первозванного, благословения им Русской земли он обратился в стихотворении «Апостол в Киеве», вошедшем в «Тавриду».

[67] Десятинная церковь была построена в 989—996 гг. на том месте, где, по преданию, в 983 г. язычники принесли в жертву Перуну христиан Феодора Варяга и сына его Иоанна (первые христианские мученики на Руси). В ней были похоронены Владимир Святославич и его жена, византийская царевна Анна; сюда же из Вышгорода был перенесен прах княгини Ольги. Церковь была разрушена в 1240 г. во время захвата и разорения Киева Батыем (последние защитники города укрылись в ней; под тяжестью скопившегося народа и вследствие натиска монголо-татар церковь рухнула и погребла под собой киевлян).

Киева.[68] Здесь он не раз принимал членов императорской фамилии; здесь у него побывали Ф. И. Тютчев (1869) и А. Н. Апухтин (1873).[69] С окончательным переездом в Киев резко изменился образ занятий и весь строй его жизни: все меньше времени, усилий он отдавал творческой деятельности и все больше — церковно-административной и общественной.

Муравьев отнюдь не принадлежал к числу людей, склонных умалять свои заслуги и достоинства. Однако нельзя не согласиться с той характеристикой, которую он дал своей деятельности во благо Киева: «...едва ли случалось частному человеку, не облеченному никакою властью и без всякого состояния, столько потрудиться для той местности, где он водворился».[70] В этом нет преувеличения. Неутомимый деятель, блестящий знаток Киева и его старины, автор книги «Киев и его Святыня», ставшей своего рода путеводителем по городу, он оставался частным лицом. Не занимал, кроме общественных, никаких иных должностей и действительно постоянно нуждался в средствах. Впрочем, «загадка» Муравье-

---

[68] Усадьба не сохранилась. На участке, который она занимала, ныне располагаются дома № 36—38 по Андреевскому спуску.

[69] Оба поэта почтили Муравьева стихотворными посвящениями: Ф. И. Тютчев — «Андрею Николаевичу Муравьеву» («Там, где на высоте обрыва...»); А. Н. Апухтин — «Уставши на пути тернистом и далеком...».

[70] [*Семенов М. О.*] Воспоминание. С. 91.

ва вполне объяснима: будучи представителем известного дворянского рода, обладая большими связями в Петербурге и Москве, прославив свое имя литературными трудами, в Киеве — древней столице, а в XIX в. — провинциальном русском городе он не мог не стать заметной фигурой. Тем более что его авторитет был помножен на исключительную энергию и яркий общественный темперамент.

Широкую известность получил следующий эпизод (приведем его в изложении самого Муравьева, хотя известны и другие): «Когда Великий Князь (Николай Николаевич старший. — *Н. Х.*), увидя меня за завтраком в Митрополии Софийской, спросил Владыку, какую собственно должность занимаю я в Киеве, он кратко отвечал: „Должность защитника Православия". В этом свидетельстве Архипастыря лучшая для меня похвала».[71]

Впечатляет уже простой перечень того, что было сделано им для Киева и его «Святыни». Его усилиями была спасена от возможного разрушения уже упоминавшаяся Андреевская церковь — великолепный по архитектуре и глубоко символичный для русской истории памятник. В этом состоит одна из главных заслуг Муравьева перед Киевом. По-видимому, в середине

[71] Там же. С. 111. Имеется в виду митрополит Киевский и Галицкий Арсений (в миру Москвин Федор Павлович; 1795—1876).

1860-х гг. он был избран ктитором (т. е. церковным старостой) Андреевского храма и исполнял эту должность до конца дней.

Его внимание привлекли и знаменитые памятники, расположенные недалеко от города: Вышгород (древняя резиденция киевских князей, где были погребены первые русские святые, князья Борис и Глеб) и Межигорье (знаменитый запорожский монастырь). Он изыскал средства для строительства каменной церкви в Вышгороде «на древнем основании мономаховом». Что касается Межигорья (с 1796 г. здесь располагалась известная фаянсовая фабрика), то попытка вернуть его церкви не увенчалась успехом. «Как русский, как православный я не могу не сочувствовать такому урону, не только церковному, но и археологическому, и нравственному», — писал Муравьев.[72]

В 1861 г. по его инициативе после 25-летнего перерыва был возрожден крестный ход в день Св. Владимира.[73]

Муравьев стал одним из учредителей Свято-Владимирского братства, деятельность которого была направлена на борьбу с польским влиянием в крае (отчасти эту же цель преследовала и инициатива возрождения крестного хода).

---

[72] *Муравьев А. Н.* Киев и его Святыня. С. 288.

[73] Имеется в виду день преставления Святого Равноапостольного Вел. Князя киевского Владимира, в крещении Василия — 28 (15 июля).

Все перечисленные начинания, несмотря на свою масштабность, в рамках города имели локальный характер. Иначе обстояло дело с историей отмены плана Тотлебена — историей, в которой Муравьев принял самое деятельное участие и заслужил тем самым живейшую благодарность всех киевлян.

Имея в виду стратегическую уязвимость города, знаменитый военный инженер, прославившийся строительством севастопольских укреплений, гр. Э. И. Тотлебен разработал проект фортификационных укреплений в Киеве. «В этом проекте ⟨...⟩ без труда можно было узнать схему Севастопольских укреплений; но этот второй Севастополь Тотлебен предлагал устроить среди мирного городского населения».[74] Его реализация неминуемо влекла за собой необратимые изменения в историческом облике Киева, угрожая целостности многих памятников «древности и святыни». А кроме того, предполагала массовые переселения жителей из старой части города на вновь отведенные места. Любопытно, что, согласно этому плану, одна из артиллерийских батарей должна была располагаться в усадьбе Муравьева.

В 1870 г. настала, по его выражению, «критическая минута для Киева»: план был высочайше утвержден. Решающим оказался приезд воен-

[74] Русский биографический словарь. Тобизен—Тотлебен. Нью-Йорк, 1991. С. 199.

ного министра Д. А. Милютина, осмотр позиции, которую Э. И. Тотлебен хотел занять укреплениями, и встреча с Муравьевым, убедившим его в «убийственности» плана. Действия Муравьева завоевали столь широкое признание, что купечество хотело избрать его головой в состав новой городской думы, однако он отказался.

Как уже отмечалось, в киевский период творческая активность писателя заметно снизилась. Сам он объяснял это изменением общественно-политической ситуации: «Литературные мои занятия также окончились, когда совершенно изменился дух общества, в котором мы живем, и пропитался весь красным антирелигиозным направлением. Это сделалось заметно в начале нынешнего царствования».[75] (Имеется в виду царствование Александра II.)

Тем не менее он продолжал работать, хотя многое из задуманного осталось незавершенным (еще и по причине резкого ухудшения зрения). Во второй половине 1850-х гг. появились его последние, грандиозные по замыслу и объему сочинения: «Жития Святых Российской церкви. Также иверских и славянских» (Вып. 1—12. СПб., 1855—1858); «Сношения России с Востоком по делам церковным» (Т. 1—2. СПб.,

[75] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания (Заключительная часть) / Подгот. текста и примеч. Н. А. Хохловой // Православный Палестинский сборник. Вып. 103. С. 199.

1858, 1860). Незавершенной осталась уже упоминавшаяся «История Патриарха Никона». Вскоре после кончины своего духовного наставника, митрополита Московского Филарета, Муравьев начал готовить к изданию колоссальное собрание адресованных ему писем архипастыря (охватывает период с 1832 по 1867 г.; насчитывает 447 писем).[76] Современники чрезвычайно высоко оценили этот труд, видя в нем важную заслугу Муравьева перед русской церковью.

В последние годы жизни, как бы замыкая ее круг, он вспомнил о своих ранних поэтических произведениях, о литературных связях и знакомствах 1820—1830-х гг. и опубликовал в 1871 г. брошюру «Знакомство с русскими поэтами»,[77] а в 1874 — драму «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине».[78] Отправляя ее П. С. Казанскому, он писал: «Для того, чтобы вас ублажить, посылаю вам на поклон грех моей юности — „Тивериаду", весьма поэтическую, как обыкновенно бывают юношеские грехи, но только прочтите со вниманием самое предисловие, чтобы лучше оценить драму; а я теперь

[76] Письма митрополита Московского Филарета к А. Н. М. ... 1832—1867. Киев, 1869.

[77] *Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871.

[78] *Муравьев А. Н.* Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине. Киев, 1874. Была поставлена на сцене Александринского театра в 1832 г.

готовлю к печати еще две: „Михаил Тверской" и „Георгий Московский"».[79]

К сожалению, задуманные публикации он уже не успел осуществить. Муравьев скончался 18 (30) августа 1874 г. и был похоронен, согласно завещанию, в стилобате Андреевского храма, в устроенной им «подземной» церкви.[80]

---

[79] *Казанский П. С.* Воспоминание... С. 23. Предисловие было написано по совету Пушкина, опубликовавшего в «Современнике» (1836. № 2) фрагменты IV и V действий драмы (подробнее об истории ее создания, постановке, публикациях см.: *Хохлова Н. А.* Андрей Николаевич Муравьев — литератор... С. 149—166).

[80] Н. С. Лесков, описывая в очерке «Мелочи архиерейской жизни» кончину Муравьева, возвел в ранг анекдота известную его черту — ревностное отношение к церковным порядкам и установлениям: «Целую жизнь инспектируя священнодействия, он умер в этих же самых занятиях 〈...〉 Больной во время соборования был уже так слаб, что не подавал голоса. Но когда служба была окончена, и архиерей стал разоблачаться, умирающий, ко всеобщему удивлению, совсем неожиданно произнес:

— Благодарю: таинство совершено по чину.

Таковы были его последние слова на земле» (*Лесков Н. С.* Мелочи архиерейской жизни // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. Т. 6. С. 254). Этот блестящий анекдот сыграл злую шутку над памятью Муравьева и особенно оказался на руку в советское время: без ссылки на него не обходилось ни одно упоминание имени писателя. Справедливости ради следует отметить, что воспоминания и суждения Лескова о Муравьеве, который с 1850 по 1861 г. жил в Киеве и был лично знаком с ним, отнюдь не исчерпываются этим анекдотом.

ТАВРИДА

А. МУРАВЬЕВА.

Patet castis versibus ille locus.

Ovid. ex Ponto.

МОСКВА.

Въ Типографіи С. Селивановскаго.

1827.

Титульный лист поэтического сборника А. Н. Муравьева «Таврида»

Карта полуострова Крым. 1847.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА ПОЛУОСТРОВА КРЫМА

СОСТАВЛЕНА И ГРАВИРОВАНА

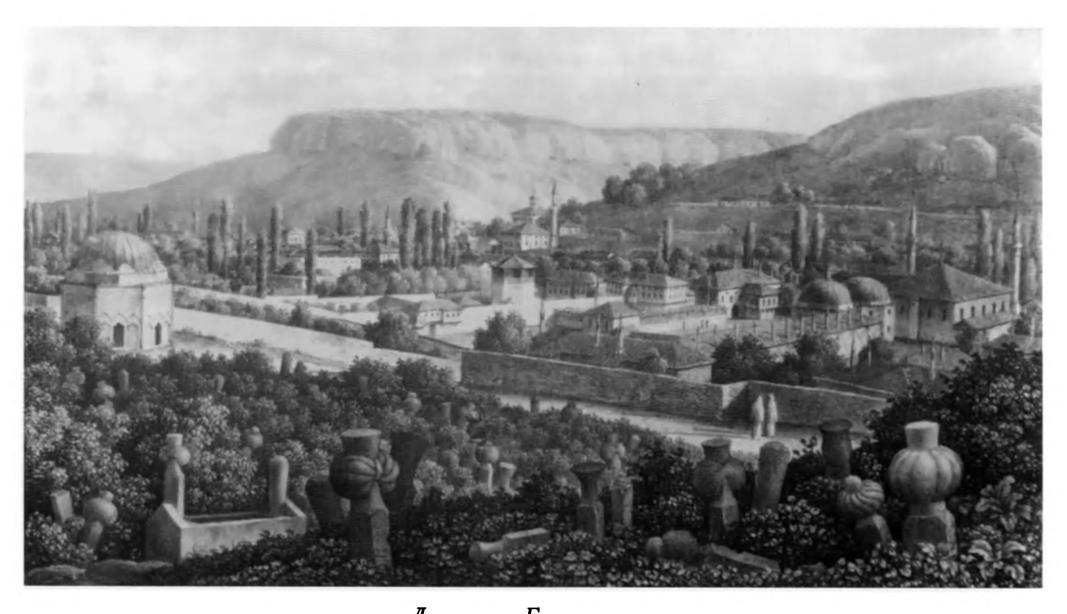
ВЪ

ВОЕННО ТОПОГРАФИЧЕСКОМЪ ДЕПО

1847.

Бахчисарай. Общий вид города.

Цветная акватинта Х.-Г.-Г. Гейслера по собственному рисунку с натуры. 1799—1801. Музей ИРЛИ.



Дворец в Бахчисарае.

Литография К.-Ф. Кюгельхена по собственному рисунку 1803—1806 гг. 1835. Музей ИРЛИ.

Ханский дворец в Бахчисарае.

Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Фонтан в Бахчисарайском дворце.

Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

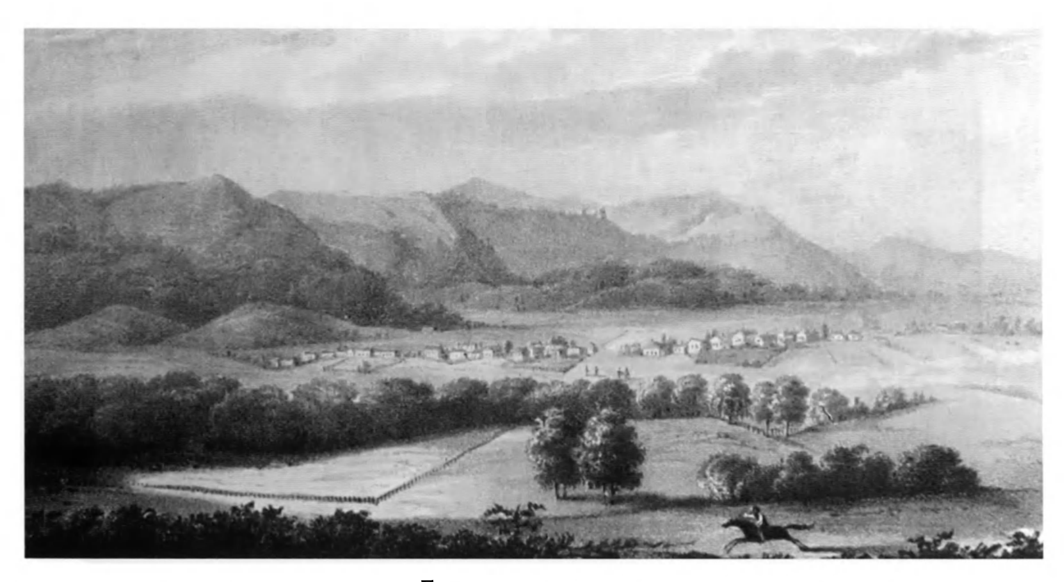
Чуфут-Кале.

Гравюра по меди Я. Евсеева по рисунку де Палдо, выправленному А. А. Сергеевым. 1803. Из кн.: *Сумароков П. И.* Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. Ч. I. СПб., 1803.

Вид Георгиевского монастыря со стороны моря.
Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Вид Георгиевского монастыря.

Гравюра на меди Н. Я. Саблина по рисунку с натуры де Палдо, выправленному А. А. Сергеевым. 1803. Из кн.: *Сумароков П. И.* Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. Ч. I. СПб., 1803.



Байдарская долина.

Литография Виктора по рисунку с натуры В. Пассека. 1830-е гг. Музей ИРЛИ.

Вид Мердвеня.

Литография К.-Ф. Кюгельхена по собственному рисунку 1803—1806 гг. 1835.
Музей ИРЛИ.

Кикенеиз.

Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Течение Буюк-Джурджуре в Улу-Узенском лесу.
Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Вид Кореиза.

Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Вид Ялты.

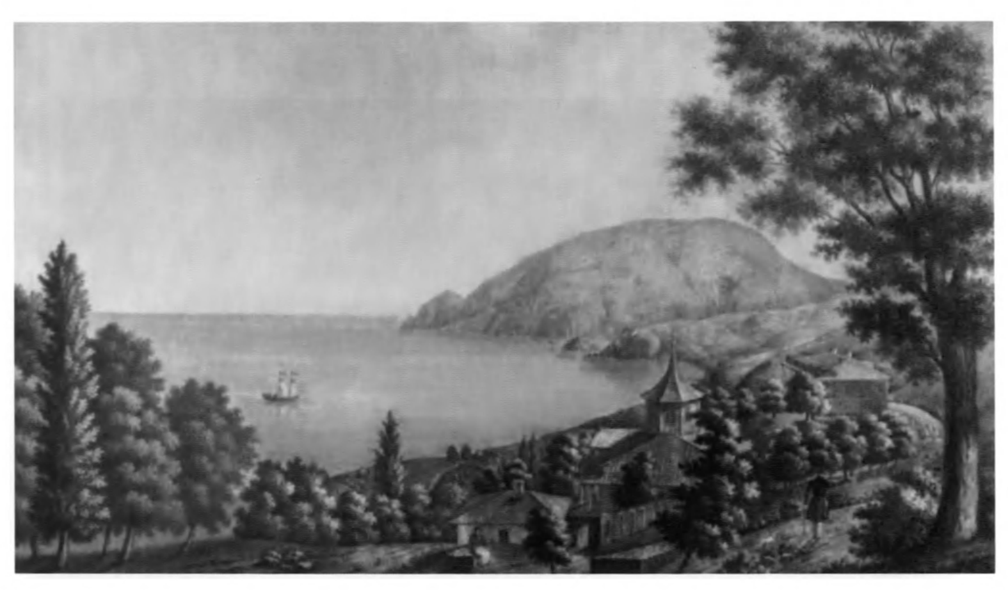
Литография К.-Ф. Кюгельхена по собственному рисунку 1803—1806 гг. 1835. Музей ИРЛИ.

Вид Гурзуфа и Аю-Дага.

Гравюра на стали Берндта и Бертранда по их собственному рисунку с фотографии. Середина XIX в.

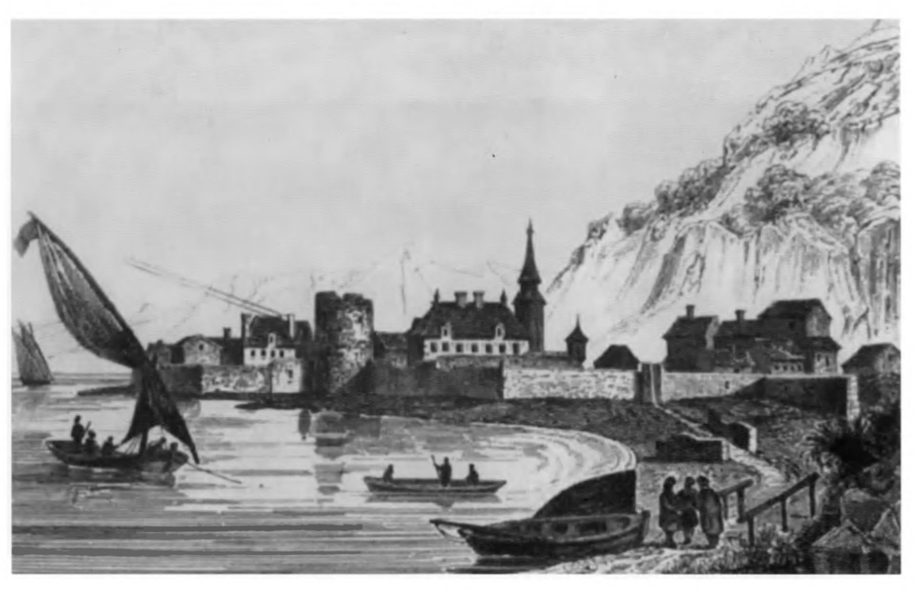
Вид из Караасана на Аю-Даг.

Литография И. Дмитриева по собственному рисунку с натуры. 1836. Музей ИРЛИ.



Кучук-Ламбат.

Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.



Керчь.

Гравюра на дереве Леметра. 1830-е гг. Музей ИРЛИ.

2

Как известно, Крым был присоединен к России в 1783 г. Спустя 40 лет, в 1820-е гг., он еще воспринимался русским обществом как terra incognita, баснословный край, где причудливо переплелись разные культуры и цивилизации.

Именно в это время активные меры к его освоению предприняли и российское правительство, и ученый мир, и представители пишущего сословия. Заслуга «открытия» полуострова широкой читающей публике принадлежит И. М. Муравьеву-Апостолу, автору «Путешествия по Тавриде в 1820 годе» (СПб., 1823). Оно закрепило наиболее распространенное в русском культурном сознании представление о Крыме как о «классической» земле, ассоциирующейся с Древней Грецией и Византией. К 1820-м гг. относится начало регулярных экспедиций в Крым Академии наук (первая — под руководством академика Е. Е. Келера — состоялась в 1821 г.).[81]

Хроника 1825 г. в истории Крыма оказалась богата событиями. Из путешественников, причастных к литературе, летом-осенью здесь побывали: А. С. Грибоедов, П. П. Свиньин, А. Н. Муравьев и А. Мицкевич. Все они так или иначе передали свои впечатления от увиденного:

[81] См. о ней: *Тункина И. В.* Русская наука о классических древностях юга России (XVIII—середина XIX в.). СПб., 2002. С. 76—79.

А. С. Грибоедов — в очерке «Крым»,[82] издатель «Отечественных записок» П. П. Свиньин — в ученом описании путешествия,[83] А. Мицкевич и Муравьев — в «Крымских сонетах» и «Тавриде».

В октябре этого же года в Крыму побывал Александр I. Посетив Севастополь, он, в частности, разрешил открыть общенародную подписку на сооружение храма в честь Св. Владимира.

Для творческой биографии Муравьева путешествие 1825 г. имело решающее значение: Крым стал его «поэтической родиной». Именно так в «Моих воспоминаниях» он трактует перемены, произошедшие в его сознании. Описание Крыма выдержано здесь в рамках романтического культа природы. В нем два действующих лица: поэт и природа, которая служит раскрытию его творческих сил, «подсказывает» предназначение. Для Муравьева такая трактовка не лишена, возможно, и некоего пантеистического, религиозного смысла.

С особой выразительностью он рисует образ «истинного» поэта, который усвоил именно со

---

[82] *Грибоедов А. С.* Поли. собр. соч.: В 3 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 322—334.

[83] *Свиньин П. П.* Обозрение путешествия издателя «Отечественных записок» по России в 1825 г. относительно археологии // Отечественные записки. 1826. Ч. 25. № 71. С. 440—467; Ч. 26. № 72. С. 102—125; Ч. 26. № 74. С. 435—444.

времени этого путешествия: «Я увидел Крым и сделался поэтом подобно художнику, который, взглянув на картину Рафаэля, воскликнул: „Я живописец!"»,[84] и признается, что путешествие «совершенно развило ⟨...⟩ страсть к поэзии, которую с тех пор избрал своею целью».[85] Для него, как и для многих литераторов 1820—1830-х гг., образцом «истинного» поэта был Т. Тассо. Залогом «истинности» признавались такие черты его легендарного образа, как страстность, одержимость, обреченность на непонимание со стороны враждебной «толпы», фатальное одиночество. Тема Т. Тассо иногда явно, иногда скрыто звучит в «Тавриде».

Конец 1825 г. и почти весь 1826 г. прошли под знаком недавнего путешествия. В это время Муравьев реализовал те замыслы, которые возникли у него в Крыму: создал цикл пейзажных стихотворений, которые легли в основу «Тавриды», написал две трагедии: «Митридат» и «Владимир», а также первую «песнь» эпической поэмы «Потоп». Тема Крыма, закономерная в первых трех произведениях, кажется неуместной в «Потопе». Между тем поэма несет отпечаток романтического восприятия «южного» пейзажа. В этом смысле интересно сравнить фрагмент

[84] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 61.

[85] Там же.

из главы «Исполины» со стихотворением «Чатыр-Даг» из второй части «Тавриды».

Тихо день догорал. Лучи бегущего солнца
На вечерних горах лазурь стелили и злато,
И в кипящий кристалл сливались озера волны
В светлом объеме гор, плескавшем золотом ярким.
Луч запоздалый, скользя по брегам шумящей
пучины,
Дивный образ сынов земли и горнего Неба
На обломках скал озарил, неподвижных,
безмолвных.
. . . .
Грустный, унылый Гамер сидел на мшистом утесе.
(«Потоп»)

Тихо день догорал, и на скалах Чатыр-Дага
Солнца гасли лучи, утопавшего в синей пучине;
На вершине горы, облокотясь на утесы,
Юноша Русский сидел, погруженный в сладкую
думу.
(«Таврида»)

В обоих случаях пейзаж абстрактен и, в сущности, условно соотнесен с Крымом. В его изображении отчетливо проступают константы известной художественной модели — оссианического пейзажа. Крымская тема раскрывается средствами оссианической поэтики. В этом одновременно и банальность, и оригинальность «Тавриды».

Сам Муравьев сознавал, что помимо путешествия в Крым не менее важным импульсом

к созданию сборника было увлечение Оссианом. Он познакомился с поэмами шотландского барда в самом начале своей военной службы, в 1823 г., и читал их в подлиннике, что тогда было довольно редким явлением: «...я выучился английскому языку и начал переводить Оссиана. Никто не действовал столь сильно на мое воображение, как мрачный певец Шотландии; я любил дикие звуки его арфы и полночные песни; во глубине души моей был ему отголосок ⟨...⟩ предпринял я написать гекзаметрами поэму эпическую „Владимир, или Взятие Корсуни", но прежде хотел посетить ее развалины».[86] Далее следует описание путешествия и наконец: «Так возвратился я из Крыма, напитанный вдохновением; долго созревало оно в груди моей, наконец, уединение полка, в котором я находился, совершенно и вдруг его развило. Однажды я нечаянно перевел две песни Оссиана четырехстопными ямбами; я прежде никогда не писал рифмами, и это побудило меня продолжать; таким образом я постепенно описал всю Тавриду...»[87]

Речь идет о первой части сборника, которая, по всей видимости, была написана в конце 1825—начале 1826 г. В октябре 1826 г. Муравьев получил длительный отпуск и приехал в Москву. Здесь, в октябре—декабре 1826 г. шла интенсив-

[86] Там же. С. 60—61.
[87] Там же. С. 63.

ная работа над второй частью, о чем свидетельствуют его письма братьям Мухановым и Н. Н. Муравьеву-Карскому. Сборник вышел из печати в конце января—начале февраля 1827 г. (цензурное разрешение от 3 января 1827 г.). С письмом от 10 февраля Муравьев послал брату Николаю Николаевичу «на днях напечатанную ⟨...⟩ книгу — „Тавриду"». «Желаю, — добавлял он, — чтобы она доставила тебе хотя несколько приятных минут и напомнила брата, искренне тебя любящего».[88] Следовательно, в общей сложности работа над сборником заняла чуть больше года: с осени 1825 по декабрь 1826 г.

Ряд произведений, вошедших в «Тавриду» («Воззвание к Днепру», «Русалки», «Бакчи-Сарай», «В Персию!», «Ермак»), увидел свет чуть раньше — в уже упоминавшемся альманахе «Северная лира на 1827 год».

«Таврида» Муравьева — это четвертое (после «Тавриды» С. С. Боброва, «Путешествия по Тавриде» И. М. Муравьева-Апостола и «Бахчисарайского фонтана» Пушкина) крупное произведение русской литературы, посвященное Крыму. Сюда же следует отнести и «Крымские сонеты» А. Мицкевича. Написанные и изданные в Москве в период ссылки, благодаря многочисленным переводам, они были широко известны в России.

---

88 ОПИ ГИМ. Ф. 254. № 352. Л. 57.

Поэма С. С. Боброва, по выражению А. П. Люсого, «первопоэта Крымского текста», как «всеобщий учебник Тавриды (не только истории, литературы, мифологии, религий, философии, но и геологии, ботаники, зоологии, географии, топонимики и т. д.)»,[89] очевидно, была в арсенале Муравьева, но непосредственного влияния не оказала. Известная философичность, склонность к масштабным пейзажным картинам — черты, в которых А. П. Люсый усматривает влияние С. С. Боброва,[90] — имеют у него иную природу, истоки которой нам еще предстоит выявить.

---

[89] *Люсый А. П.* Крымский текст в русской литературе. СПб., 2003. С. 66.

[90] В качестве аргумента исследователь приводит цитату из стихотворения Муравьева «Чатыр-Даг»:

Взойдите на шатер Тавриды,
Оттоле — удивленный взор
Пустынные обнимет виды
И цепи неприступных гор...

По его мнению, оно «воспроизводит сам бобровский маршрут» (Указ. соч. С. 125). Однако подобные «воспроизведения» встречаются и в прозаических путешествиях, например в таком в сущности художественно нейтральном произведении, как «Досуги крымского судьи» П. Сумарокова: «Чатырдаг, как будто ширмами, заслоняет полуденную страну...»; «Се есть владычествующая полоса над Крымом, и все пространство области сего примыкает к его пяте! Вид оттуда поразителен и великолепен» (*Сумароков П. И.* Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. СПб., 1805. Ч. 2. С. 52, 54).

Напротив, роль «Бахчисарайского фонтана» как источника «Тавриды» несомненна. Однако, как покажет дальнейший анализ, исследователи склонны были ее переоценивать.

Между тем недооцененной, более того, ни разу не рассматривавшейся в научной литературе является связь между «Тавридой» Муравьева и «Сонетами» А. Мицкевича. На наш взгляд, она заслуживает самого пристального внимания: и в истории создания, и в замыслах обоих произведений так много совпадений, что в сумме вряд ли их можно классифицировать как случайные.

Как уже отмечалось выше, и Мицкевич, и Муравьев совершили путешествие по Южному берегу Крыма летом—осенью 1825 г. Их маршруты во многом совпадали. В декабре этого же года Мицкевич приехал в Москву. Довольно быстро он вошел в литературную жизнь города, особенно сблизившись с сотрудниками и издателями журнала «Московский телеграф» — братьями Полевыми и П. А. Вяземским. Салон З. Волконской как крупнейший интеллектуальный, литературный и музыкальный центр был для него очень притягателен. «Нечего и говорить, что Мицкевич с самого приезда в Москву был усердным посетителем и в числе любимейших и почетнейших гостей в доме княгини Волконской», — вспоминал П. А. Вяземский.[91] Здесь он и познакомился

[91] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1882. Т. 7. С. 329. История пребывания Мицкевича в са-

с Муравьевым, который приехал в Москву годом позже — в начале октября 1826 г. По-видимому, единственным свидетельством этого знакомства являются воспоминания Муравьева: «Знаменитый польский поэт Мицкевич, неволею посетивший Москву, был также одним из дорогих гостей Белосельских палат,[92] его „Дзяды" и „Крымские сонеты" очень славились в то время, и он изумлял необычайною своею импровизацией трагических сцен. Общество его было весьма приятно, и мне часто случалось наслаждаться его беседой, в которой не был заметен ретивый поляк, хотя и в душе патриот, но прежде всего высказывался великий поэт».[93]

Это знакомство можно датировать октябрем 1826 г. (приехав в Москву в первых числах месяца, около 11 октября Муравьев отправился в подмосковное имение Осташево и вернулся в город не ранее 23 октября).[94] В это время самой свежей литературной новостью, несомненно об-

---

лоне З. Волконской подробно изучена; см., например: *Живов М.* Адам Мицкевич. Жизнь и творчество. М., 1956. С. 157—163; *Сайкина Н. В.* Московский литературный салон княгини Зинаиды Волконской. М., 2005. С. 172—185.

[92] Имеется в виду особняк кн. Белосельских-Белозерских на Тверской (кн. З. А. Волконская — урожд. Белосельская-Белозерская).

[93] *Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. С. 13.

[94] Даты установлены на основании писем Муравьева В. А. Муханову.

суждавшейся в салоне, были сонеты Мицкевича. «28 октября 1826 г. рукопись „Сонетов" была одобрена цензором М. Каченовским. Сама рукопись была сдана в цензуру несколько ранее, 20 октября 〈...〉 На читательском рынке „Сонеты" появились в конце декабря 1826 г.»[95]

Есть все основания полагать, что Муравьев познакомился с ними еще до публикации. Во-первых, автор мог читать их в собственном переводе на французский язык (сонеты были написаны по-польски) в салоне З. Волконской.[96] (Широко известно, что Мицкевич обладал гениальными способностями как импровизатор и переводчик.) Во-вторых, у Муравьева был особенный интерес к этому произведению: ведь именно в это время он работал над своей «Тавридой». Не была ли крымская тема содержанием «частых бесед», о которых он впоследствии вспоминал? Во всяком случае, трудно допустить мысль, что два поэта, фактически одновременно работавшие над одной и той же темой, общаясь, не обменивались творческими результатами и идеями. Разумеется, для феноменального эрудита, каким был Мицкевич, притягательны были и «невероятная» (по отзыву

---

[95] *Ланда* С. С. «Сонеты» Адама Мицкевича // Адам Мицкевич. Сонеты / Изд. подгот. С. С. Ланда. Л., 1976. С. 258, 298. (Лит. памятники).

[96] Польского языка в это время Муравьев не знал. Об этом он упоминает в своих «Римских письмах» (СПб., 1846. Ч. 1. С. V).

А. А. Муханова) начитанность Муравьева, и его глубокое знание итальянской поэзии.

Влияние «Сонетов» мы видим не в тематическом или художественном строе «Тавриды», но в ее необычном композиционном решении. Оно не коснулось внутренней, поэтической сущности произведения, но отразилось в его внешнем устроении.

К моменту знакомства с Мицкевичем у Муравьева, по всей видимости, уже была готова «описательная» поэма «Таврида». В письме А. А. Муханову от 20 октября 1826 г. он сообщал, что «отдал несколько пьес в новый альманах»,[97] то есть в «Северную лиру». В том числе — стихотворение «Бакчисарай», опубликованное с подзаголовком «Отрывок из описательной поэмы „Таврида"».[98] Возможно, первоначально поэт предполагал просто опубликовать эту поэму, но «Сонеты» Мицкевича могли подсказать иное решение.

К осени 1826 г. в творческом портфеле Муравьева помимо «описательной» поэмы были стихотворения, созданные в разные периоды жизни, различные по тематике и жанрам (об этом известно из его воспоминаний и писем, из той же публикации в «Северной лире»). Их объем был

[97] См. наст. изд.

[98] Эта жанровая характеристика встречается также в письме Муравьева брату Николаю Николаевичу от 27 ноября 1826 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 254. № 351. Л. 118 об.).

невелик, и для того чтобы они могли составить некое законченное произведение, необходима была существенная доработка — и количественная, и идейно-художественная, концептуальная. Письмо А. А. Муханову от 1 декабря 1826 г. свидетельствует об интенсивной работе над этой частью предполагаемого сборника (как о недавно написанных Муравьев сообщает о шести стихотворениях).

«Сонеты» Мицкевича — сложное по структуре, но в то же время очень органичное, целостное произведение. Его внутреннее единство прослеживается на многих уровнях. Все произведения сборника написаны в одном стихотворном жанре — сонета. Они сгруппированы в два цикла: «любовные» сонеты (не имеет названия) и «Крымские сонеты» (авторское название). Формально идея внутреннего единства каждого цикла выражена с помощью сплошной нумерации всех входящих в него сонетов (в обоих циклах их число соразмерно: 22 и 18). Объединение двух разных по тематике циклов в единое произведение художественно мотивировано: связующим является образ лирического героя, в высшей степени выразительный, индивидуально очерченный. Первый цикл представляет собой его любовный дневник, второй — дневник путешествия. Наиболее выраженный сквозной мотив всего сборника — тоска по родине, изгнанничество. К «Крымским сонетам» имеются «Объяснения» (к конкретным

стихам приводятся историко-реальные комментарии).

«Таврида» полностью воспроизводит композиционную схему «Сонетов», но это воспроизведение механистично. Сборник лишен той степени художественной цельности, какая присуща произведению Мицкевича. По сути, Муравьев объединил под одной обложкой два разных, мало между собой связанных произведения: «описательную» поэму (крымская часть) и многоплановый сборник, в котором звучат и историческая, и оссианическая, и любовная темы. Связи между двумя этими частями существуют, но они гораздо менее убедительны и естественны, чем у Мицкевича.

В «Тавриде» встречаем повторение и некоторых формальных решений, свойственных «Сонетам». Так, в первой части Муравьев, желая подчеркнуть ее единство, ввел сплошную нумерацию. Но единицами нумерации являются не стихотворения, а сплошь — все строфы. То есть это единство не цикла, а поэмы. Так же как и Мицкевич, Муравьев снабдил сборник историко-реальными «Примечаниями».

Несмотря на очевидное проявление авторской воли, выразившееся в нумерации строф, вопрос о жанровой природе первой части «Тавриды» трактуется по-разному. Он был затронут в исследовании Ю. В. Манна «Поэтика русского романтизма». Анализируя новый тип романтической поэмы на примере «Кавказского пленника»,

в котором «к центральному персонажу „прибавляется" автор, к эпическому началу — лирические элементы»,[99] исследователь сравнивает ее со старой «описательной» поэмой. В ней, напротив, «различные элементы группировались вокруг авторского „Я" — главного субъекта всего происходящего: воспоминаний, действий и, конечно, описаний увиденного. Совсем не обязательно при этом, чтобы описательная поэма рассказывала о путешествии автора, и описания носили географический или этнографический характер».[100] Далее, на наш взгляд, безосновательно в качестве примера «этнографической» поэмы исследователь называет «Тавриду». Но в целом положение Ю. В. Манна о том, что признаком жанра «описательной» поэмы «является не предмет описаний, но их строгая организация вокруг авторского „я"»,[101] в высшей степени применимо к «Тавриде». Распространяя его, можно сказать, что у Муравьева принцип, так сказать, романтического «эгоцентризма» доведен до своего рода солипсизма, когда авторским «я» исчерпывается и лирический сюжет, и само развитие действия (оно подменяется медитациями героя). В этом смысле причисление «Тавриды» к жанру «описательной» поэмы вполне оправданно. В примеча-

[99] *Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 155.
[100] Там же.
[101] Там же.

ниях исследователь пишет в целом о сборнике: «Это весьма слабое и подражательное произведение интересно тем, что оно словно стремится после „Бахчисарайского фонтана" Пушкина вернуть таврическую тему в русло традиционной описательной поэмы».[102]

Точка зрения Ю. В. Манна звучит убедительно. Действительно, если рассматривать «Тавриду» как поэму, то ее следует отнести к разряду поэм «описательных». Однако по многим признакам она может быть отнесена и к жанру лирического цикла. Как утверждает исследователь этого жанра, М. Н. Дарвин, «только отсутствие в литературном обиходе слова „цикл" заставило А. Н. Муравьева назвать 14 своих стихотворений „описательной поэмой" „Таврида", а также ввести для усиления впечатления единства сквозную нумерацию для всех строф произведений...»[103] Казалось бы, М. Н. Дарвин прав, но его суждение основано главным образом на формальных признаках цикла.

Как известно, лирический цикл, обладая большой степенью тематического и художественного единства, в то же время характеризуется и опре-

[102] Там же.

[103] *Дарвин М. Н.* Русский лирический цикл. Красноярск, 1988. С. 55. Неверно указано количество произведений, составляющих цикл (правильно — 12). В. С. Киселев-Сергенин также рассматривал первую часть «Тавриды» как лирический цикл (Поэты 1820—1830-х годов. М., 1972. Т. 2. С. 690).

деленной автономностью отдельных произведений. Их совокупность рождает новое качество более высокого порядка — качество лирического цикла. Оно не может быть определено как простая сумма произведений.

Между тем «диалектика» «Тавриды» такова, что, слагаясь из значительного числа отдельных стихотворений, произведение в целом не получает ни нового художественного качества, ни имманентного развития, ни даже известной законченности. В ней нет внутреннего единства и целостности (есть однообразие и монотонность). Изъятие одного или даже нескольких произведений мало повлияло бы на художественное качество целого. «Таврида» представляется нам как некое «большое» стихотворение.

Очевидно, за ней нельзя однозначно признать определение лирического цикла. Но рассматривать ее в рамках этого жанра вполне целесообразно. И прежде всего в рамках того типа лирических циклов, о которых М. Н. Дарвин писал: «...в поэзии 20—30-х годов ⟨...⟩ можно обнаружить и немало таких „формальных" циклов, которые строятся не только на жанрово-тематических связях произведений, но и на „естественном", как бы „объективном" ходе событий или течении времени: движении суток, времен года, „сюжета" странствия или путешествия».[104]

[104] *Дарвин М. Н.* Русский лирический цикл. С. 70.

Муравьев действительно использовал указанные приемы. Так, стихотворение «Орианда» начинается восклицанием: «Уж вечер!», и далее следует описание вечернего пейзажа. Следующее за ним стихотворение «Ялта» развивает тему ночи. Объединяющим сюжетным мотивом для стихотворений «Мердвень» и «Алупка» является «бег коня» — лирический герой как бы отдается его воле (аналогичное решение — в стихотворении Мицкевича «Байдары»). Часто поэтическим импульсом служит риторический вопрос или восклицание: «Видали ль солнце на восходе?», «Видали ль солнце на закате?», «Взгляните на шатер Тавриды!», «Взойдите на шатер Тавриды!».

Итак, жанр первой части «Тавриды», на наш взгляд, не может быть определен однозначно. Обладая выраженными признаками «описательной» поэмы и лирического цикла, она, в строгом смысле, не принадлежит ни тому, ни другому жанру.

Название сборника — «Таврида» — также соотносится исключительно с первой его частью. И название, и эпиграф (из Овидия) глубоко символичны и в то же время очень характерны (если не банальны) для 1820-х гг. Тема Овидия, поэта-изгнанника, с которым отождествлял себя Пушкин в период южной ссылки, стала знаковой в восприятии Крыма. Мотив одиночества, доминирующий в «Скорбных элегиях» и «Письмах с Понта», не представленный столь рельефно бо-

лее ни у одного из римских поэтов периода Золотого века и, в известной степени, ни у одного из античных поэтов вообще, был очень близок романтикам. Дополнительные смысловые оттенки, которые Муравьев мог вложить в название, связаны с идеей преемственности. Подобно Овидию, который первым и, по сути, единственным из римских поэтов разработал фракийскую (шире — понтийскую) тему, первым в поэтической форме описал впечатления от пребывания в окраинной области Римской империи, у ее рубежей, Муравьев одним из первых русских поэтов обратился к описанию вновь присоединенных к Российской империи земель, природы Крыма. Античное название Крыма, вынесенное в заглавие, и подчеркивает указанную преемственность.

Первая часть сборника была задумана, очевидно, как поэтический путевой дневник. Материалом для него послужило, как мы знаем, реальное путешествие (по Южному берегу Крыма от Херсонеса до Кучук-Ламбата[105]). Однако художественный результат оказался таков, что «крымскую часть» скорее следует отнести к «путешествиям воображения». В сущности, картина, которую Муравьев рисует в двенадцати стихотворениях «цикла», посвященных, судя по названиям, разным местам Крыма, одна и та же. Впечатление однообразия и монотонности усиливает

[105] Ныне пос. Кипарисное (близ Фрунзенского).

структура строфы: восьмистишие с перекрестной рифмовкой: ababcdcd (и таких строф — 107!).

Пейзаж условен; его непременные составляющие — «дикие» горы, «цветущие» долины, «пучина» моря. «Позиция» лирического героя, обозревающего этот «пейзаж» с горы или холма, не лишена метафорического смысла: он как бы вознесен над «миром» и «толпой». Художественный строй произведения механистичен: горы описываются в одической стилистике, долины — в романтической. При этом используются не просто освоенные, но изжитые стилистические схемы. Тем не менее Муравьев пытался быть оригинальным. Проанализируем эту попытку, которая представляет несомненный интерес в плане изучения русской романтической поэмы.

Использование одически возвышенной стилистики в создании горного пейзажа — прием настолько употребительный в XVIII—начале XIX в., что его явные признаки можно обнаружить даже в таком стилистически нейтральном издании, как географический словарь.[106] У Муравьева одический пейзаж получает сильную

[106] Имеем в виду словарь А. Щекатова. В статье, посвященной Судакской крепости, читаем: «С вершины самой горы (на которой расположена крепость. — *Н. Х.*) вид ужасен, величествен и поражает взор. Там с чрезмерной вышины представляется под ногами бесконечное море; с прочих же сторон показываются изрытые пропасти, стремнины и верхи различных гор» (*Щекатов А.* Словарь географический Российского государства. М., 1807. Ч. 5. Стб. 1228).

оссианическую окраску, и в этом — известное его своеобразие.

Под одическим пейзажем (или «одическим пространством») мы подразумеваем такую художественную ситуацию, когда объектом «созерцания» лирического героя является грандиозная пейзажная картина или даже все мироздание, которое он обозревает во всей его целостности с некоей высшей точки. При этом «предметами» описания становятся такие пейзажные доминанты, как горы, моря, леса и проч. Пейзаж не детализируется; поэта интересует не частное, а целое, и даже не пейзаж как таковой, а та идея, для раскрытия которой он служит фоном, отправной точкой.[107] По определению В. М. Жирмунского, это вневременное, «обобщенное описание».[108]

Одически возвышенная тропика, свойственная описаниям «гор», сочетается с оссианической интонацией суровой величественности. Горы и море в восприятии лирического героя — это как бы «мертвая», дикая природа. Она противостоит человеку, что подчеркнуто негативной стилистической окраской: «каменистые исполины», «седой нахмуренный гранит».

[107] Мы воспользовались некоторыми положениями доклада Н. Ю. Алексеевой, посвященного поэтике одического пейзажа (прочитан на заседании Сектора русской литературы XVIII в. ИРЛИ 23 февраля 1995 г.).

[108] *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978. С. 192.

Эквивалентом понятия «море» постоянно служит «пучина» («синих волн пучина», «неподвижная пучина»). При описании гор Муравьев чаще всего пользуется эпитетом «дикие» («громада дикая»). Горы — это «свидетели веков минувших», они хранят «мрачной древности следы». Еще один непременный атрибут их описания — туман («синими стадами идут туманы по горам»). «В стихотворениях Муравьева, посвященных Крыму, — отмечал Ю. Д. Левин, — обнаруживаются следы оссианической поэтики...»[109] В этом смысле наиболее яркий пример — стихотворение «Ориандa»:

Там грозный образ исполина
Из облаков туманный встал,
И мнится: видишь властелина
Сих диких гор, утесов, скал;
Он ходит в ветрах, он кивает
Седым челом, манит рукой,
Клубами дивный стан свивает
И длинной стелется грядой.

Совсем в ином ключе, в стилистике «идеального пейзажа» (или, по терминологии Ю. В. Манна, «идеального ландшафта»),[110] решен мотив «долин». В отличие от «гор», они одухотворены

[109] *Макферсон Д.* Поэмы Оссиана / Изд. подгот. Ю. Д. Левин. Л., 1983. С. 568. (Литературные памятники).

[110] *Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма. С. 143.

присутствием человека. М. Н. Эпштейн, исследовавший различные пейзажные модели в русской лирике, выделил «пять основных, самых устойчивых элементов того, что по-латински именовалось locus amoenus — „приятным, восхитительным местом", или „местом мест" ⟨...⟩ 1) мягкий ветерок, овевающий, нежащий, доносящий приятные запахи; 2) вечный источник, прохладный ручеек, утоляющий жажду; 3) цветы, широким ковром устилающие землю; 4) деревья, раскинувшиеся широким шатром, дающие тень; 5) птицы, поющие на ветвях».[111] Почти все они встречаются у Муравьева: «долины» — «цветущие», «смеющиеся», «радостные», «свежие», «волшебные». Они «прохладой манят», утопая в «роскошной неге садов». Заключительные строфы стихотворения «Мердвень» — яркий пример описания «долин» — перекликаются с элегией К. Н. Батюшкова «Таврида» (1815). У Муравьева:

Но с высоты какие виды
Пленяют удивленный взор!
Весь берег радостной Тавриды
Лежит на скате синих гор:
Везде цветущие долины
И плодоносных тень дерев,
И моря светлые равнины,
И зелень сел между садов.

---

[111] *Эпштейн М. Н.* Природа, мир, тайник вселенной...: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С. 131.

Там воздух чистый, ароматный
Неувядаемой весны,
Там день не тяготит отрадный,
И ночью слаще веют сны;
Великолепие созданья,
Природы благодатный вид
Там укротит страстей влиянье,
И чувства нежные вселит!

По мысли М. Н. Эпштейна, «идеальный пейзаж» — это напоминание о потерянном рае: «...он полностью гармонирует с природой человека, который в этом „восхитительном месте" действительно „восхищен" всеми своими чувствами, — покинутый рай словно бы возвращен ему на земле».[112]

Ср. у Муравьева (стихотворение «Балаклава»):

Над устьем дремлющей пучины
Еще стоят обломки врат,
И видны через них долины —
Они прохладою манят,
Волнами зелень развивая,
В лазурной стелятся дали,
Как некогда из двери Рая
Картина радостной земли!

Иногда «идеальный пейзаж» строится как собирательный, вмещающий в себя приметы раз-

[112] Там же. С. 132.

ных времен года (общеизвестный пример использования подобного приема — стихотворение М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...»). Сходную модель наблюдаем в стихотворении «Ялта»:

Над молчаливыми брегами
Роскошно восстают холмы
Лутки, полные дарами
Румяной осени, весны...

Как столь разные по стилистике описания складываются в «Тавриде» в единую картину? Сюжетное и художественное развитие заключается в некоем зрительном движении, в переключении точек зрения лирического героя с гор на море, на долины, и наоборот. Сюжет отдельного произведения и цикла в целом состоит не в развитии и обогащении пейзажной темы от стихотворения к стихотворению, а в однообразном чередовании условных «картин», фиксирующих «часть» пейзажа (в виде «горы» или «долины»). В свою очередь они вписываются в изначально заданные (в стихотворении «Чатыр-Даг») рамки общей «картины», то есть всего абстрактного пейзажа. При этом основная коллизия состоит в том, что «горы» и «долины», как правило, не сопоставлены, а противопоставлены друг другу. Их «взаимоотношения» имеют свою «диалектику». Используя прием олицетворения, Муравьев создает следующий образ: «горы» покровительст-

вуют «долинам», защищают их. Вот пример из стихотворения «Ялта»:

Вокруг нее — ночные горы
Стоят завистливой стеной,
Невольно возвращая взоры
На дно долины золотой;
Она, глубоко в отдаленьи,
Втеснилась в сердце мрачных гор, —
Как первой страсти впечатленье,
Как первый совести укор!

Предельно обобщенный пейзаж придает «Тавриде» оттенок философичности. Опираясь на опыт одического пейзажа, Муравьев вплотную подошел к идее пейзажа «космического», разрабатывавшегося, как известно, любомудрами (в частности, С. П. Шевыревым). Это, собственно, не пейзаж, а философская модель мира. В «Тавриде» мы наблюдаем первые шаги к ее освоению.

К числу несомненных художественных достижений следует отнести стихотворения «Чатыр-Даг» и «Ялта». В последнем ощутимо своеобразное предвосхищение тютчевского «космоса», темы особой слиянности человеческой души с мирозданием в ночные часы:

Все тихо! — Звуков нет в эфире,
И на земле движенья нет;
Казалось, в усыпленном мире
Исчез последний жизни след!

Но сладкой тишины мгновенье
Такую негу льет в сердца,
Такие чувства упоенья,
Каких не выразят уста!

Так, если арфы вдохновенной
Последний мощный, дивный звук
Умолк — и голос отдаленный
Звук повторил и вновь потух, —
Рука заснула над струнами,
И тихо все! — Но песнь живет,
Лелея сладкими мечтами,
И эхо — новых звуков ждет!

И никогда в часы смятений,
Когда в груди страстей война
И бунт неистовых волнений,
Так безмятежно не полна
Душа высокая, младая,
Как в тихий ночи час, когда,
Как чаша полная до края,
Она полна собой! — Тогда,

Тогда высокою мечтою
Еще восторг, еще один
Вдохни, — и смертной пеленою
Полет воздушный не стесним!
Она разорвала оковы,
Ее жилище в небесах,
И, смерти памятник суровый,
Остался бездыханный прах!

Поэтическим источником этого произведения могло быть стихотворение Тютчева «Про-

блеск».[113] «Ялта» тематически очень близка ему, хотя существенно уступает в плане философской и поэтической многозначности. «Невыразимое» душевное состояние лирического героя поэт интерпретирует в религиозном смысле: душа стремится в небеса — в свое истинное жилище.

Вообще обе темы — философская и религиозная — выступают в «Тавриде» неразрывно, причем последняя явно доминирует. Муравьеву свойственна выраженная ортодоксально-православная позиция. Она довлеет над философским началом, которое чаще всего проявляется в виде религиозно-философских сентенций. Как правило, они служат концовками.

В религиозном духе в «Тавриде» решена не только пейзажная тема, но и тема русской истории. Лирический герой сборника выступает в двух ипостасях. В одной он — благоговейный созерцатель Природы, испытывающий чувство религиозного преклонения перед величием Творца. В другой — благочестивый паломник по Святым местам. Включение последнего образа кажется неожиданным — ведь таврическая тема традиционно соотносилась с «восточной» поэмой, которой присущи, скорее, антиклерикальные мотивы. Однако в сознании поэта оба этих образа — пантеиста и православного верующего были

[113] Впервые опубликовано в альманахе «Урания» (М., 1826).

столь органично взаимосвязаны, что не только не исключали, но, напротив, дополняли друг друга. Последний будет доминировать во второй части сборника и тем самым выполнит роль связующего звена, обеспечивающего целостность произведения.

Теме паломничества как таковой посвящено стихотворение «Развалины Корсуни». Его пафос состоит в передаче того благоговейного религиозного чувства, которое охватывает лирического героя-паломника при созерцании руин Херсонеса (Корсуни) — города, где Россия в лице князя Владимира приняла святое крещение. Герой становится свидетелем запустения — «безмолвия пустыни».

Но отчего среди обломков
Стою благоговенья полн?
. . . .
Невольно отчего робею
В полуобрушенных стенах,
На груды их ступить не смею,
Как на отца священный прах?

Далее в метафорической форме излагается история крещения Владимира (она составляет основное содержание стихотворения). В финале звучит мотив негодования: «Неблагодарные потомки! / Вы позабыли об отцах».

В контексте творческой эволюции Муравьева это стихотворение представляет особый интерес:

оно в миниатюре являет ту модель повествования, которая впоследствии в развернутом виде реализовалась в его «Путешествиях». Структура такого повествования складывалась из ряда обязательных элементов: передачи эмоционального впечатления от созерцания святыни, краткого изложения ее истории и размышлений о современном состоянии. Все они присутствуют и в «Развалинах Корсуни».

Помимо религиозной тематики это стихотворение отличается от других выраженным эпическим началом. В этом смысле его можно сопоставить со стихотворением «Бакчи-Сарай» (не случайно они соседствуют в сборнике). В последнем с особой выразительностью заявлена историческая тема, которая получит наибольшее развитие во второй части «Тавриды».

В судьбе сборника стихотворению «Бакчи-Сарай» принадлежит совершенно особая роль. Именно оно более всего привлекало внимание исследователей — в нем искали подражание пушкинскому «Бахчисарайскому фонтану».[114] Такая точка зрения восходит к рецензии Боратынского, который писал: «„Таврида" — про-

---

[114] Так, например, Ю. Н. Тынянов писал о Муравьеве: «Он несомненный и даже сознательный подражатель Пушкина (сознательность доказывается выбором в 1827 г. такого сюжета, как «Таврида»)...» (*Тынянов Ю. Н.* Пушкин и Тютчев // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 174).

изведение совершенно ученическое. Создание ее бедно или, лучше сказать, в ней нет никакого создания. Это риторическое распространение двух стихов Пушкина в „Б.⟨ахчисарайском⟩ Ф.⟨онтане⟩":

> Где скрылись ханы? Где гарем?
> Кругом все пусто, все уныло...»[115]

Эту характеристику рецензент отнес ко всей «описательной» поэме, а не только к «Бакчи-Сараю», как принято считать. Впрочем, нельзя отрицать, что главным поводом для нее послужило именно это стихотворение.

Первая, собственно «описательная» его часть (четыре строфы) несомненно носит следы подражания Пушкину, и в отношении нее суждение Боратынского вполне справедливо. Муравьев стремился передать атмосферу «развалин», которые хранят память веков. Кладбищенский мотив усилен картиной ночного пейзажа:

> Пустынный двор Бакчи-Сарая
> Унылой озарен луной;
> Развалин друг, она, играя,
> Скользит по келье гробовой...

---

[115] *Баратынский Е.* «Таврида» А. Муравьева // Баратынский Е. А. Стихотворения, проза, письма / Вступ. ст. К. Пигарева; примеч. О. Муратовой и К. Пигарева. М., 1951. С. 421—422.

В этом царстве забвения и смерти слышится лишь один живой звук — звук фонтана. Он — единственный свидетель прошедших веков:

И будит дремлющие своды
Фонтанов однозвучный шум,
Из чаши в чашу льются воды,
Лелеятели сладких дум.
Все изменили быстры годы —
Где ханский блеск? — Но водомет
Задумчивые пенит воды
На память тех, которых нет!

Вслед за этим тема и тональность стихотворения резко меняются — в последних строфах изображена борьба России с Крымским ханством:

За все отмстила вам Россия,
Орды губительных татар!
Вы язвы нанесли живые —
На вас обрушился удар;
В крови вы злато добывали,
Огнями пролагали след
И на главу свою сзывали
Отмщение грядущих лет!

Лирический герой из меланхолического созерцателя превращается в негодующего трибуна. Гневно-обличительная интонация последних строф резко контрастирует с умиротворенно-философским настроением первых. Собственно, на этом контрасте и основан художественный эффект произведения.

Важно отметить, что при первой публикации (в «Северной лире») заключительные строфы отсутствовали.[116] Очевидно, поэт намеренно исключил историческую тему, сообразуясь с характером альманаха и литературными вкусами составителей. Но в таком «облегченном» виде стихотворение действительно воспринималось как прямое подражание «Бахчисарайскому фонтану». Видимо, именно это и заставило автора в дальнейшем, при подготовке «Тавриды», придать ему более «самостоятельный» вид.

Сам он отрицал связь с «Бахчисарайским фонтаном». По поводу критики Боратынского Муравьев писал В. А. Муханову 18 марта 1827 г.: «...говоря о „Тавриде", он коротко и просто сказал, что она вся есть растянутые два стиха Пушкина из „Бак.⟨чисарайского⟩ Фонтана" — справедливо ли это? И этот упрек мне всех неприятнее, потому что я не только не старался ловить его мысли, но даже и во всем избегал подражать ему».[117]

И все-таки «Бакчи-Сарай» типологически может быть отнесен к тем «многочисленным, — как утверждал В. М. Жирмунский, — лирическим стихотворениям, рассеянным по журналам, альманахам и собраниям стихотворений, в которых отдельные мотивы „Бахчисарайского фонта-

[116] Так же как и в позднейшей перепечатке стихотворения (Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1834. № 93 (от 21 ноября). С. 748—749).

[117] Текст письма см. в наст. изд.

на" — красота крымской природы, ханский дворец и фонтан, пленница и т. д. — являются предметами лирических раздумий».[118]

Образами благоговейного созерцателя природы и благочестивого паломника не исчерпывается содержательная специфика лирического героя. Отдавая дань литературной моде, в ряде стихотворений автор предстает как типичный романтический разочарованный герой со всеми непременными атрибутами этого образа. Наиболее отчетливо, даже декларативно он явлен в стихотворении « Orианда»:

Опять, опять, воспоминанья,
Вы грудь тревожите мою!
Бегите прочь из состраданья,
Я слезы и без вас пролью;
Иль в настоящем мало горя,
Чтоб о прошедшем вспоминать?
Когда в виду лишь бедствий море —
О невозвратном ли мечтать?

Бегите! — нет, всю вашу сладость
Еще мне дайте раз испить,
Еще однажды черпать радость
И трепетать, и слезы лить!
Я цвел в объятиях природы
И никогда я не желал,
Чтобы младенческие годы
Скорей текли! ...

---

[118] *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. С. 261.

В стихотворении «Кучук-Ламбат» эти же мотивы получают иной — сентиментальный оттенок:

Когда б мы счастия искали
Не далеко, вокруг себя, —
Его напрасно б не искали,
И счастием была б семья,
Участница веселья, горя
И сонм приветливых друзей, —
Преплыли б вместе жизни море,
Достигли б пристани своей!

Следует признать, что в обоих стихотворениях попытки ввести лирическую струю оказались слишком художественно невыразительными. Это, так сказать, loci communes романтической поэзии, которые столь удачно описал О. М. Сомов в своей известной статье «О романтической поэзии» (1823): «Что же может быть ограниченнее, однообразнее тех стихов, которыми ежедневно наводняется словесность наша? Все роды стихотворений теперь слились почти в один элегический: везде унылые мечты, желание неизвестного, утомление жизнью, тоска по чему-то лучшему, выраженные непонятно и наполненные без разбору словами, схваченными у того или другого из любимых поэтов».[119]

[119] *Сомов О. М.* О романтической поэзии // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2-х т. М., 1974. Т. 2. С. 561.

Подводя предварительный итог, следует признать, что в первой части сборника наиболее удачны стихотворения, в которых преобладает фабульное, повествовательное начало. Это вполне закономерно для произведения в известной степени ученического, каким и была «Таврида». Но главное — более созвучно творческому амплуа автора, тяготевшего к эпическим формам. С особой наглядностью эта тенденция проявилась во второй части сборника.

Вторая часть «Тавриды», так же как и первая, представляет собой самостоятельное художественное целое, а именно — поэтический сборник как таковой. Типологически он ближе к нормативным сборникам XVIII в., чем к сборникам собственно романтическим, традиция которых начинает складываться во второй половине 1820-х гг. В нем явно преобладает логический порядок, хотя автор и стремится его нарушить, имитируя «беспорядок» и вообще творческую раскрепощенность. Над лирическим началом заметно доминирует, как мы уже отметили, начало повествовательное, фабульное.

Знаменателен тот факт, что Боратынский в своей рецензии все внимание сосредоточил именно на второй части, противопоставив ее первой: «В мелких стихотворениях дарование г-на Муравьева гораздо зрелее. Каждая пьеса уже заключает в себе более или менее полное создание,

и от времени до времени встречаются прекрасные стихи».[120]

Вторая часть «Тавриды» насчитывает 23 произведения (почти в два раза больше, чем первая). Многим из них предпосланы эпиграфы: из Вергилия, Гёте, «Повести временных лет», «Истории» Карамзина, Оссиана, Шиллера, Ж. де Сталь, Байрона, Данте. На первый взгляд, этот перечень должен свидетельствовать о тематической и стилистической многоплановости произведения. «Интегрирующую» функцию выполняют эпиграфы, предпосланные всему сборнику (они вынесены на отдельную страницу). Оба — из Оссиана. Особенно важен для понимания авторского замысла второй из них, представляющий собой цитату из зачина поэмы «Ойна-морул»: «Как над злачным холмом Лармона проносится луч переменчивый солнца, так в душе моей по ночам сменяются повести прошлого. Когда восвояси расходятся барды, когда повешены арфы в чертоге, тогда Оссиану слышится голос и душу его пробуждает. *Это голос ушедших годов, они текут предо мною со всеми своими деяниями. Я ловлю те повести, пролетающие, и в песне их изливаю*».[121] (Курсивом выделен текст, использованный Муравьевым в качестве эпиграфа.)

---

[120] *Баратынский Е.* «Таврида» А. Муравьева. С. 422.
[121] *Макферсон Д.* Поэмы Оссиана. С. 275.

Эпиграф экспонирует две ключевые, неразрывно связанные темы. Или, точнее, с его помощью заявлена не только основная тема сборника — историческая («повести прошлого», «голос ушедших годов»), но и та стилистика (оссианическая), в которой она решается. Намеченный здесь же образ лирического героя — меланхолического «певца» — раскрывается уже в первом стихотворении («Поэзия»), насыщенном оссианической атрибутикой.

Стихотворения «Поэзия» и «Чатыр-Даг» составляют своего рода иерархию зачинов ко второй части сборника, точно так же, как «Таврида» и «Чатыр-Даг» — к первой. Наличие двух не только одноименных, но и сходных по художественной функции произведений в обеих частях чрезвычайно примечательно и требует специального анализа. Оно знаменует идейно-тематический и композиционный параллелизм последних.

Генезис подобной художественной модели проясняется при обращении к одической традиции. Н. Ю. Алексеева в новейшем исследовании, посвященном русской оде, описывает состояние «экстатического видения», восторга одического поэта, служащее, по ее убеждению, непременным условием «осуществления» оды и воплощенное в так называемом «приступе» (зачине): «Мысленному взору поэта открывается весь мир в его настоящем, прошлом и будущем, во всей его огромности и безбрежности. Это определяет простран-

ство изображенного в оде мира: моря, горы, полюса, части света, огромная Россия — все доступно взору поэта и дано в едином фокусе его мысленного зрения. Пространство в оде изображается с идеальной высоты, образуя одическую горизонталь. Одическую вертикаль образует время. Герои классической древности, руские князья и цари, библейские цари и герои видятся поэту одновременно, к ним он по-разному апеллирует, и получается, что и они, подобно разным частям света, одновременно присутствуют в оде, презрев время, постранство и разность культур».[122]

Эти наблюдения отчетливо проецируются на зачины обеих частей сборника (разумеется, мы исключаем прямые аналогии, так как анализируемые произведения не принадлежат к жанру оды). Изображаемое пространство в первом «Чатыр-Даге» действительно строится подобно «одической горизонтали». Во втором — подобно «одической вертикали»: лирический герой стихотворения, Юноша Русский обозревает побережье Крыма с самой высокой точки — горы Чатыр-Даг; при этом его мысленный взор обращен в прошлое — к Генуе и ее «дивной дочери» Кафе, к Пантикапею, к могиле Митридата. Однако если одический поэт обретает способность к такого рода видению в состоянии восторга, то

[122] *Алексеева Н. Ю.* Русская ода. Развитие одической формы в XVII—XVIII веках. СПб., 2005. С. 192.

в нашем случае лирический герой меланхолически «погружен в сладкую думу».

Дальнейшее содержание обеих частей сборника определяется именно зачином. От общего взгляда на открывающуюся с вершины горы пейзажную картину поэт в первой части переходит к описаниям конкретных мест Крыма. Во второй — за мысленным взором, умозрительным погружением в глубь веков следует переход к исторической конкретике — стихотворениям на сюжеты из древнерусской истории. Он подготовлен образом лирического героя (alter ego автора), который символически обретает свою тему, свое поэтическое кредо. «Увлеченный минувшим» Юноша Русский не замечает, как «от стен забытой Корсуни» ему является «очарованный призрак» (кн. Владимир). Он упрекает Юношу в том, что тот увлечен «чуждою думой», и взывает к нему:

«Взор сюда обрати — Корсунь на западе солнца! —
Там вдохновений ищи, там луч спасенья и веры!
. . . .
Юноша, в арфу ударь, сорви с веков покрывало!
Тронь сограждан сердца, воспали любовью к отчизне
И наполни их грудь благоговением к вере!»

Последние строки имеют программный характер, и не только для «Тавриды». Их можно было бы поставить эпиграфом ко всему дальнейшему творчеству Муравьева. Призыв: «Тронь

сограждан сердца, воспали любовью к отчизне», казалось бы, звучит совершенно в духе гражданской, декабристской поэзии (сравним: по словам А. А. Бестужева, «Думы» К. Ф. Рылеева должны были «возбуждать доблести сограждан подвигами предков»).[123] Однако следующий призыв: «И наполни их грудь благоговением к вере!» принадлежит совершенно иному и, добавим, довольно неожиданному для конца 1820-х гг. лексико-семантическому полю. Муравьев рассматривал русскую историю в русле скорее церковном, нежели гражданском. Поэтому его «Юноша Русский» — это патриот и православный, а не патриот и гражданин, каким, например, выступает лирический герой «Дум» К. Ф. Рылеева. Если для Муравьева и возможна борьба, то поле ее не гражданское, а религиозное — борьба за чистоту православия, за сохранение церковно-исторических памятников.

В структуре сборника отчетливо выделяются несколько тематических групп:

1) цикл стихотворений на сюжеты из древнерусской истории: «Апостол в Киеве», «Днепр», «Русалки», «Ольга», «Святослав», а также «Ермак» и «Основание Москвы». Это самая большая группа, она задает тон всему сборнику;

[123] *Бестужев А. А.* Взгляд на старую и новую словесность в России // Литературно-критические работы декабристов. М., 1978. С. 48.

2) переводы из Оссиана («Оссиан», «Галл») и стихотворение «Арфа» в духе подражаний Оссиану. Все три произведения непосредственно восходят к Оссиану, а потому легко выделяются в самостоятельную группу. Но этим, как уже отмечалось, оссианическая тема отнюдь не исчерпывается. Напротив, ее можно назвать сквозной — элементы оссианической образности, характерная стилистика встречаются во многих произведениях сборника;

3) стихотворения собственно лирические, преимущественно элегического характера: «Забвение», «Уныние», «Сон певца», «Идеал». В них наблюдается своеобразная контаминация двух художественных начал: традиционные элегические мотивы (разочарование, отчуждение, грусть) сочетаются с оссианической меланхолией;

4) ряд стихотворений невозможно отнести ни к одной из выделенных групп («Перекати-поле», «Стихии», «Прометей», «Эскимосы»). Они помещены в конце и являются, на наш взгляд, рудиментом нормативных сборников с их разделом «Смесь».

Группа стихотворений на сюжеты из древнерусской истории представляет собой наиболее ценную в художественном отношении часть сборника. Прежде всего в ней нет, как в «крымском» цикле, стилистического и жанрового однообразия. Стихотворения «Апостол в Киеве» и «Днепр»

отличаются эпической широтой повествования. Поэт стремился передать пафос двух ипостасей русской истории: религиозной и ратной. Вполне традиционно (следуя «Повести временных лет») он связывает ее начало с приходом на Русь апостола Андрея Первозванного. Следующее стихотворение — «Днепр» передает собирательный образ «битв»: «Стук мечей, и треск щитов, и посвисты копий, / Браней гул, и клик побед, и томные стоны» (использован характерный для эпической поэзии прием нанизывания («нагнетания») образов).

Напротив, «Ольга», «Святослав», «Основание Москвы» сюжетно очень локальны и исторически конкретны («Ольга» и «Основание Москвы» написаны в жанре баллады). В стихотворении «Святослав» встречаем типичный фольклорный образ — «солнце красное богатырский Князь», а также распространенный в фольклоре прием параллелизма. Впечатление народности усилено размером стихотворения (хорей 5454), а также использованием в первом и третьем стихе строфы дактилических окончаний. В жанре фольклорной стилизации выдержано и стихотворение «Русалки», одно из самых примечательных произведений сборника и наиболее известное в поэтическом наследии Муравьева. Особенно оригинальны его композиция и метрический строй. Своего рода «безделка», оно помещено в середине цикла и создает возможность перехода от воз-

вышенно-эпической интонации «Апостола в Киеве» и «Днепра» к балладно-исторической конкретике «Ольги» и «Святослава».

Все рассмотренные стихотворения в той или иной степени относятся к жанру переложений или стилизаций: Муравьев либо следует летописному повествованию «Повести временных лет», излагая в балладной форме конкретный исторический сюжет, либо имитирует народность, используя фольклорные приемы и образы. В этом смысле «Ермак» представляет исключение. В стихотворении заметна попытка автора «творить» — интенция, свойственная романтизму: велика доля художественного вымысла, впервые появляются оригинальные образы (Остяк, Путник). Действие отнесено к современности, хотя в основе произведения — историческое предание о покорителе Сибири. Это дает основание соотносить стихотворение с анализируемым циклом.

Весьма условно к нему можно отнести еще одно стихотворение исторической тематики — «Основание Москвы». Оно оторвано от других произведений и завершает сборник, который таким образом получает кольцевую композицию — историческая тема звучит в его начале и конце.

«Основание Москвы» представляет собой образец интерпретации исторического сюжета в романтическом духе: в качестве основного драматургического стержня Муравьев избрал любовную коллизию. Для поэта-романтика такое реше-

ние вполне традиционно; он повторит его, например, в эпической поэме «Потоп». В отличие от других произведений цикла стихотворение имеет своим источником не «Повесть временных лет», а «Историю» Карамзина, точнее — примечания к ней (подробнее см. коммент.).

Любопытно, что в произведениях исторической тематики порой слышны отголоски таврической темы. Так, в некоторых пейзажных зарисовках (например, в «Основании Москвы») ощутима связь с «крымским» циклом:

Как утром, на краю морей,
Туманы плавают стадами,
И волны все ясней, ясней,
И ближе свет, и вдруг лучами
Проглянет солнце — так предстал
Внезапно Князь...

Вторая выделенная нами группа стихотворений состоит из трех произведений: двух переводов («Оссиан», «Галл») и стилизации в духе Оссиана («Арфа»). «Оссиан» и «Галл» — это первые поэтические переводы на русский язык наиболее известных фрагментов из поэмы «Темора», а также из примечаний к ней: так называемой «Песни Оссиана» и «Обращения Гола к духу своего отца». Оба они выполнены непосредственно с оригинала (в русской оссианической традиции преобладают переводы, опосредованные французскими источниками). «Арфа» —

одно из наиболее насыщенных оссианической символикой произведений сборника. Оно представляет собой контаминацию наиболее распространенных мотивов и поэтических формул русской оссианической поэзии (беседы с тенями умерших героев, погруженность в воспоминания, меланхолический колорит). Стихотворение интересно тем, что в нем с особой выразительностью рисуется образ поэта. Чаще всего Муравьев решает его именно в оссианическом духе. Поэт у него — это обязательно «Певец»; его непременный атрибут — арфа. Он отрешен от мира и «толпы», пребывая в поэтическом «сне».

Ю. Д. Левин в своей монографии «Оссиан в русской литературе» назвал увлечение Оссианом «юношеским» явлением. По мнению исследователя, «для многих поэтов обращение к Оссиану было не только эпизодическим, но относилось к началу их творческого пути (у некоторых с этим было связано первое выступление в печати)».[124] Роль этих «юношеских упражнений» в творческой биографии поэтов первой трети XIX в. исследователь видит в том, что для них «оссианизм являлся некоей ступенью на пути к овладению романтической поэтикой».[125] Это суждение в высшей степени справедливо и в отноше-

[124] *Левин Ю. Д.* Оссиан в русской литературе. Конец XVIII—первая треть XIX века. Л., 1980. С. 55.

[125] Там же. С. 56.

нии творческой биографии Муравьева. Можно сказать, что романтизм он постигал сквозь призму оссианизма.

В плане общей истории оссианизма в России оссианические произведения Муравьева интересны постольку, поскольку принадлежат к числу позднейших. Они относятся к тому времени, когда это литературное явление перестает быть живым и плодотворным. «В условиях утвердившегося романтизма, — пишет Ю. Д. Левин, — становилась ясной искусственность и риторическое однообразие оссианической образности и стиля Макферсона».[126] Возникают сомнения в подлинности поэм; распространяется и утверждается мнение о них как о литературных произведениях — мистификации Д. Макферсона. Постепенно оссианизм изживает себя и оказывается на периферии литературного процесса. «В России во второй половине 20-х гг., — утверждает Ю. Д. Левин, — к Оссиану обращались лишь второстепенные поэты-эпигоны».[127]

Их немногочисленный список исследователь открывает именем Муравьева. Это вполне закономерно, хотя характеристику «второстепенный

---

[126] Там же. С. 136.

[127] Там же. С. 138. По мнению исследователя, оссианизм «оставался действенным фактором» приблизительно до 1824 г. (С. 99).

поэт-эпигон» нельзя признать достаточно корректной. На наш взгляд, творческий опыт Муравьева, как одного из последних поэтов-подражателей Оссиана, наиболее репрезентативен и значителен. В этом смысле «Таврида» остается недооцененной.

Напомним, в основе ее замысла — желание создать «что-нибудь русское» (оно воплотилось сначала в поэме «Владимир», а затем в рассмотренном выше цикле стихотворений), а непосредственным толчком к его осуществлению стало увлечение Оссианом — чтение поэм на языке оригинала, проникновение в их образный и стилистический строй. «Напитанный» Оссианом, Муравьев приступил к «Тавриде».

Перед нами яркий пример описанного Ю. Д. Левиным явления: для начинающего поэта увлечение Оссианом стало ступенью к созданию романтического произведения. Но влиянием шотландского барда, подражанием его образно-стилистическому строю не исчерпывается специфика «оссианического» в «Тавриде». От самого замысла до воплощения сборник представляет собой исключительно цельный, в высшей степени наглядный пример сращения двух эпических традиций: «Слова о полку Игореве» и поэм Оссиана. Они персонифицируются в образах Бояна—Оссиана.

Хорошо изучено и неоднократно описано представление современников о типологической

близости поэм Оссиана и новооткрытого «Слова о полку Игореве».[128] Ю. Д. Левин по этому поводу, в частности, писал: «...оригинальность и неповторимость „Слова" побуждали на первых этапах его освоения уподоблять его чему-то знакомому и привычному. К тому времени Оссиан уже был хорошо известен в России и воспринимался как образец древней северной воинственной поэзии. Творение Макферсона, приспособленное к современным ему вкусам и эстетическим воззрениям, было ближе и понятнее, чем подлинное древнее произведение, хотя и отечественное. И шотландский бард в каком-то смысле помогал понять древнерусского певца».[129]

Специфика восприятия «Слова» в русской литературе первой четверти XIX в. заключалась в том, что в центре внимания оказались не главные его герои, не основная сюжетная линия,

---

128 *Елеонский С. Ф.* Поэтические образы «Слова о полку Игореве» в русской литературе конца XVIII—начала XIX вв. // «Слово о полку Игореве». Сборник статей / Под ред. И. Г. Клабуновского и В. Д. Кузьминой. М., 1947. С. 95—123; *Прийма Ф. Я.* «Слово о полку Игореве» в научной и художественной мысли первой трети XIX века // «Слово о полку Игореве». Сборник исследований / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950; *Лотман Ю. М.* «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII—начала XIX в. // «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962. С. 330—405.

129 *Левин Ю. Д.* Оссиан в русской литературе. С. 74.

но эпизодическое лицо, которое, по выражению Ю. М. Лотмана, «ни в малой степени не составляет *лирического центра* произведения»,[130] — певец Боян. Подобное восприятие было подготовлено несколькими факторами. Во-первых, типологической близостью (в читательском восприятии) образов Бояна и Оссиана, что, собственно, и служило основой для сближения двух памятников. Во-вторых, спецификой романтизма, в фокусе которого неизменно находился образ поэта («певца», «барда» и пр.). В этом смысле сама недорисованность образа Бояна в «Слове» открывала широкий простор для интерпретаций. Как утверждал Ю. М. Лотман, «имя Бояна стало неизбежной принадлежностью „древнерусского стиля" ⟨...⟩ В зависимости от позиции автора образ Бояна принимал различные очертания. Сравнение его с Оссианом, бардами и скальдами скоро сделалось общим местом. ⟨...⟩ В поэзии, связанной с субъективистскими тенденциями, Бояну придавались заимствованные из оссиановского арсенала черты меланхолии, грусти о безвозвратно прошедшем».[131]

Именно такова трактовка его образа в «Тавриде». Анализ сборника дает исключительно интересный материал, позволяющий судить об

---

[130] *Лотман Ю. М.* «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII—начала XIX в. С. 376.

[131] Там же. С. 392.

эволюции типологического сближения образов Оссиана—Бояна. Конечной ее точкой следует признать их неразличение, «взаимозаменяемость». Именно эту стадию мы обнаружили, работая над комментарием к стихотворению «Поэзия». Первоначально (как «песнь Баяна») оно вошло в трагедию «Владимир» (Баян здесь — одно из действующих лиц). Затем Муравьев, заменив слово-сигнал «гусли» — на «арфу» и отредактировав концовку, вписал его в оссианический контекст «Тавриды» (источник стиха «И в струны вдвинул я живые вдохновенья», очевидно, был для него уже неясен, поэтому изменений в нем не последовало). Стихотворение «Поэзия» принадлежит к числу собственно романтических. И «гусли», и «арфа» в нем в равной степени — рудименты образно-стилистических систем. Тем не менее включение последних еще осознавалось поэтом как необходимое. Примечательно и неверное написание имени легендарного певца: Баян. То есть в качестве имени собственного (правильно: Боян) Муравьев употребил нарицательное (баян — значит «певец»).[132] Это одна из тех

---

[132] Как установил С. Ф. Елеонский, В. Т. Нарежный «первый ввел в поэтический оборот „баянов" в нарицательном мысле, в значении древнерусских певцов. Писатели XIX века долго не могли расстаться с этим полюбившимся наименованием (перешедшим затем в быт), повторяя к тому же неправильное написание „баяны", как у Нарежного и прежде всего у Хераскова (писавшего

подмен, которая еще раз свидетельствует о размытости, стертости представлений автора о «древнерусском» и «оссианическом» стилях. В его арсенале — лишь скудный набор слов-сигналов, стилевая принадлежность которых еще различима и которыми он легко манипулирует в зависимости от ситуации. Ситуация же в любом случае подчинена главной задаче романтической поэзии — самовыражению поэта (в образе Бояна или Оссиана — неважно).

Не следует ли отнести на счет аморфности представлений об «оссианическом» стиле и тот, казалось бы, парадокс, который связан с первой частью «Тавриды»? Муравьев, как мы уже писали, изображает южный пейзаж (то есть «земной рай»), используя стилистические приемы оссианического, сугубо северного («угрюмого», «мрачного») пейзажа. Подобный художественный «оксюморон» вряд ли был возможен, пока оссианизм оставался устойчивым стилем.

Подведем итог: как на примере «Тавриды» можно охарактеризовать заключительный этап эволюции оссианизма в России? В этот период коренные, имманентно присущие ему признаки теряют свою выраженность; наблюдается смеше-

---

«Баян» вместо «Боян»), а равным образом у Карамзина (транскрибировавшего по-французски: Bayan)» (*Елеонский С. Ф.* Поэтические образы «Слова о полку Игореве»... С. 101).

ние, неразличение изначально строго разграниченных направлений как в самом оссианизме, так и смешение, контаминация оссианического стиля с иными (в нашем случае — одическим и «древнерусским»). При этом по-прежнему из всех его возможных потенций наиболее востребованной остается романтическая.

Известно, что Муравьев расценивал сборник как литературную неудачу. «„Таврида" всегда мне казалась слабою и бесцветною»,[133] — признавался он в «Моих воспоминаниях»; «...так как я однажды имел литературную неудачу, в 1827 году ⟨...⟩ то мне хотелось себя испытать, прежде, нежели опять явиться на свет...»,[134] — писал он по поводу подготовки к изданию «Путешествия ко Святым местам». В письме М. П. Погодину от 1830 г. Муравьев восклицает: «Мне надоела „Таврида", хочу с ней развязаться!»

Строгость самооценки — уже признак дарования. Разумеется, не следует переоценивать ни художественный уровень этого произведения, ни его роль в литературном процессе второй половины 1820-х гг. Вообще мы расценивали работу над данным текстом как своего рода эксперимент. Эксперимент, который еще раз доказал, в

[133] *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 63.

[134] Там же. 1895. № 12. С. 595.

сущности, априорные положения. В условиях высочайшего развития стихотворной культуры даже поэты скромного дарования, как Муравьев, создавали безусловно ценные в художественном отношении произведения. «Таврида» множеством нитей — явно и скрыто — связана с современной ей литературной эпохой; их выявление и анализ представляют особый историко-литературный интерес. Наконец, изучение рецензий на сборник дает новый ценный материал для исследования литературно-критической мысли эпохи. «Таврида» заслуживает внимания еще и в силу своей тематики — как одно из первых произведений русской литературы, посвященных Крыму.

Все это позволяет расценивать ее как литературный памятник, изучение которого, надеемся, не ограничится рамками данного издания.

* * *

Настоящая книга была подготовлена в год 200-летнего юбилея А. Н. Муравьева (2006); в 2007 г. исполняется 180 лет с момента выхода «Тавриды» в свет. Предлагаемое вниманию читателей издание в какой-то мере восполняет последний, неосуществленный замысел Муравьева — опубликовать свои юношеские произведения. И в этом смысле является долгом памяти.

Идея издания сочинений А. Н. Муравьева в серии «Литературные памятники» во многом принадлежала В. Э. Вацуро и совпала с другой идеей — Д. С. Лихачева — издать по возможности все произведения русской литературы, посвященные Крыму. Выражаю искренною признательность всем, кто помог мне хотя бы отчасти воплотить эти замыслы: коллегам по Пушкинскому Дому — П. Р. Заборову, П. В. Бекедину, А. В. Дубровскому, Н. Ю. Алексеевой; моим близким, и прежде всего мужу, В. А. Федоренко, который осуществил всю техническую работу по подготовке книги.

СОСТАВ И ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ

Состав и принципы настоящего издания подчинены структуре, выработанной в серии «Литературные памятники». Текст памятника сопровождают «Дополнения», включающие: поэтический сборник Муравьева «Опыты в стихах», отзывы критики о «Тавриде», письма поэта, относящиеся ко времени работы над сборником. «Приложения» содержат статью, посвященную анализу памятника, и комментарии ко всем публикуемым текстам.

Принципы подачи стихотворных текстов подразумевают следование сегодняшней норме при сохранении значимых индивидуальных и исторических особенностей графики, орфографии и пунктуации. К таковым, на наш взгляд, не относится графический рисунок строфы в первой части «Тавриды» (в издании 1827 г.): все четные стихи (2, 4, 6, 8-й) даны здесь с отступами. Подобный рисунок, распространенный в изданиях

1820-х гг., в данном случае формален и никак не отражает ритмическую организацию строфы. Его исключение не нарушает единое интонационное звучание внутри строфы. В настоящем издании стихи даны без отступов, с выравниванием по левому краю.

Выраженной индивидуальной особенностью пунктуации Муравьева является обилие тире, что характерно для XIX в. Рассматривая тире как авторский знак, мы стремились максимально его сохранить: в случае эллипсиса, интонационно-ритмических пауз, при попытках смыслового членения текста на фразы или иные сегменты. Этот знак исключался в тех случаях, когда его употребление противоречило современным правилам (например, тире между подлежащим и сказуемым, выраженными именем существительным и глаголом).

Сохранена такая историческая «звучащая» особенность, как употребление мягкого знака между согласными в словах типа: *горьний*, *верьх*.

Мы сочли возможным сохранить написание титулов верховных правителей (Царь, Князь, Хан) с прописной буквы, так как эта особенность несет смысловую нагрузку — отражает ярко выраженную консервативно-монархическую, державно-охранительную позицию Муравьева.

Ко всем текстам памятника, кроме авторских примечаний, имеются комментарии. Мы отказались от идеи специальных комментариев к дан-

ным примечаниям, так как весь необходимый поясняющий материал органично вошел в комментарии к конкретным стихотворениям. В основном корпусе фрагменты текста, к которым имеются примечания А. Н. Муравьева, обозначены звездочкой.

КОММЕНТАРИИ

ТАВРИДА

Текст памятника печатается по единственному (прижизненному) изданию: *Муравьев А.* Таврида. М., 1827. Местонахождение рукописи неизвестно.

В комментариях об автографе, первой публикации, датировке отдельных произведений сообщается лишь в тех редких случаях, когда местонахождение автографа установлено; стихотворение впервые было опубликовано не в «Тавриде», а в другом издании; есть необходимые данные для обоснования датировки. По умолчанию следует считать, что автограф неизвестен, стихотворение впервые появилось в «Тавриде», написано в период с сентября 1825 г. по декабрь 1826 г.

Сборнику предпослан эпиграф *Patet castis versibus ille locus.* — «Это место открыто для целомудренных стихов» (*лат.*). Он представляет собой цитату из книги Публия Овидия Назона «Письма с Понта», написанной в изгнании. В открывающем книгу послании «Бруту» поэт обращается к своим книгам (в дословном переводе: «Ах, сколько раз я твердил: „Вы ведь не учите ничему непорядочному, / Ступай-

те, это место открыто для целомудренных стихов"» (Кн. I, письмо 1, стихи 7—8)).

В 8 г. н. э. Овидий по личному распоряжению императора Августа был сослан в далекий город Томы, расположенный на берегу Черного моря. Поводом для ссылки стала книга Овидия «Наука любви», обвиненная в аморальности и подрыве нравственных устоев римского общества. При этом списки *всех* его сочинений (а не только «Науки любви») были изъяты из публичных библиотек империи (о чем свидетельствует сам поэт в известной элегии из сборника «Tristia», III, 1). Публично раскаиваясь в написании «Науки любви», Овидий, однако, считал запрет на свои предыдущие и последующие сочинения несправедливым, о чем не раз писал в стихах периода ссылки («Скорбные элегии» и «Письма с Понта»), неизменно выражая надежду на милосердие Августа и, как следствие, возвращение своих книг в библиотеки.

Можно предположить, что смысл, который вложил Муравьев в эту цитату, избрав ее эпиграфом, тоже имел личностный оттенок. «Это место», то есть в данном случае Крым, открыло путь к поэтическому творчеству для начинающего (и в этом смысле «целомудренного») поэта, стало его поэтической родиной.

Таврида
(С. 7)

Датируется предположительно (на основании мемуаров А. Н. Муравьева): не ранее сент. 1825 г. — до сент. 1826 г. (*Муравьев А. Н.* Мои воспоми-

нания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 63).

Стихотворение выдержано в стилистике «поэтического зачина», которой свойственны ораторские интонации, риторические вопросы и восклицания, то есть элементы поэтики, восходящие к традиции XVIII в. Первый стих («Земли улыбка, радость неба») представляет собой довольно редкую поэтическую фигуру — хиазм (один из видов параллелизма, при котором вторая половина фразы построена в обратном порядке членов предложения). В нем, а также в стихе «И я, отрадной думы полный» содержатся аллюзии на следующие строки из заключительного фрагмента поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»:

Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! очей отрада!

(Курсив мой. — *Н. Х.*). Еще одна возможная параллель — с первыми строками стихотворения Ф. И. Тютчева «Весна» (1821—1822):

Любовь земли и прелесть года
Весна благоухает нам!

(впервые опубликовано: Труды Общества любителей российской словесности. М., 1822. Ч. I. С. 164—165). Муравьев несомненно был знаком с этим стихотворением — см.: *Хохлова Н. А.* Был ли Тютчев участником кружка Раича? // Русская литература. 2005. № 3. С. 107—123.

Стихотворение «Таврида» — одно из наиболее известных в творческом наследии Муравьева. Оно вошло в следующие поэтические антологии: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 112—113; В царстве муз: Московский литературный салон Зинаиды Волконской 1824—1829 гг. М., 1987. С. 338—339; «Здравствуй, племя младое...»: Антология поэзии пушкинской поры / Сост., вступ. ст. Вл. Муравьева. М., 1988. Кн. 3. С. 136; «Прекрасны вы, брега Тавриды...». Крым в русской поэзии / Сост., предисл., примеч. В. Б. Коробова. М., 2000. С. 40—41.

Чатыр-Даг
(С. 10)

[1] *Взгляните на шатер Тавриды...* — имеется в виду гора Чатыр-Даг — высочайшая вершина (до 1527 м) Крымского горного хребта. Мимо нее проходит дорога из расположенного на равнинной части полуострова г. Симферополя к Южному берегу Крыма. Именно этим маршрутом пользовались многие путешественники в XIX в., и впечатления от горы Чатыр-Даг были первыми на их пути. Название горы имеет тюркское происхождение (чатыр — ‘шатер’, даг — ‘гора’). У П. И. Сумарокова встречается русский аналог: Палат-гора (*Сумароков П. И.* Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. СПб., 1805. Ч. 2. С. 52).

[2] *Так некогда во дни завета...* — Аллюзия на ветхозаветный сюжет об исходе евреев из Египта.

когда Моисей получил откровение на горе Синай и заключил союз (завет) с богом. Этому сюжету посвящена бо́льшая часть Пятикнижия Моисея (Исх. 19, 1; Числ. 8, 26).

[3] *Из багряницы и синета...* — то есть из багряного (темно-красного) и синего — сочетание, имеющее аналог в Библии: «и синета и багряница» (в русском переводе: «одежды на них — гиацинт и пурпур» (Иер. 10, 9)).

[4] *Воздвигнул скинию видений...* — Скиния — походный переносной храм, внутреннее убранство которого подробно описано в Исх. 33, 7. В Библии встречаются выражения: скиния собрания, скиния откровения, скиния завета. Выражение «скиния видений», принадлежащее Муравьеву, строится по ассоциации с ними.

[5] *И покрывалом свысока... / Над ней лежали облака.* — Согласно Библии, облако было символом присутствия Бога. Оно покрывало скинию, что служило указанием на его благоволение: «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло ски́нию откровения, и с вечера над скиниею как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда: облако покрывало ее [днем] и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы» (Числ. 9, 15—17).

[6] *Светило дня... / На колеснице огневой...* — Образ восхода—заката солнца (строфы IX—XII) происходит от греческого мифа о Гелиосе (каждое утро он выезжает с востока на колеснице, запряженной четверкой быстроногих огнедышащих коней, и

вечером опускается в Океан на западе). Мифологические ассоциации возникают и в заключительной (XIV) строфе стихотворения, связанной с образом луны. Подобная аллегорическая трактовка смены дня и ночи в высшей степени традиционна и представляет собой устойчивый поэтический штамп.

[7] *Ему зерцалом вечным понт...* — Понт (греч. ποντος) — море. Понт Эвксинский, т. е. «Гостеприимное море» — название Черного моря в древности.

[8] *Видали ль солнце на закате...* — В начальной строке строфы IX — *«Видали ль солнце на восходе»*. Подобный композиционный прием с аналогичными зачинами и дальнейшим развертыванием изображения утреннего/ночного пейзажа встречается в стихотворении Н. М. Языкова «Две картины» (1825), впервые опубликованном в альманахе «Северные цветы на 1826 год»:

Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня
Из синих вод, как шар огня,
Встает в торжественном покое...
. . . .
Прекрасно озеро Чудское,
Когда блистательным столбом
Светило искрится ночное
В его кристалле голубом...

Бакчи-Сарай

(С. 15)

Впервые: под названием «Бакчисарай (Отрывок из описательной поэмы «Таврида»)» и без трех последних строф в альманахе С. Е. Раича и Д. П. Ознобишина «Северная лира на 1827 год» (М., 1827. С. 160—162). Аналогичная публикация: Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1834. № 93 (от 21 ноября). С. 748—749.

Стихотворение состоит из двух частей, каждая из которых содержит устойчивые литературные ассоциации. Первую (описательную) вслед за Е. А. Боратынским принято соотносить с поэмой Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (подробнее об этом см. нашу статью в наст. изд.). Из воспоминаний Муравьева известно о восприятии его стихотворения Пушкиным: «Сочувствуя всякому юному таланту, и он (Пушкин. — *Н. Х.*), как некогда Дмитриев, заставлял меня читать мои стихи, и ему были приятны некоторые строфы из моего описания Бакчисарая» (*Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 11). Вторая (историческая) часть стихотворения посвящена прославлению русского оружия в борьбе с Золотой Ордой и ее преемником, непримиримым врагом России — Крымским ханством. Именно она составляет содержательное ядро стихотворения. Таким образом, существенная новация Муравьева заключается в смещении, переключении акцентов: с «восточной» темы — к теме русской истории. В этом смысле «Бакчи-Сарай» тяготеет скорее к «Кавказскому пленнику» Пушкина, к патриотиче-

скому эпилогу поэмы. В целом первая часть стихотворения может быть соотнесена с кругом «гаремных трагедий», выявленным и описанным В. М. Жирмунским (*Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978. С. 256—267). Вторая восходит к одической традиции (к «Оде... на взятие Хотина» М. В. Ломоносова, к стихотворениям Г. Р. Державина «Осень во время осады Очакова», «На взятие Измаила» и др.). Художественным недостатком является отсутствие органического, сюжетно мотивированного перехода от одной части к другой.

В начале XV в. в связи с разложением и распадом золотоордынского государства одним из первых отделился Крымский улус. Столицей его в 1432 г. стал Бахчисарай. Политика Крымского ханства имела два основных направления: экспансия в отношении Руси, Польши и Литвы; союз с Турцией (в XV в. Крым стал вассалом Османской империи). Борьба Российского государства с татаро-турецкими нашествиями продолжалась на протяжении XVI—XVIII вв., вплоть до присоединения Крыма к России в 1783 г. (последний набег был совершен в 1769 г.).

[9] *Мамай! Ты здесь искал спасенья...* — Мамай (?—1380), татарский темник, фактический правитель Золотой Орды. После поражения в Куликовской битве (1380) потерял власть в Орде, бежал в Крым, был убит в Кафе (Феодосия).

[10] *Донской! На грозном поле чести / Ты первый сокрушил татар! / И внук, твоей наследник мести, / Великий довершил удар!* — Великий князь московский Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) одержал выдающуюся победу над ордынским

войском (Куликовская битва, 1380 г.), хотя окончательное крушение татаро-монгольского ига произошло только в 1480 г. при великом князе московском Иване III Васильевиче (1440—1505), правнуке (у Муравьева неверно: внуке) Дмитрия Донского («стояние» на р. Угре).

Развалины Корсуни
(С. 19)

В истории создания сборника стихотворению «Развалины Корсуни» принадлежит особая роль. Первоначальный замысел Муравьева состоял в том, чтобы «написать гексаметрами поэму эпическую „Владимир, или Взятие Корсуни"» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Рус. обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 61). С целью посетить развалины древнего города в августе 1825 г. поэт и отправился в Крым. Трижды побывав в Херсонесе (Корсунь), он «убедился в незначительности сюжета для поэмы эпической, но богатого для лирической поэзии и отказался от поэмы Владимира» (Там же. С. 63). Таким образом, стихотворение «Развалины Корсуни» ближе всего стоит к первоначальному замыслу «написать что-нибудь русское» и служит ключом к пониманию концепции сборника (подробнее см. нашу статью в наст. изд.).

Херсонес Таврический (в средневековье Херсон, в русских летописях Корсунь) был основан в V в. до н. э. в период греческой колонизации побережья Черного моря и просуществовал как крупный торговый и политический центр около 2000 лет. На рубе-

же XIV—XV вв. он был сожжен и разрушен золотоордынцами; во второй половине XV в. жизнь в городе окончательно угасла и более не возрождалась.

Первые строфы стихотворения (XXII—XXVI) представляют собой характерную для романтической поэзии медитацию лирического героя, обозревающего исторические развалины. Теме забвения, утраты исторической памяти посвящено, в частности, стихотворение Е. П. Зайцевского «Развалины Херсонеса» (Сын отечества. 1825. № 8. С. 408), которое могло быть известно Муравьеву. Существенное различие двух произведений намечено уже в названии (у Зайцевского — Херсонес, то есть город, принадлежащий мировой истории, у Муравьева — Корсунь, история которого связана прежде всего с Россией). Для Е. П. Зайцевского прошлое и настоящее Херсонеса лишь повод для широкого обобщения: утрата исторической памяти — это всеобщий закон.

[11] *Но кто сей витязь величавый ... / Он снял с чела шелом кровавый, / Гроза войны уж пронеслась!* — Имеется в виду киевский князь Владимир Святославич. Обманутый византийским императором Василием II, обещавшим ему (за помощь в подавлении вспыхнувшего в империи восстания) руку своей сестры Анны, осадил в 988 г. Корсунь. Как только город был взят, Василий II отправил к Владимиру Анну, и здесь произошло их бракосочетание. Анне посвящены строки XXVIII строфы.

[12] *В купель он возливает воды...* — Строфы XXIX—XXXI воссоздают предание о крещении князя Владимира Святославича, согласно ряду письменных источников принявшего христианскую веру в Корсуни в 989 г.

[13] *...памятник Герою / Воздвигнут там, где свет приял...* — Мысль о возведении памятника на месте крещения Владимира возникла вскоре после присоединения Крыма к России. Интересно, что практические меры по ее реализации были предприняты именно в 1825 г.: 29 октября, во время пребывания Александра I в Севастополе, адмирал А. С. Грейг поднес ему записку о необходимости общенародной подписки на сооружение храма и получил высочайшее разрешение. Однако это оказалось лишь отправной точкой чрезвычайно долгой истории, завершившейся только в 1891 г. возведением собора св. Владимира по проекту акад. Д. И. Гримма.

[14] *...Где дивный храм?* — Как свидетельствует летопись, в память своего крещения кн. Владимир построил в Корсуни на холме церковь в честь св. Василия (кн. Владимир получил при крещении имя Василий), развалины которой сохранялись до середины XIX в.: «...ясно обозначены были стены святилища и место олтаря, ознаменованное крестом ⟨...⟩ показывают посреди храма углубление купели...» (*Муравьев А. Н.* Впечатления Украйны и Севастополя. М., 1859. С. 57).

Обличительная интонация, усиливающаяся в этой заключительной строфе, имеет вполне конкретные мотивы. В 1784 г. в нескольких километрах к востоку от городища Херсонеса Г. А. Потемкиным было выбрано место для строительства Севастополя. Возведение мощного города-порта оказало пагубное влияние на сохранение руин Херсонеса — в значительной мере они были расхищены или употреблены как строительный материал. В 1822 г. вышло высочайшее повеление о «средствах к сохранению древних досто-

памятностей Тавриды», но желаемого результата оно не принесло. Муравьев не мог не знать о состоянии «священных останков», поэтому пафос заключительной строфы стихотворения одновременно и публицистический.

Спустя 20 лет, в 1847 г., он принял непосредственное участие в деле спасения руин Херсонеса. Возвращаясь из путешествия по Грузии и Армении, как пишет Муравьев, он «имел случай спасти развалины Херсонеса (имеются в виду руины церкви св. Василия. — *Н. Х.*) от 〈...〉 разрушения» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. Неопубл. часть. ОР ГМП. Ф. 2. Оп. 6. Р. 190. Л. 100). Возымело действие его письмо генерал-губернатору Новороссии гр. М. С. Воронцову с приложением «Записки о судьбе древнего Херсонеса» (РГБ. Ф. 188. Карт. 2. № 12).

Эпизод крещения кн. Владимира воссоздан Муравьевым в «Путешествии по Святым местам русским», в главе «Десятинная церковь» (*Муравьев А. Н.* Путешествие по Святым местам русским: В 2 ч. Репринтное изд. 1846 г. М., 1990. Ч. 2. С. 111), а также в кн.: *Муравьев А. Н.* Описание Десятинной церкви в Киеве. Киев, 1872.

Георгиевский монастырь

(С. 27)

Балаклавский Георгиевский монастырь принадлежит к числу главных и наиболее известных христианских святынь Крыма. Тем не менее Муравьев, наметивший в предыдущем стихотворении тему пра-

вославного паломничества, здесь отступает от нее и следует дохристианской историко-мифологической и поэтической традиции, восходящей к Геродоту и Страбону. Они соотносили место, где впоследствии возник монастырь, с капищем и храмом богини Девы, принадлежавшей к пантеону языческих богов древнейшего народа Крыма, тавров. Согласно греческому мифу, Ифигения, дочь Агамемнона, в момент, когда ее готовились принести в жертву Артемиде, была спасена этой богиней и перенесена в Тавриду, где стала жрицей храма Артемиды (впоследствии античное сознание отождествило культ Девы и Артемиды (Дианы)). Ифигения приносила в жертву Артемиде всех чужеземцев, прибывавших в Тавриду. Этот страшный обряд она должна была совершить и над своим братом Орестом, а также его верным другом и помощником Пиладом, приплывшими в Тавриду, чтобы похитить из храма Девы и привезти в Аттику статую Артемиды Таврической. Ифигения не смогла признать в Оресте брата, так как рассталась с ним, когда он был еще младенцем. Однако узнав, что юноши родом из Греции, решила сохранить одному из них жизнь, дабы передать с ним весть о себе на родину. Между Орестом и Пиладом возник жаркий спор: каждый хотел спасти жизнь другому. В это время Ифигения писала письмо в Грецию брату Оресту. В тот момент, когда она вручила его, брат и сестра наконец узнали друг друга. Обманув царя тавров и похитив статую Артемиды, все трое бежали из Тавриды и счастливо достигли родных берегов.

Миф об Ифигении в Тавриде, а также одна из важнейших его сюжетных линий — дружба Ореста и Пилада легли в основу многих драматических произ-

ведений: «Орестея» Эсхила, «Электра» Софокла, «Орест», «Ифигения в Тавриде» Эврипида, «Ифигения в Тавриде» Гёте, а также воплотились в произведениях изобразительного искусства. Культ дружбы, существовавший в античности, отождествлялся с именами Ахилла—Патрокла, Ореста—Пилада. Как известно, он возродился в эпоху сентиментализма; в русской культуре достиг своей вершины на рубеже XVIII—XIX вв.

Именно в это время Крым (после его присоединения к России в 1783 г.) становится объектом культурного освоения. Разумеется, те исторические памятники, мифы и легенды, которые соответствовали сентименталистскому сознанию, оказались наиболее востребованными. Вот почему не монастырь как таковой, насчитывающий почти тысячелетнюю историю, а языческое, мифологическое прошлое того места, где он впоследствии возник, овеянное преданиями о дружбе Ореста и Пилада, стало культовым для сентиментальных путешественников. Более того — символом, олицетворяющим Крым. И. М. Муравьев-Апостол в самом начале своего знаменитого «Путешествия по Тавриде» так иносказательно пишет о цели предпринятого путешествия: «...я отправляюсь в тот край, где некогда в Храме дружества курился фимиам в честь Ореста и Пилада» (*Муравьев-Апостол И. М.* Путешествие по Тавриде в 1820 годе. СПб., 1823. С. 1). Очевидно, ссылка Муравьева в примечании к «Георгиевскому монастырю» на «искателей древностей», которые «утверждают, что на том месте, где теперь Георгиевский монастырь, возвышался некогда храм Дружбы в честь Ореста и Пилада», восходит именно к этому произведению (И. М. Му-

равьев-Апостол, ученый путешественник, по праву мог именоваться «искателем древностей»).

Ассоциативный ряд, который вызывал Крым в сознании Пушкина, также включал легенду об Оресте и Пиладе:

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный...

(Евгений Онегин. Отрывки из путешествия Онегина). История создания стихотворения «Чедаеву» («К чему холодные сомненья?..», 1824) была непосредственно связана с посещением Пушкиным Георгиевского монастыря:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;

. . . .

На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.

Очевидно, стихотворение было известно Муравьеву и, наряду с господствующей тенденцией, оказало влияние в плане общей трактовки сюжета (впервые опубл.: Сев. пчела. 1825. № 12 (27 янв.)). Источником разработки основной темы стихотворения (неверность

в дружбе, измена) могли послужить «Письма с Понта» Овидия, а именно письмо 2 «Котте Максиму» из кн. 3. Легенда об Оресте и Пиладе в детальном сюжетном изложении (по наиболее популярному варианту — «Ифигении в Тавриде» Эврипида) звучит здесь из уст варвара (прием, как полагают, заимствованный Пушкиным в «Цыганах»). Вообще тема дружбы, верности и предательства была ключевой для поэта-изгнанника, ей посвящены многие письма: «Мессалину», «Флакку» (кн. 1, п. 7, 10), «Котте Максиму», «Аттику», «Грецину» (кн. 2, п. 3, 4, 6) и др.

В контексте не только сборника, но и всего творчества Муравьева комментируемое стихотворение представляет собой редчайшее исключение. С точки зрения ортодоксально-православной позиции, приверженцем которой он был и которая явственно обозначена в предыдущем стихотворении, это произведение едва ли не кощунственно: православная святыня — Георгиевский монастырь уступает место языческой — Храму Дружбы.

Балаклавский во имя великомученика Георгия Победоносца мужской монастырь расположен к юго-востоку от Севастополя в районе мыса Фиолент. Согласно преданию, основан в 891 г. потерпевшими кораблекрушение греческими купцами, которым во время бури в Черном море на большом камне недалеко от берега явился Георгий Победоносец. Взобравшись на камень, путешественники обрели икону великомученика, вынесли ее на берег и в благодарность устроили пещерную церковь. Несколько спасшихся от кораблекрушения купцов остались жить при церкви, что и положило начало обители.

Балаклава

(С. 31)

[15] *Туманны башни Балаклавы... / Отважной Генуи сынов...* — Балаклавская крепость была построена генуэзцами в XIII—XIV вв. и наряду с крепостью в Судаке представляла собой наиболее выдающееся фортификационное сооружение периода итальянского (венецианского и генуэзского) владычества в Крыму. Ему предшествовало греческое, когда городу было дано название Сюмболон-лимне — Гавань символов. От него образовалось генуэзское название — Чембало. Современное название Балаклава относится к концу XV в., когда Крым перешел во владение татар и турок. В переводе с тюркского означает «садок для рыб». Под «садком» подразумевается чрезвычайно удобная для рыбного промысла знаменитая Балаклавская бухта. Впервые она упоминается еще у Гомера — соответствует описанию порта листригонов, куда попал Одиссей во время своего плавания («Одиссея», песнь 10).

[16] *Над устьем дремлющей пучины / Еще стоят обломки врат...* — Остатки генуэзской крепости расположены на высоком утесе, откуда открывается обширный вид на море и соседние берега: мыс Айя, обрывистые берега в сторону Георгиевского монастыря.

Стихотворение А. Мицкевича «Развалины замка в Балаклаве» также строится на исторической аллюзии, связанной с генуэзской крепостью (*Мицкевич А.* Крымские сонеты // Мицкевич А. Сонеты / Изд. подгот. С. С. Ланда. Л., 1976. С. 95).

Мердвень

(С. 34)

От собирательного образа «цветущих долин» Муравьев переходит к описанию знаменитой Байдарской долины, одного из живописнейших мест Крыма (расположена на западном плоскогорье Крымских гор в верхнем течении реки Черная). По Байдарской долине проходила дорога (ныне шоссе) из Севастополя в Ялту. Татарская деревня Варнутка (у Муравьева — Арнаутка) и большое село Байдары располагаются в начале и в самом центре долины. Ее обширная котловина к югу сужается и через неглубокое ущелье приводит к Байдарскому перевалу, заканчивающемуся так называемыми Байдарскими воротами.

[17] *Уединен и дик Мердвень... / Стезей иссеченных ступень.* — Мердвень — одна из главных достопримечательностей Крыма. Знаменитая каменная лестница, которая с древнейших времен служила дорогой с гор на Южный берег Крыма (близ Фороса), пролегает в горной расселине от подошвы гор до плоскогорья (Яйлы). Протяженность — 600 м. «В начале 9-й версты от Байдарских ворот отвесные обрывы Яйлы несколько отодвигаются, образуя неглубокую впадину с отвесными стенами. В глубине этой впадины проложена на Яйлу грубая лестница, известная под названием Чертовой (с татар. Шайтан-Мердвень)» (Крым. Путеводитель / Под ред. Л. С. Вагина, Е. В. Вульфа, П. А. Двойченко и В. В. Соколова. Симферополь, 1923. С. 342).

В строфах LI, LII изображается грандиозная пейзажная картина, предвосхищающая крымские «пейзажи» В. Г. Бенедиктова (ср.: «Близ берегов», «Чатырдаг»).

Алупка
(С. 39)

Маршрут описанного в стихотворении «путешествия» весьма протяженный: от Кикенеизского мыса (близ Симеиза) до Ореанды (близ мыса Ай-Тодор, на котором расположено «Ласточкино гнездо»). «Бег коня» — сквозной, связующий мотив произведения — характерен для крымской (и кавказской) темы. Ср. у А. Мицкевича (стихотворение «Байдары»):

Нещадно бью коня — летим во весь опор.
Земля плывет у ног и льнет к его копытам
То лесом, то тропой, то вздыбленным гранитом,
Движеньем образов пьяня мой дух и взор.

(*Мицкевич А.* Сонеты... С. 88).

Описания «Живописных татарских селений, встречающихся на бегу», — как сказано в авторских примечаниях, не детализированы и, в сущности, представляют простой перечень: «Светлый Кучук-Кой», «зеленый Симеис», «дикие Лемены» и др. Написание некоторых топонимов искажено, поскольку, надо полагать, Муравьев знал их только на слух: Мисохор (вместо Мисхор), Хореис (вместо Кореиз), Гаспер (вместо Гаспра).

Татарские деревни Кучук-Кой (ныне пос. Бекетово), Кикенеиз (ныне пос. Оползневое), Симеиз, Лимена (а также имения Верхние и Нижние Лимены), Мисхор, Кореиз, Гаспра, Ореанда (у Муравьева — Ориаида), упоминаемые в стихотворении, расположены между Алупкой и Ялтой.

Алупкинский дворец и окружающий его знаменитый парк (имение гр. М. С. Воронцова) возникли в 1828—1848 гг. (арх. Э. Блор и В. Гунт). Следовательно, Муравьев не мог обозревать эту достопримечательность Крыма. Описание Алупки лишено реальных черт и представляет отдельный условно-мифологический сюжет, близкий к антологической поэзии (строфы LIX—LXI).

[18] *Алупки помню лавр надменный!* — аллюзия на миф об Аполлоне и Дафне (дочь речного бога, возлюбленная Аполлона, уклоняясь от его преследований, была превращена в лавровое дерево. С тех пор лавр стал любимым деревом Аполлона, листьями которого он украшал себя). Так вводится тема Аполлона, покровителя муз.

[19] *Мечтаешь видеть Иппокрены / Журчащий вдохновеньем ключ...* — Иппокре́на — в греческой мифологии источник на горе Геликон в Беотии. По преданию, появился от удара копыта коня Пегаса и обладал чудесным свойством вдохновлять поэтов. В переносном смысле — источник вдохновения.

[20] *...Пинд...* — горный массив на севере Греции; считался одним из мест, которым владел Аполлон. В переносном смысле — приют поэзии.

[21] *Как светлых Пиерид...* — Пиэри́ды, пиэри́йские девы — в греческой мифологии девять юных де-

вушек, дочерей Пиэра, которые пытались соперничать с музами. Пиэриды были побеждены, и музы покарали их за гордость, превратив в птиц.

Орианда
(С. 44)

Прием психологического параллелизма, используемый Муравьевым во многих стихотворениях цикла, в «Орианде» составляет композиционную основу: описание вечернего пейзажа переходит в элегическую медитацию лирического героя (яркие краски дня пропадают подобно «сновиденьям крылатых юношеских дней»). В «пейзажной» части стихотворения (изображение гор) Муравьев использует элементы оссианической образности (строфа LXV). Крымские реалии в «Орианде» практически не имеют спецификации, исключая довольно удачное описание Аю-Дага (строфа LXIX).

[22] *Орианда* (*Ореанда*) — селение, расположенное к западу от Ялты; в 1825 г. перешло в собственность императорской семьи.

[23] *То древних стен объем зубчатый...* — В первой трети XIX в. на вершине горы Аю-Даг еще сохранялись остатки древних укреплений.

[24] *Массандра!...* — Селение к востоку от Ялты.

[25] *В один блестящий Аю-Даг...* — Аю-Даг, Медведь-Гора (название происходит от тюркских слов: аю — ‘медведь’, даг — ‘гора’), находится к востоку от Гурзуфа; высота 565 м. Своими мягкими очертаниями издали она напоминает фигуру мед-

ведя, прильнувшего к воде. На этом сходстве основана легенда о Медведь-Горе, имеющая много вариантов.

Ялта
(С. 51)

«Ялта» может быть сопоставлена со стихотворениями «Проблеск» Ф. И. Тютчева и «Невыразимое» В. А. Жуковского. Все три произведения появились почти одновременно: «Проблеск» — в альманахе «Урания» (М., 1826); «Невыразимое» (написано предположительно в 1819 г.) — в альманахе «Памятник отечественных муз. Изданный на 1827 год Борисом Федоровым» (СПб., 1827). Они посвящены одной, культивируемой романтиками, теме: «ночное» состояние души, ощущение особой слиянности с природой, космосом. Решения, предложенные Жуковским, Тютчевым и Муравьевым, различны. Проблематика стихотворения Жуковского лежит в области эстетики, определения границ искусства. Невозможно, утверждает поэт, передать словесно «невыразимое» состояние души, рожденное «невыразимыми» красотами мироздания («Что наш язык земной пред дивною природой?»). «Проблеск», одно из ранних произведений философской лирики Тютчева — это предвосхищение его знаменитого «космоса», особой философской модели мироустройства, созданной поэтом. Основная коллизия произведения — извечный внутренний конфликт, обусловленный дуализмом человеческой природы: душа летит к «бессмертному», но скоро «устает» — ей не дано

«дышать божественным огнем». Ее жилище — «ничтожная пыль».

В отличие от «Невыразимого» и «Проблеска», в «Ялте» нет оригинальной разработки темы. В стихотворении Муравьева, так же как у Жуковского и Тютчева, передано состояние «проблеска»: «в тихий ночи час» душа осознает свою природу, свое божественное происхождение. Но это осознание в трактовке поэта, который следует традиционным религиозным представлениям (бренное тело—вечная душа), лишено конфликтности и трагизма. Решение темы сводится к сентенции о душе, которая

...разорвала оковы,
Ее жилище в небесах,
И, смерти памятник суровый,
Остался бездыханный прах!

[26] *И мнится: мания Творца.* — Мáние — мановение, повелительный жест.

[27] *Роскошно восстают холмы / Аутки...* — Аутка — деревня, расположенная в полутора километрах от Ялты; ее население составляли греки.

«Ялта» — одно из наиболее известных стихотворений Муравьева. Современные публикации: в антологиях «Поэты 1820—1830-х годов» (Л., 1972. Т. 2. С. 114—115); «Прекрасны вы, брега Тавриды...»: Крым в русской поэзии (М., 2000. С. 41—44).

Аю-Даг
(С. 57)

Аю-Даг избран точкой обзора Крымского побережья. Созерцание обширной панорамы — «пленительных видов» долин, гор, моря, небес разрешается историософскими (строфа XCIII) или философическими (XCVIII) сентенциями. Они имеют смысловые параллели в предыдущих стихотворениях: «Народы, царства горделивы / И славы их далекий гул / Как волн приливы и отливы» (ср.: «Народов плеск здесь слышишь ты» («Развалины Корсуни»)). Мотивы, звучащие в заключительной строфе: душевный восторг, желание слиться с природой и осознание тщеты этого желания, повторяют уже прозвучавшие в «Ялте» (строфа LXXX).

[28] *Где Гурзувитов прах безмолвный...* — В VI в. н. э. по приказу византийского императора Юстиниана I на вершине скалы Горзувита, у подножия которой находится современный Гурзуф, была сооружена крепость. Вблизи нее в венецианский и генуэзский периоды (XIV—XV вв.) существовал Горзувитай, упоминаемый Прокопием Кесарийским. Впоследствии от этого топонима образовались формы Урзуф и Юрзуф. Последняя была употребительна в первой четверти XIX в. — именно ею пользуется Муравьев (ср.: так же в письме Пушкина брату, Л. С. Пушкину, от 24 сент. 1820 г.).

[29] *Никиты выбегает мыс...* — Никита — татарская деревня к северо-востоку от Ялты, давшая название знаменитому Никитскому ботаническому саду, основанному в 1812 г. по инициативе губернато-

ра Одессы и Новороссийского края герцога Э. О. Ришелье ученым-ботаником Х. Стевеном.

[30] *Долина светлой Партеницы...* — Имеется в виду Партенит, деревня близ Аю-Дага.

[31] *Ламбата светлого залив...* — Речь идет о Кучук-Ламбате (см. примеч. к следующему стихотворению).

Кучук-Ламбат
(С. 64)

В заключительном стихотворении цикла Муравьев использует традиционный для жанра «путешествий» прием: в конце пути герой находит «идеальное» место, подобие рая. В «Кучук-Ламбате» отчетливо звучат руссоистские мотивы: губительное влияние цивилизации на нравственность; «чувство природы» и семейные добродетели как основополагающие для воспитания «естественного человека». Возможно, их опосредованным источником послужила для Муравьева знаменитая элегия К. Н. Батюшкова «Таврида» (1815 г.).

[32] *Кучук-Ламбат* — деревня, расположенная вблизи мыса Плака на самом берегу Черного моря (ныне пос. Кипарисное). Здесь находилось имение Андрея Михайловича Бороздина (1765—1838), генерал-лейтенанта, таврического губернатора (1807—1816), начальника всех сухопутных войск на Крымском полуострове. А. М. Бороздин был женат на Софье Львовне (урожд. Давыдовой), родственнице генерала Н. Н. Раевского; был знаком с А. С. Пушкиным. Собирал древности, способствовал проведению археологических исследований в Крыму. Му-

равьев гостил у А. М. Бороздина (см. авторское примеч. к стихотворению) и впоследствии прислал ему экземпляр «Тавриды», о чем известно из его письма В. А. Муханову от 24 апреля 1827 г. (публикуется в наст. изд.).

[33] *Где Анатолией цветущей...* — Анатолия — в древности название Малой Азии; в Османской империи использовалось (в форме Анадолу) для обозначения азиатской (малоазийской) части страны, в отличие от европейской, носившей название Румели (Румелия).

Поэзия
(С. 71)

Стихотворение является поэтическим вступлением ко второй части сборника «Таврида», которую предваряют два эпиграфа из произведений Оссиана. Первый — из поэмы «Темора», второй — из поэмы «Ойна-морул». В переводе Ю. Д. Левина соответственно: «Облако многих годов окружило меня; мало просветов в нем для былого, смутны и мрачны виденья оттуда»; «Это голос ушедших годов, они текут предо мною со всеми своими деяниями. Я ловлю те повести, пролетающие, и в песне их изливаю» (*Макферсон Джеймс*. Поэмы Оссиана / Изд. подгот. Ю. Д. Левин. Л., 1983. С. 208, 269). Анализ смыслового содержания эпиграфов — см. нашу статью в наст. изд.

Стихотворение «Поэзия» представляет собой аллегорическую картину «рождения» поэта. Раскрытию темы служит эпиграф из «Георгик» Вергилия (Кн. II,

стихи 245, 247). Слова, цитируемые Муравьевым, выделены курсивом:

Me vero primum dulces ante omnia Musæ
quarum sacra fero ingenti percussus amore,
accipiant cælique vias et sidera monstrent
defectus solis varias lunæque labores;
(стихи 245—248).

В переводе С. Шервинского:

Но для себя я о главном прошу: пусть милые Музы,
Коим священно служу, великой исполнен любовью,
Примут меня и пути мне покажут небесных созвездий,
Муку луны изъяснят и всякие солнца затменья.

(*Публий Вергилий Марон.* Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971. С. 89).

Первоначально (как «песнь Баяна») стихотворение вошло в трагедию Муравьева «Рогнеда» (написана в 1825 или в самом начале 1826 г.; рукопись неизвестна, опубликованы фрагменты; о замысле, истории создания, публикациях см.: *Хохлова Н. А.* Андрей Николаевич Муравьев — литератор. СПб., 2001. С. 50—52):

БАЯН

Еще я в локонах младенчества играл, —
Мечтатель, и в толпе видений я не знал,
Что светлые власы высокою волною
В восторге пламенном взвевало над главою;

Какой невольный хлад по членам пробегал?
Что грудь теснило мне? Я жадно слов искал —
Но на устах печать младенчества лежала
И вдохновение без песней угасало!
Но некая жена, мне чуждая, — уста
Незрелые млеком эфирного сосца
Для песней сладостных внезапно разрешила
И гусли звонкие расцветшему вручила
Я струны натянул неопытной рукой:
Забуду ль миг, когда их пламенной игрой
Впервые выразил души моей волненье
И в струны вдвинул я живое вдохновенье?
С тех пор, как верный друг, — оно всегда при мне,
И, упоенный им, как бы в волшебном сне
Я вижу давних дней чудесные виденья:
Любовь и ненависть, вражду, страстей волненье
В сердцах, давно уже остывших под землей,
Подернутых для нас забвенья пеленой.

(*Муравьев А. Н.* Отрывок из лирической трагедии в четырех действиях «Рогнеда» // Атеней. 1830. Ч. 1. № 3 (февр.). С. 264—265).

О причинах и механизме трансформации первоначально созданного образа (Боян — легендарный певец древности, упоминаемый в «Слове о полку Игореве») в романтического «певца» оссианического толка («арфа», «струны», «пламенная игра» — слова-сигналы из оссианической лексики) подробно см. нашу статью в наст. изд.

В воспоминаниях Муравьева, во фрагменте, посвященном истории создания сборника, имеется автоцитация из «Поэзии», важная для понимания автобиографической природы этого стихотворения: «...я вы-

учился английскому языку и начал переводить *Оссиана*. Никто не действовал так сильно на мое воображение, как мрачный певец Шотландии; я любил дикие звуки его арфы и полночные песни; во глубине души моей был ему отголосок, я невольно оживлялся, — *но вдохновение без песней угасало!*» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 60 (запись от 30 апреля 1827 г.)).

Начало стихотворения (строки 1—6), передающее состояние поэтического «вдохновения» (общее место романтической поэзии), коррелирует, например, с зачином стихотворения Пушкина «К Жуковскому» (1818):

Когда, к мечтательному миру
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе...

Чатыр-Даг
(С. 73)

Программное стихотворение: в аллегорической форме заявлен переход от пейзажной темы, преобладающей в первой части (где имеется одноименное произведение), к теме русской истории. Меняется амплуа лирического героя: путешественник по Таври-

де превращается в «певца» русской истории («Юноша Русский»).

Стихотворение написано в жанре фантазии. Наиболее яркие особенности: укрупненный масштаб поэтического видения, в фокусе которого весь Крым с его тысячелетней историей; в образном строе преобладают приемы гиперболизации, иносказания, риторические восклицания; размер — гекзаметр. Романтическую окраску ему придает ведущий мотив фантасмагорических видений (в духе Оссиана), который подчеркнут эпиграфом из поэмы Гёте «Фауст» (Часть 1. Сцена «Лес. Пещера. Фауст один»):

> ...передо мной парят...
> Вселенной серебряные образы...

В первой части стихотворения эмблематически представлен древний период в истории Крыма: упоминаются Генуя, «прах Пантикапеи», «цари Воспора». Во второй — принятие христианства кн. Владимиром в Корсуни: «очарованный призрак» (кн. Владимир) является «Юноше Русскому» и обращает его взоры в противоположную сторону — от Пантикапеи к Корсуни, то есть от эпохи язычества к христианству. Историософская идея передана и аллегорически — мысленный взор героя (от Пантикапеи к Корсуни, то есть с востока на запад полуострова) и движение солнца на закате совпадают в своем направлении. Последние лучи заходящего солнца как бы указывают источник света духовного — Корсунь.

[34] *Альма...* — река в западной части Крымского полуострова; впадает в Черное море севернее Севастополя.

[35] *...башни Солдайи...* — Солдайя — одно из древних названий г. Судак (также Сугдея, Сурож). Имеется в виду крепость, построенная генуэзцами в конце XIV—начале XV в. и представляющая собой одно из наиболее выдающихся сооружений периода генуэзского владычества в Крыму (XIV—XV вв.). Остатки крепости сохраняются в Судаке и поныне.

[36] См. примеч. 37.

[37] *Генуи дивная дочь, блиставшая славою Каффа!* — Кафа (Каффа) — название, которое получил основанный греками в 6 в. до н. э. город Феодосия в период генуэзского владычества в Крыму. Во второй половине XIII в. генуэзцы основали в Феодосии, находившейся к тому времени под властью татар, торговую факторию Кафа, которая в XIV—XV вв. стала важнейшим центром торговли между Западом и Востоком. В 1771 г. в ходе русско-турецкой войны город был взят русскими войсками; тогда же ему было возвращено историческое название.

[38] *Сильного Царства искал — и холм нашел погребальный!* — Имеется в виду могила царя Митридата VI Евпатора (гора Митридат в современной Керчи, древнем Пантикапее).

[39] *...Цари... Воспора... / ... приходили грустить на обломки павшего Царства!* — Боспорское царство (5 в. до н. э.—4 в. н. э.) располагалось на восточном и западном побережье Боспора Киммерийского (ныне — Керченский пролив). Столица — Пантикапея (Пантикапей); ныне — Керчь. Цари Боспорские — цари из династии Археанактидов и Спартокидов. Археанактиды — правители Боспорского государства в 480—438 гг. до н. э. Возглавили объединение вокруг Пантикапеи самостоятель-

ных греческих колоний (полисов), расположенных по обоим берегам Боспора Киммерийского, которое стало ядром Боспорского государства. Династия Спартокидов основана Спартоком I (438—433 гг. до н. э.); прервалась в 110 г. до н. э. В 107 г. до н. э. Боспорское царство было завоевано Митридатом VI Евпатором (р. в 132 г. до н. э. в Синопе; погиб в 63 г. до н. э. в Пантикапее), выдающимся властителем Малой Азии. Впоследствии, во время правления его преемников, Боспорское царство, несмотря на установившуюся зависимость от Римской империи, расширило границы вплоть до Дона. В 3 в. н. э. подверглось нападению готов; в 4 в. н. э. в его пределы вторглись гунны. Митридат — один из любимых исторических персонажей Муравьева (см. авторское примеч. к стихотворению). В 1825 г., вскоре после возвращения из Крыма, он написал трагедию «Митридат» (*Муравьев А. Н.* Митридат. Трагедия в 3-х действиях / Подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Н. А. Хохловой // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 5—42).

Апостол в Киеве
(С. 78)

Стихотворение представляет собой поэтическое переложение известного предания о путешествии Андрея Первозванного по Русской земле. Согласно «Повести временных лет», где оно излагается буквально на первых страницах, апостол, прибывший из Синопа в Корсунь (Херсонес), узнал о близости Днепров-

ского устья. Поднявшись вверх по Днепру (древнегреческое название реки, используемое Муравьевым, — Борисфен (Ворисфен)), он благословил место, где впоследствии возник Киев: «И заутра въставъ и рече к сущимъ с нимъ ученикомъ: „Видите ли горы сия? — яко на сихъ горах воссияеть благодать божья; имать град великъ *быти* и церкви многи богъ вѣздвигнути имать"» (Повесть временных лет. Часть первая: Текст и перевод / Подгот. текста Д. С. Лихачева. Пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. М.; Л., 1950. С. 12).

Затем, по преданию, апостол отправился на север, в землю словен, где позднее возник Новгород. Подивившись местным обычаям, он отбыл в Рим, а оттуда вернулся в Синоп. Очевидно, Муравьеву были известны и другие, более поздние источники этой легенды (например, «Степенная книга»), благодаря которой начальное киевское сказание «Повести временных лет» превратилось в предание о хождении и проповеди Андрея Первозванного по всей Русской земле, вплоть до Валаама. Тема Андрея Первозванного уместна в «Тавриде»: агиографическая традиция, несмотря на разногласия, связывает миссионерские путешествия апостола с Черноморским побережьем; особенно продолжительным было его пребывание в Херсонесе. Память Андрея Первозванного особо чтилась в Балаклавском Георгиевском монастыре. И в творчестве Муравьева, и в его церковной деятельности эта тема занимает исключительное место. Андрея Первозванного он почитал как своего небесного покровителя. Идея апостольской преемственности Русской Православной Церкви была стержнем его религиозного мировоззрения. Легенда о посещении и благо-

словении апостолом Киевских гор была особенно любима Муравьевым и, помимо поэтического, нашла в его творчестве еще два воплощения — публицистическое (*Муравьев А. Н.* Путешествие по Святым местам русским. Изд. 4-е. СПб., 1846. Ч. 2. С. 41—42 (гл. «Храм Первозванного»)) и гимнографическое (в составленном им «Акафисте Св. апостолу Андрею Первозванному» (СПб., 1867)).

Церковная деятельность Муравьева была тесно связана с Андреевским скитом на Афоне и с Андреевской церковью в Киеве (подробнее см.: *Хохлова Н. А.* Защитник православия (Деятельность А. Н. Муравьева в Киеве) // Православный Палестинский сборник. Вып. 103. М., 2005. С. 140—148).

Днепр

(С. 81)

Впервые: Северная лира на 1827 г. М., 1827. С. 55—58 (под названием «Воззвание к Днепру», без эпиграфа).

Варианты:

стк. 4 Кто твои годы сочтет? —
Кто *вспоминания* вспомнит?
15 *Венгров* яркая сталь отражалась
в бегущем потоке
17 Стук мечей, и треск щитов,
и *жужжание* копий
22 *В* Византию суда — и возвращались
с победой —

24 О, как сладки душе имен *сих* звуки
родные
27 В шумных, *крутых* берегах реви
сердитой волной.

Стихотворение «Днепр» принадлежит к первым поэтическим опытам Муравьева. История его создания известна из «Моих воспоминаний». В апреле 1823 г. по дороге к месту службы, в Тульчин, он впервые посетил Киев: «Чье окаменелое сердце не тронет великолепный Киев с своим минувшим? Там я дышал родным воздухом, там я черпал первые вдохновения, которые впоследствии излил в трагедии; вскоре я написал мою первую оригинальную пьесу „Днепр"» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 60).

К этому фрагменту текста воспоминаний имеется примечание публикатора, А. А. Третьякова (источник его сведений нам неизвестен): «Стихотворение „Днепр" написано в Смеле (июль 1825 г.)» (Там же). В Тульчине Муравьев создал небольшую новеллу «Первое впечатление Киева в апреле 1823 года» (РГИА. Ф. 1088. Оп. 2. № 846). На протяжении всей своей творческой жизни он рассматривал Киев в рамках известной триады: Рим—Иерусалим—Киев. Поэтому сравнение Днепра с Тибром в первой строке стихотворения имеет концептуальное значение. Кроме того, религиозному и историческому сознанию Муравьева была близка известная формула «Москва — третий Рим» (см. авторское примеч. к стихотворению «Основание Москвы»).

Картина древнерусской истории дана эскизно, эмоционально-взволнованно, эмфатически. Подобный

стиль присущ и прозе Муравьева: его интересуют не фактические события, а чувства и патриотические переживания, возникающие при воспоминании о них. Иначе говоря — пафос истории. Так, стихотворению «Днепр» можно найти параллель в «Путешествии по Святым местам русским» (глава «Киев»): «Как некий вещий Баян при дворе Великокняжеском напевает он (Днепр. — *Н. Х.*) в слух Князя Киева упоительную песнь о славных днях его юности: как цвели в теремах его девы красные, Княжны Русские, как бились в битвах доблестные сыны его, Князья всея Руси, и как молились за них его дивные иноки в своих дремучих лесах и вертепах! Много волн на Днепре, — что волна, то струна серебристая; вся река как орган Русской славы! Но вот иная песнь несется по водам! — о чем поешь ты, мирный рыбак, на утлом своем челноке? — Про буйные дни Гетманщины, как резались ляхи с ватагой казаков, и с крымцами билася Сеча, а там по степям Гайдамаки ходили! 〈...〉 какой хаос событий и воспоминаний...» ([*Муравьев А. Н.*] Путешествие по Святым местам русским. Изд. 4. СПб., 1846. Ч. 2. С. 6—7).

В рецензии на «Северную лиру» П. А. Вяземский положительно отозвался о стихотворениях Муравьева «Ермак», «Воззвание к Днепру», «Русалки» (Московский телеграф. 1827. Ч. XIII. № 3. С. 242—243). Высокую оценку «Днепру» дал и Н. А. Маркевич (см. раздел «Отзывы критики о „Тавриде"»).

Эпиграф — из «Повести временных лет»: «Тако же и ти словѣне пришедше и сѣдоша по Днепру...» (Повесть временных лет. Часть первая... С. 11).

40 *Любеч...* — город Древней Руси, впервые упоминаемый в летописях под 882 г. В 1147 г.

был сожжен смоленским князем Ростиславом, затем восстановлен. В 1240 г. разорен монголо-татарами; около 1356 г. захвачен литовскими феодалами. С 1569 г. до середины XVII в. находился под властью Польши.

[41] *Рюрика сын!..* — новгородский и киевский князь Игорь (ум. в 945 г.). В «Повести временных лет» упоминаются его походы на Константинополь (в 941 и 944 гг.). Убит древлянами.

[42] *...Оскольд!..* — Аскольд; в «Повести временных лет» под 862 г. содержится рассказ о том, как Аскольд и Дир, бояре, состоявшие при Рюрике, но не родственники его, отправились в Константинополь (Царьград) и по пути осели в Киеве. В 866 г. они совершили поход на Царьград.

[43] *...Святослав!..* — новгородский и киевский князь, сын князя Игоря (ум. в 972 г.). Совершил ряд успешных походов: освободил вятичей от дани хазарам, разгромил волжских булгар и Хазарский каганат, воевал в Болгарии, Греции и Византии.

[44] *...Олег победитель!..* — новгородский и киевский князь Олег (ум. в 912 г.). Овладел Русской землей от Ладоги до Черного моря. Расширил границы на востоке, покорив северян и радимичей. Совершил два успешных похода на Константинополь. О причинах его смерти уже в древности бытовали различные легенды.

Русалки

(С. 84)

Наряду со стихотворением «Поэзия» первоначально (как «Песнь Баяна») вошло в трагедию «Рогнеда», написанную в конце 1825 или в начале 1826 г. В виде отдельного произведения впервые (под названием «Русалки (Песнь Баяна)») опубл.: Северная лира на 1827 год. М., 1827. С. 120—122. Спустя несколько месяцев последовала публикация в «Тавриде». В 1830 г. Муравьев опубликовал «Отрывок из лирической трагедии в четырех действиях „Рогнеда"» (Атеней. 1830. Ч. 1. № 3 (февр.). С. 265—266 (в книге ошибка в пагинации)), который включал и «Песнь Баяна».

Варианты:

Северная лира

стк. 3 Уж *облако месяц прорезал слегка*
11 Как *под вечер звезды* ясные
12 *Заиграют в небесах*
20 *Пусть тщетно* коварные манят!
21 *Русы* косы, рассыпаяся
23 По *валам* перегибаяся —
24 *Золотым руном* плывут
25 Грудь высокая *волнуется*
27 *Вал ревнивый полюбуется*
29 *Руки дев, как мрамор* белые,
32 *Медленной толпой* плывут
37 Над *водою*, серебристые, —
43 И видения *стираются*

Атеней

стк. 8 И хохот и *песнь* раздаются
21 Черны косы, *расстилаяся*
23 *На волнах* перегибаяся
29—30: отсутствуют

Тема русалок, имеющая фольклорное происхождение и связанная с мотивами коварных игр, любви и измены, получила широкое распространение как в русской, так и в западно-европейских литературах: баллада И.-В. Гёте «Рыбак», повесть Ф. де Ламот-Фуке «Ундина», известные в русском переводе В. А. Жуковского, стихотворения А. Мицкевича «Рыбка», «Свитезянка» и др. В русской литературе она была особенно популярна в первой трети XIX в. Диапазон авторов, к ней обращавшихся, очень широк: от представителей низовой литературы — до Пушкина. Столь же широки и жанровые границы: известны поэтические (в количественном отношении они преобладают), прозаические и драматургические воплощения темы. Круг произведений «второго» ряда: А. Н. Журавлев «Русалки» (1827), Порфирий Байский (О. М. Сомов) «„Русалка". Малороссийское предание» (1829), П. Глаголев «Русалки» (1830), Н. А. Маркевич «Солнце утопленников» и «Русалки» (1831). К 1817 г. относится нереализованный замысел поэмы К. Н. Батюшкова «Русалки». В 1831 г. в составе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя появилась повесть «Майская ночь, или Утопленница»; в 1829—1832 гг. Пушкиным была написана драма «Русалка» (впервые опубл.: Современник. 1837. Т. 6. С. 1—32).

К первой трети XIX в. относится и ряд фольклорно-этнографических работ, касающихся, в частности, темы русалок: Остатки славянского баснословия в Белоруссии // Вестник Европы. 1818. Ч. 102. № 22. С. 111—129; *А — С.* Троицын день, или Русальная неделя // Украинский журнал. 1824. Ч. 2. № 11. С. 248—263; *В. Б.* О народных праздниках // Московский вестник. 1827. Ч. 6. № 23. С. 351—366; *Снегирев И.* Русальная неделя // Вестник Европы. 1827. № 8. С. 272—279. Сюда же следует отнести сборники известных собирателей фольклора М. А. Максимовича и Н. А. Маркевича. В первом представлены собственно народные, фольклорные тексты (Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем. М., 1827), во втором — оригинальные стихотворения в духе и на темы народных песен (*Маркевич Н.* Украинские мелодии. М., 1831). В обеих книгах есть произведения на тему русалок: в сборнике М. Максимовича — песня «Троицкая», в примечании к которой дан краткий свод украинских поверий о русалках, у Н. Маркевича — стихотворение «Русалки».

Однако основным источником, обеспечившим популярность темы и прочный интерес к ней в первой трети XIX в., следует считать оперу «Русалка». Она восходит к волшебно-комической опере немецкого драматурга К.-Ф. Генслера «Das Donauweibchen» («Дунайская фея»), которая на русской сцене впервые была поставлена в 1803 г. и держалась в репертуаре петербургских и московских театров, пользуясь исключительной популярностью, до 1852 г. (см.: *Бернандт Г.* Словарь опер. М., 1962. С. 250—251). Для русской сцены эта опера, состоящая из трех частей, была переделана Н. С. Краснопольским («Ру-

салка», «Днепровская русалка», «Леста, днепровская русалка»). Впоследствии А. А. Шаховским была написана четвертая часть. В 1806 г. появилось прозаическое переложение оперы: «Леста, или Днепровская Русалка. Романическая повесть, вольный перевод с немецкого». Наиболее популярные арии и куплеты из всех четырех частей неизменно входили в песенники, издававшиеся в 1810—1820-х гг.

«Русалка» как драматическое и музыкальное произведение, имеющее богатую историю, подробно изучена в связи с темой: влияние оперы Генслера—Краснопольского на драму Пушкина «Русалка» (см., например: *Жданов И. Н.* «Русалка» Пушкина и «Das Donauweibchen» Генслера. СПб., 1900; *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 7. Драматические произведения. М.; Л., 1935. С. 623—633 (коммент. С. М. Бонди); *Рабинович А. С.* Русская опера до Глинки. М., 1948. С. 136—146).

И устойчивую литературную традицию, и довольно широкое освещение данного сюжета в специальной фольклорно-этнографической литературе, и театральные впечатления следует рассматривать как источники комментируемого произведения. Появление его в цикле стихотворений на сюжеты из древнерусской истории, на первый взгляд неожиданное, в действительности вполне закономерно и объясняется прочными ассоциациями, основанными на театральных впечатлениях. Опера «Русалка» имела столь сильное воздействие на культурное сознание первой трети XIX в., что Днепр неизменно ассоциировался с русалками, и сближение двух этих тем не только не было неожиданным, но представляло собой художественный штамп.

В целом стихотворение выдержано в духе фольклорной стилизации (И. Н. Жданов рассматривал его как «опыт поэтического воспроизведения народных представлений о демонических обитательницах вод» (*Жданов И. Н.* «Русалка» Пушкина и «Das Donauweibchen» Генслера. С. 31)). Композиционно оно соответствует песенной структуре (куплет и припев). Двучастность композиции подчеркнута метрически — сочетанием четырех- и трехстопного амфибрахия с четырехстопным хореем, то есть использована семантика «фольклорного» метра. Схема первой строфы (куплета) повторена Е. А. Боратынским в стихотворении «На смерть Гете» (1832).

По мнению В. Э. Вацуро, «Русалки» Муравьева послужили источником «сцены русалок» в идиллии Н. В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» (картина «Ночные видения»):

Вот из моря молодые
Девы чудные плывут;
Голубые, огневые
Волны белые гребут.
Призадумавшись, колышет
Грудь лилейную вода,
И красавица чуть дышит...
И роскошная нога
Стелет брызги в два ряда...
Улыбается, хохочет,
Страстно манит и зовет,
И задумчиво плывет,
Будто хочет и не хочет,
И задумчиво поет
Про себя, младу сирену,

Про коварную измену,
А на тверди голубой
Светит месяц над водой.

(*Вацуро В. Э.* Незамеченные источники идиллии Гоголя «Ганц Кюхельгартен» // Памяти Георгия Пантелеймоновича Макогоненко. Сборник статей, воспоминаний и документов. СПб., 2000. С. 125).

«Русалки» получили доброжелательный отзыв критики. В рецензии на «Северную лиру» П. А. Вяземский писал: «В числе хороших стихотворений, помещенных в „Северной лире" и носящих подписи уже известные, отличаются начальные опыты Поэта, в первый раз являющегося на сцене. Стихотворения Андрея Муравьева: „Ермак", „Воззвание к Днепру", „Русалки", „Отрывок из описательной поэмы: Таврида", исполнены прекрасных надежд, из коих некоторые уже сбылись. Выпишем несколько стихов из „Русалок"... (Далее следует обширная цитата. — *Н. Х.*). Картина прелестная и во всех частях с искусством выдержанная: последняя черта удивительно игрива. Можно только заметить лишнее слово в стихе:

И хохот и смех раздаются —

Смех после *хохота* — вставка и неправильное ударение в слове: *русло*» (Московский телеграф. 1827. Ч. XIII. № 3 (февр.). С. 243—244). Замечание Муравьев учел при публикации в «Атенее» (см. выше варианты).

Еще более горячий отзыв — Н. А. Маркевича (см. в данном издании раздел «Отзывы критики о „Тавриде"»).

Стихотворение «Русалки» принадлежит к наиболее известным произведениям Муравьева. Оно было опубликовано в альбоме «Киев в русской поэзии» (Киев, 1878. С. 85—86) под названием «Днепровские русалки»; в цитированном выше исследовании И. Н. Жданова (С. 31—32); в антологиях: «Поэты 1820—1830-х годов» (Л., 1972. Т. 2. С. 116—117); «В царстве муз: Московский литературный салон Зинаиды Волконской 1824—1829 гг.» (М., 1987. С. 339—340); «Здравствуй, племя младое...» (М., 1988. Кн. 3. С. 137—138).

Ольга
(С. 87)

Стихотворение представляет собой поэтическое переложение одного из наиболее известных сюжетов «Повести временных лет»: великая княгиня киевская Ольга, жена кн. Игоря, мать Святослава, после восстания древлян и убийства ими ее мужа (945) уничтожила представителей двух посольств древлян, прибывших с предложением выйти замуж за их князя Мала, а затем приказала перебить около 5 тыс. древлян и сожгла г. Искоростень (946), близ которого погиб Игорь. В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин изложил этот сюжет, строго следуя летописи, без каких-либо интерпретаций. Он также упомянут в его программной статье «О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств», где, в частности, говорится: «Я не верю той любви к Отечеству, которая прези-

рает его летописи или не занимается ими; надобно знать, что любить; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем» (Вестник Европы. Ч. VI. № 24. С. 290). По-видимому, Муравьев был знаком не только с «Историей» Карамзина, но и с летописным источником — впервые «Повесть временных лет» была издана в 1767 г. (Библиотека Российская историческая, содержащая древние летописи... Ч. 1. СПб., 1767). Во всяком случае, ни в самом тексте, ни в примечаниях Н. М. Карамзина к «Истории» соответствующей цитаты из летописи, использованной Муравьевым в качестве эпиграфа, нет. Она звучит так: «И посла к древляномъ, рькущи сице: „Се уже иду к вамъ, да пристройте меды многи в градѣ, иде же убисте мужа моего, да поплачуся над гробом его, и створю трызну мужю своему"» (Повесть временных лет. Часть первая... С. 41).

Муравьев, несомненно, был знаком с «Думами» К. Ф. Рылеева, включающими балладу на тот же исторический сюжет — «Ольга при могиле Игоря» (изданы в 1825 г.; посвящены Н. С. Мордвинову, родственнику Муравьевых). Однако их идейная установка (в том числе и упомянутой баллады) — использовать исторические сюжеты из древней русской истории как материал для пропаганды современных гражданских, революционных идей — была ему глубоко чужда. Гораздо ближе — просветительская позиция Н. М. Карамзина: избрав яркий «предмет для художества», Муравьев в поэтической форме просто воссоздал «сведение о прошедшем».

Стихотворение написано в жанре баллады. Его метрико-строфический строй полностью повторяет строй пушкинской «Песни о Вещем Олеге» (1825): стро-

фа — шестистишие, состоящее из четверостишия, в котором чередуются четырех- и трехстопные амфибрахии, и двустишия четырехстопного амфибрахия (434344). Рифмовка совпадает со сменой размеров: все длинные стихи — мужские, короткие — женские (aBaBcc).

Тема кн. Ольги как первой христианки на Руси занимала Муравьева на протяжении всей жизни. Однако в ранний, поэтический период интерес к ней стимулировало еще одно обстоятельство: близкое знакомство с кн. З. А. Волконской, автором «Сказания об Ольге». В роду князей Белосельских-Белозерских, к которому она принадлежала, кн. Ольга почиталась особо (подробнее см. примеч. к стихотворению «Певец и Ольга»). Комментируемое стихотворение можно рассматривать как одно из произведений небольшого цикла: «Ольга», «Певец и Ольга», «Молитва об Ольге Прекрасной», объединенного двумя магистральными темами: исторической (вел. кн. Ольга) и мадригальной (З. Волконская, ее салон).

45 *О гибели мужа мечтает она...* — Здесь «мечтать» — в значении «думать», «вспоминать», характерном для первой трети XIX в.

Святослав

(С. 91)

Стихотворение написано на один из наиболее популярных в первой четверти XIX в. сюжетов древнерусской истории: ратные подвиги и трагическая гибель великого князя киевского Святослава Игоревича

(?—972). «Никто из древних Князей Российских, — писал Н. М. Карамзин, — не действует так сильно на мое воображение, как Святослав... ⟨...⟩ Святослав говорит речь, достойную спартанца и славянина, речь, которую все наши историки хотели украсить, но которая прекрасна только в Несторе и, без сомнения, не есть выдумка: ибо сей добрый старец не умел бы так хорошо выдумать. Князь, сказав: „Ляжем здѣ костьми; мертвые бо срама не имутъ", — обнажает меч свой: вот минута для живописца!» ([*Карамзин Н. М.*] О случаях и характерах в Российской истории... С. 298). Муравьев использовал это знаменитое выражение из речи Святослава перед битвой с греками (971 г.) в качестве эпиграфа. Ее полный текст: «Уже нам нѣкамо ся дѣти, волею и неволею стати противу; да не посрамимъ землѣ Рускиѣ, но ляжемъ костьми, мертвыи бо срама не имамъ. Аще ли побѣгиемъ, срамъ имамъ. Не имамъ убѣжати, но станем крѣпко, азъ же предъ вами поиду: аще моя глава ляжеть, то промыслите собою» (Повесть временных лет. Часть первая... С. 50).

Во время возвращения из похода на Византию Святослав был убит печенежским князем, вероятно, предупрежденным византийцами. В изложении Карамзина эта история звучит так: «Печенеги обступили Днепровские пороги и ждали Россиян. Святослав знал о сей опасности. ⟨Г. 972⟩. Свенельд, знаменитый Воевода Игорев, советовал ему оставить лодки и сухим путем обойти пороги: Князь не принял его совета и решился зимовать в Белобережье, при устье Днепра, где Россияне должны были терпеть во всем недостаток и самый голод, так, что они давали полгривны за лошадиную голову. Может быть, Свято-

слав ожидал там помощи из России, но тщетно. Весна снова открыла ему опасный путь в отечество. 〈Кончина Святослава〉. Несмотря на малое число изнуренных воинов, надлежало сразиться с Печенегами, и Святослав пал в битве. Князь их, Куря, отрубив ему голову, из ее черепа сделал чашу» (*Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1989. Т. 1. С. 138—139).

Стихотворение выдержано в духе народной песни-плача, о чем свидетельствуют: типичный фольклорный образ — «солнце красное богатырский князь», прием параллелизма (строфы 4—5), «фольклорный» метр (хорей 5454) с использованием дактилических окончаний в первом и третьем стихе строфы. Как и в предыдущем стихотворении, имеется аллюзия на «Песнь о Вещем Олеге». Однако если в «Ольге» она задана средствами метрико-строфическими, то в «Святославе» — образными: печенеги, убийцы Святослава, уподобляются пушкинской змее, «убийце» Олега.

Упоминаемые в стихотворении Олег, Владимир и Ярополк — сыновья Святослава.

Оссиан
(С. 95)

Поэтический перевод заключительного фрагмента седьмой книги поэмы Оссиана «Темора» («Temora»), так называемой «Песни Оссиана» («Ossian's ode») — своеобразного лирического отступления, не связанного с сюжетом поэмы. В качестве эпиграфа

использовано ее начало (в буквальном переводе: «Сын А́льпина, ударь по струнам»). Текст «Песни Оссиана» и примечание к ней Дж. Макферсона в переводе Ю. Д. Левина:

«Ударь же по струнам, Альпина сын. Есть ли хотя бы толика радости в арфе твоей? Излей ее в Оссианову душу, она окутана мглой. В ночи своей я слышу тебя, о бард. Но прерви сей легкотрепещущий звук. Радость скорби — удел Оссиана средь мрачноунылых его годов.

О зеленый терн на холме, обитаемом духами! Вершину твою колышут ночные ветры! Но ни звука ко мне от тебя не доносится; ужель ни единый призрак не прошуршит воздушным покровом в твоей листве? Часто блуждают умершие в мрачнобурных ветрах, когда сумрачный щит луны, взойдя на востоке, катится по небу.

Уллин, Карил и Рино, певцы стародавних дней! Да услышу я вас во мраке Сельмы и пробужу душу песен. Но я вас не слышу, чада музы́ки; в каком чертоге облачном вы обрели покой? Коснетесь ли вы призрачной арфы, облеченной туманом утра, там, где звенящее солнце восходит из-за зеленоглавых волн?»

Примечание Макферсона к первому стиху «Песни Оссиана»:

«В оригинале эта лирическая песнь — одно из красивейших мест поэмы. Гармония и разнообразие стихосложения доказывают, что знание музыки достигло значительных успехов во времена Оссиана» (*Макферсон Дж.* Поэмы Оссиана. С. 234).

«Оссиан» является первым переводом данного фрагмента на русский язык, выполненным непосредственно с оригинала. Выбор Муравьева необычен.

По утверждению Ю. Д. Левина, для русских переводчиков Оссиана характерна «несомненная избирательность. Чаще всего они обращались к „Песням в Сельме" и „Картону"... ⟨...⟩ Только один поэт (Н. Ф. Грамматин) отважился на создание полного стихотворного переложения эпической поэмы „Темора", но не смог довести до конца свое предприятие» (*Левин Ю. Д.* Оссиан в русской литературе. Л., 1980. С. 53—54). Имеется в виду: *Грамматин Н. Ф.* Темора. Историческая поэма в осьми песнях (песни I—VI) // Стихотворения Николая Грамматина. СПб., 1829. Ч. 2. С. 11—133. Е. И. Костров, автор первого русского полного перевода поэм Оссиана, перевел «Темору» с французского прозаического перевода П. Летурнера (Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века. Гальские стихотворения. Переведены с французского Е. Костровым. СПб., 1818. Ч. 2. С. 63—225).

Необычность выбора Муравьева-переводчика свидетельствует о свободном владении языком оригинала. Особенностью перевода является выраженная тенденция к сглаживанию специфической «унылой» тональности, сурового пафоса, вообще присущих поэмам Оссиана. Она прослеживается уже на уровне синтаксиса: из четырех вопросительных предложений оригинала у Муравьева сохранило вопросительную интонацию только одно, при этом на два восклицательных в переводе приходится десять. Исключены «мрачные» эпитеты, например dark-brown (о годах; в переводе Ю. Д. Левина — «мрачноунылые»). Один из самых выразительных образов — образ восходящего солнца, коррелирующий с мифологическим представлением о солнце как колеснице, дан совершенно нейтрально: «солнца луч златой».

[46] *Коснися струн, о сын Альпина!* — А́льпин (Alpin) — один из главных бардов отца Оссиана, короля Морвены Фингала; персонаж поэмы Оссиана «Песни в Сельме». «Сын Альпина» — безымянный бард, упоминается, помимо «Теморы», в поэме «Баратон».

[47] У́ллин (Ullin) — главный бард Фингала, персонаж многих поэм Оссиана, в частности, «Фингала», «Картона» и «Теморы».

[48] *Дай в Сельме глас услышать твой!* — Се́льма (Selma) — замок Фингала.

Современные публикации стихотворения: *Макферсон Дж.* Поэмы Оссиана / Изд. подгот. Ю. Д. Левин. Л., 1983. С. 359.

Галл

(С. 97)

Поэтический перевод фрагмента якобы несохранившейся безымянной поэмы Оссиана, включенного Дж. Макферсоном в примечания к поэме «Темора» (кн. III) и известного в литературе как «Обращение Гола к духу своего отца» («Gaul's adress to the spirit of his father»; в оригинале фрагмент не озаглавлен. У Муравьева имя Гол дано как Галл). Приведем его и предшествующий ему авторский комментарий в переводе Ю. Д. Левина: «Strumon — *поток холма*; так называлось местопребывание рода Гола в окрестностях Сельмы. Во время похода Гола на Троматон, о чем упоминается в поэме „Ойтона", Морни, отец его, умер. Умирая, Морни повелел, чтобы *меч Стру-*

мона (сохранявшийся в роду как святыня со времен Колгаха, самого прославленного из его предков) был положен в могилу рядом с ним и в то же время принадлежал его сыну, но с тем, чтобы тот взял его оттуда лишь тогда, когда будет доведен до крайности. Вскоре после того два брата Гола были убиты в сражении Колда-ронаном, вождем Клуты, и сам Гол пошел к могиле отца, чтобы взять меч. От поэмы Оссиана, сочиненной на эту тему, осталось лишь обращение Гола к духу почившего героя. Здесь я предлагаю ее читателю.

Гол

Крушитель щитов гулкозвучных, чья глава темнотою сокрыта, внемли мне из мрака Клоры, о Колгаха сын, внемли!

Шорох орлиных крыл не возмущает моих потоков. Погруженный в туман пустыни, о Струмона гордый правитель, внемли!

Живешь ли ты в сумрачном ветре, что темной волною колышет траву? Не играй пушистым волчцом, владыка Клоры, внемли!

Или верхом на луче ты прорезаешь смятение мрачных туч? Насылаешь на море ветер ревущий и катишь синие волны на острова? Внемли мне, родитель Гола, средь ужасов ночи внемли!

Я слышу полет орлов, дубы, шелестя на холме, сотрясают вершины. Страшен и радостен твой приход, друг жилища героев.

Морни

Кто пробуждает меня в глубине моей тучи, где ветры колышут мои туманные кудри? Зачем среди шума потоков глас разносится Гола?

Гол

Морни, враги окружают меня: волны приносят их с темных судов. Дай мне Струмона меч, тот луч, что сокрыл ты в своей ночи.

Морни

Возьми же меч гулкозвучного Струмона. Я гляжу на твое сраженье, мой сын, я, метеор еле зримый, гляжу из небесной тучи: Гол лазоревощитный, рази!»

(*Макферсон Дж*. Поэмы Оссиана. С. 191—192).

Стихотворение «Галл» является первым поэтическим переводом «Обращения Гола» на русский язык, выполненным непосредственно с оригинала. В качестве эпиграфа Муравьевым использован зачин из обращения Гола: «Крушитель щитов гулкозвучных». До этого в русской литературе появилось три перевода этого фрагмента, опосредованных немецким и французскими источниками: Е. И. Костров «Темора» (см. примеч. к стихотворению «Оссиан»); неизвестный переводчик с немецкого прозаического перевода — «Гаул к тени своего отца, пришедши

взять его меч из его гроба. С немецкого» (Новости русской литературы. 1802. Ч. IV. С. 190—192); А. Полежаев («Морни и тень Кормала. (Из Оссиана)») — с французской стихотворной переделки П.-М.-Л. Баур-Лормиана «Morni et l'ombre de Cormal» (Вестник Европы. 1825. № 23—24. С. 182—184. А также: Стихотворения А. Полежаева. М., 1832. С. 37—39).

Перевод Муравьева отличается соблюдением формальных особенностей оригинала: каждому абзацу английского текста, означающему строфу, также соответствует строфа; сохранен синтаксический параллелизм (эпифора «внемли», в подлиннике «hear»), выполняющий ритмообразующую функцию.

В издании «Тавриды» (1827) в последнем стихе первой строфы по аналогии со следующей была допущена явная опечатка: «царь» вместо «сын» (в подлиннике «son of Colgach»). Она не была замечена автором и не вошла в раздел «Погрешности».

[49] *Галл* (точнее, Гол; Gaul) — вождь могущественного кельтского племени, расселившегося по реке Струмон; вел борьбу за трон с Фингалом, но затем подчинился ему и стал одним из главных его военачальников; персонаж нескольких поэм Оссиана, в частности, «Фингала», «Ойтоны» и «Теморы». Имя Гол образовано Дж. Макферсоном от распространенного этнонима шотландцев.

[50] *Оттоль, Колгаха сын, внемли!* — Ко́лгах (Colgach) — предок Гола и его отца Морни.

[51] *И мне, о Клоры вождь, внемли!* — Кло́ра (Clora) — название, не имеющее пояснений у Дж. Макферсона и более не встречающееся в «Поэ-

мах Оссиана»; по-видимому, означает замок или крепость Морни.

[52] *Морн* (точнее, Мо́рни; Morni) — отец Гола, персонаж поэмы «Латмон».

Арфа
(С. 99)

Стихотворение представляет собой контаминацию наиболее распространенных мотивов и поэтических формул поэзии русского оссианизма (беседы с тенями умерших героев, погруженность в воспоминания, меланхолический колорит), а также сюжета «эоловой арфы», очевидно, опосредованного в сознании Муравьева знаменитой балладой В. А. Жуковского (1814), также варьирующей мотивы Оссиана. (Эолова арфа издает звук, извещая Минвану, героиню баллады Жуковского, о смерти возлюбленного. У Муравьева поэт «внимает отголоску струн» арфы, вспоминая «утраченных друзей».)

«Арфа» — яркий образец позднего оссианизма. Авторский замысел, очевидно, состоял в том, чтобы, воспроизводя наиболее узнаваемые мотивы оссианической поэзии, максимально передать ее колорит. Оно должно было играть роль выразительной концовки в небольшом «оссианическом» цикле (стихотворения «Оссиан», «Галл», «Арфа»).

Публикации: «Поэты 1820—1830-х годов» (Л., 1972. Т. 2. С. 119); В царстве муз: Московский литературный салон Зинаиды Волконской 1824—1829 гг. М., 1987. С. 340—341.

Забвение

(С. 101)

«Забвение» продолжает элегическую тему, намеченную в стихотворении «Арфа», и является характерным образцом ламентации элегического героя, расстающегося с юношескими мечтами. В репертуаре элегических тем «забвение» — одна из наиболее устойчивых и разработанных. Стихотворение «Ориянда» из первой части сборника представляет собой отдаленную параллель комментируемому произведению (ср.: строфа LXXV).

Известен список «Забвения», выполненный Н. В. Гоголем в конце 1820-х гг.; «...хранится в рукописном фонде Гоголя в РГБ ⟨...⟩ (Ф. 74. К. 2. Ед. хр. 49). Первоначально список хранился вложенным в гоголевской „Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии". Стихотворение написано на листе, вынутом из альбома» (Неизданный Гоголь / Изд. подгот. И. А. Виноградов. М., 2001. С. 536). Список идентичен публикации (включая пунктуацию).

Еще одна прижизненная публикация стихотворения: Эвтерпа, или Собрание новейших романсов, баллад и песен известнейших и любимых русских поэтов. М., 1831. С. 27. (Без названия, с разбивкой на четверостишия. Во втором стихе вариант: Кто слезы сирому *отрет.*)

Ермак

(С. 102)

Впервые: Северная лира на 1827 год. М., 1827. С. 233—240.

Варианты:

стк. 14 Одною *льдиной обросли*
16 Остяк! Куда мы *забрели*?
20 Хотя *засыпан он в снегах*
23 *Раз бросив взор к валам лазурным*,
24 *Уж не забудешь; всем* рекам
60 Иртыш *сердитый* был грозим
79 В Иртыш, *ночною полный грезой*,
82 Быть может, *он* бы досягнул
92 Другим! — Так *сказывал* отец!
93 Он в *волны* путников сзывает!
103 Иртыш залил неумолимой

«Ермак» — самое раннее известное стихотворение Муравьева, написанное в отрочестве, в период учебы у С. Е. Раича (не ранее 1820—не позднее начала 1823 г.). История его создания воспроизведена им в «Знакомстве с русскими поэтами», в контексте рассказа об И. И. Дмитриеве (которого особенно почитал наставник Муравьева, С. Е. Раич). Это знакомство трактуется здесь как своего рода «посвящение в поэты»: «Поэт, и особенно такой, как Дмитриев ⟨...⟩ казался нам чем-то особенно великим, не только как жрец искусства, но и как один из важных деятелей ⟨...⟩ эпохи, и с глубоким уважением мы на него смотрели; он же, с своей стороны, чрезвычайно

ласково обращался с юными любителями Муз, читая нам иногда свои произведения и рассказывая о событиях минувшего. Лестно было для нас каждое одобрительное его слово, если иногда заставлял нас читать собственные наши стихи. Услышав однажды от Раича, что я написал небольшое стихотворение „Ермак", как бы в подражание его вдохновенной песни о завоевателе Сибири, он непременно потребовал, чтобы я прочел ему мои стихи, и в награду за это прочел мне собственного „Ермака"» (*Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. Киев. 1871. С. 7—8). Речь идет о стихотворении И. И. Дмитриева «Ермак» (1794), заключительная часть которого (в духе торжественной оды «на кончину») подсказала Муравьеву и идею стихотворения, и образ главного персонажа — Остяка:

Мир праху твоему, Ермак!

. . . .

Где обелиск твой? Мы не знаем,
Где даже прах твой был зарыт.
Увы! он вепрем попираем,
Или остяк по нем бежит
За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.

. . . .

Хотя б сыны твои, потомки,
Забыв деянья предка громки,
Скитались в дебрях и лесах
И жили с алчными волками, —
Но ты, великий человек,
Пойдешь в ряду с полубогами...

У И. И. Дмитриева легенда о Ермаке звучит из уст «сибирских шаманов», современников покорителя Сибири. Два героя — Старец и Младый (шаманы) излагают ее в диалоговой форме. Эта форма также перенята Муравьевым; в жанровом отношении его «Ермак» — скорее драматическая сцена. Если И. И. Дмитриев стремился к исторической достоверности изображаемого, то Муравьев — к этнографической конкретике. Действие его «Ермака» отнесено к современности. В сознании главного героя, туземца остяка, охотника за ланями, сохранился лишь смутный, мифический образ покорителя Сибири, само имя которого он припоминает с трудом: «Его мудреное названье / Я прежде помнил, но забыл...» Здесь следует указать на художественную и текстуальную параллель: сюжетно-повествовательная модель «рассказ, основанный на предании» использован А. С. Пушкиным в поэме «Цыганы» (1824; опубл.: 1827). Герой поэмы, Старик, излагая предание об Овидии, замечает: «Я прежде знал, но позабыл / Его мудреное прозванье».

Ни И. И. Дмитриеву, ни Муравьеву не удалось создать убедительный образ носителя исторического или фольклорного сознания: образы шаманов и Остяка модернизированы в психологическом и — что особенно заметно — в языковом отношении. Попытки Муравьева ввести этнографические детали неудачны (лань — вместо олень; курень — вместо юрта).

Ориентация Муравьева на И. И. Дмитриева была вполне осознанной и конкретной. Поэтому другие известные разработки темы: думу К. Ф. Рылеева «Смерть Ермака» (1821), ставшую известной песней, трагедию А. С. Хомякова «Ермак» (1826) вряд ли

следует рассматривать как возможные источники стихотворения.

Стихотворение привлекло внимание критики. И в рецензиях на «Северную лиру», и на «Тавриду» содержатся его положительные оценки. Разбирая альманах, П. А. Вяземский, в частности, писал: «Ермак написан другою (по сравнению с «Русалками». — *Н. Х.*) кистью: краски здесь мрачные и более силы в чертах; но в нем также есть живая поэзия в вымысле и выражении» (Московский телеграф. 1827. Ч. 13. № 3. С. 244). Из статьи Н. М. Рожалина «Альманахи на 1827-й год»: «Несколько оригинальных пиес князя Вяземского, Туманского, Баратынского, Тютчева, *Ермак* Муравьева и еще некоторые другие могут порадовать читателей, которые в сем Альманахе («Северная лира на 1827 год». — *Н. Х.*) хотели бы найти новые, собственные произведения нашей Поэзии» (Московский вестник. 1827. Ч. 2. № 5. С. 86). В рецензии Е. А. Боратынского на «Тавриду» — подробный анализ стихотворения (см. наст. изд.).

53 *Младой Остяк!* — Остяки принятое в XIX в. название хантов и некоторых других малочисленных народностей Севера.

Ермак Тимофеевич (ум. в 1585 г.) — казачий атаман. Его походы положили начало присоединению Сибири к Московскому государству.

54 *...добыча мрачной грезы...* — Легенда о гибели Ермака в трактовке Н. М. Карамзина, которой следует Муравьев, звучит так: «...надлежало погибнуть новому завоевателю Сибири ⟨...⟩ погибнуть от своей оплошности, изъясняемой единственно неодолимым действием рока. Ермак знал о близости врага и, как бы утомленный жизнию, погрузился в глубокий

сон с своими удалыми витязями, без наблюдения, без стражи. Лил сильный дождь; река и ветер шумели, тем более усыпляя казаков; а неприятель бодрствовал на другой стороне реки 〈...〉 он напал на россиян полумертвых 〈...〉 и всех перерезал, кроме двух: один бежал в Искер; другой, сам Ермак, пробужденный звуком мечей и стоном издыхающих, воспрянул... увидел гибель, махом сабли еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий Иртыш и, не доплыв до своих лодок, утонул, отягченный железною бронею, данною ему Иоанном... Конец, горький для завоевателя: ибо, лишаясь жизни, он мог думать, что лишается и славы!.. Нет, волны Иртыша не поглотили ее: Россия, история и церковь гласят Ермаку вечную память!» (Цит. по: *Карамзин Н. М.* Предания веков / Изд. подгот. Г. П. Макогоненко. М., 1988. С. 634).

Афористическая, емкая концовка стихотворения по смыслу аналогична заключительному, проникнутому патриотическим пафосом, утверждению Карамзина.

Перекати-поле
(С. 109)

Стихотворение написано не позднее октября 1826 г. Датируется на основании письма А. А. Муханову от 20 октября 1826 г., в котором Муравьев, в частности, сообщал: «...я написал 〈...〉 только небольшую балладу на народный сюжет — „Перекати-поле", она очень оригинальна, я ее тебе как-нибудь пошлю» (см. наст. изд.; оригинал по-французски). Имеется в виду сюжет баллады В. А. Жуковского «Ивиковы журавли» (1813) — переложение одно-

именной баллады Ф. Шиллера («Die Kraniche des Ibykus»), которая, в свою очередь, восходит к известной легенде эпохи эллинизма об убийстве греческого поэта Ивика (6 в. до н. э.). Из Шиллера Муравьев заимствовал эпиграф к стихотворению (дословный перевод: «Горе, горе тому, кто втайне / Убийства тяжелое дело совершает»). В основе данного сюжета необычная коллизия: явления природного мира — свидетели преступления — изобличают преступника. Так, у Шиллера (Жуковского) журавли, единственные свидетели преступления — убийства поэта Ивика — изобличают убийцу и заставляют признаться в содеянном (заключительный стих баллады Жуковского: «И смерть была им приговор». Ср. у Муравьева: «Смерть — его приговор»). Еще одним источником, сюжетно и стилистически гораздо более близким, могла послужить баллада П. А. Катенина «Убийца» (1815). Ее главный герой, купец, убивший некогда своего приемного отца, становится «страшен» жене: по ночам он «То засмеется, то смутится / И смотрит на луну». Далее между мужем и женой следует диалог: жена просит признаться и узнает о злодеянии, свершенном мужем, единственным свидетелем которого был «проклятый месяц». Не вынеся тяжкого груза признания, она «судьям доносит страшну повесть». Муж казнен. Моралистическая концовка стихотворения Катенина (тесно перекликающаяся с выбранным Муравьевым эпиграфом) звучит так:

Казнь божья вслед злодею рыщет;
Обманет пусть людей,
Но виноватого бог сыщет —
Вот песни склад моей.

«Перекати-поле» полностью повторяет сюжетную канву этой баллады. Исключение составляет образ «свидетеля» преступления, хотя он тоже взят из природного (растительного) мира: степная трава перекати-поле. Муравьев мог позаимствовать его из стихотворения С. Е. Раича «Перекати-поле» (1825? Опубл.: Урания. М., 1826. Альманах появился в начале 1826 г. (ценз. разрешение от 26 ноября 1825 г.)), где он служит аллегорией одиночества, жизненной неустроенности. Таким образом, в сюжетном плане стихотворение представляет собой сложную, сродни литературному эксперименту, контаминацию.

Оригинальна его метрико-строфическая композиция — своего рода «двойное кольцо»: стихотворение в целом имеет кольцевую композицию, и при этом каждая строфа заканчивается рефреном. Строфа — шестистишие, распадающееся на три полустишия, в которых чередуются стихи четырехстопного амфибрахия и двустопного анапеста (в первых двух перекрестная рифмовка, последние два безрифменные). Этот тип стиха можно отнести к драматическому (для балладного разница в длине стихов необычно велика (четырех- и двустопные) и усилена еще тем, что первый стих каждого полустишия имеет мужское окончание, а второй — дактилическое; таким образом, возникает сильная пауза). Если метрическая схема вполне оригинальна, то образцом для строфической стало, по-видимому, стихотворение Раича, хотя Муравьев значительно ее усложнил.

Образ главного героя, сюжет, метрико-строфический строй подчинены единой задаче: Муравьев (подобно П. А. Катенину) стремился создать произведение в русском «простонародном», фольклорном духе.

Уныние

(С. 114)

Эпиграф из романа Ж. де Сталь «Коринна, или Италия», 1807 (из «Импровизации Коринны в окрестности Неаполя» (кн. XIII, гл. IV)), позволяет обнаружить латентно присутствующую в стихотворении тему Т. Тассо. Фрагмент, из которого он заимствован, звучит (в пер. М. Н. Черневич) так: «Перед вами Сорренто: там жила сестра Тассо, и когда переодетый паломником, спасаясь от преследований государей, он пришел искать приюта у своей безвестной подруги, долгие страдания едва не омрачили его рассудок; у него оставался лишь его гений, у него сохранилось лишь знание божественного мира; все земные образы спутались у него в мозгу. Так талант, с ужасом взирая на окружающую его пустыню, скитаясь по свету, не обретет никого себе подобного. *В природе он больше не слышит отзыва, и посредственные люди почитают безумием тоску души, которой недостает на земле воздуха, вдохновения и надежды*» (*Сталь Жермена де.* Коринна, или Италия / Изд. подгот. М. Н. Черневич. М., 1969. С. 230). Выделенное курсивом предложение и использовано в качестве эпиграфа.

Любовь к поэзии Тассо, которую привил ему С. Е. Раич, переводчик «Освобожденного Иерусалима», Муравьев пронес через всю жизнь. По воспоминаниям А. В. Никитенко, «зная хорошо итальянский язык, он часто находил удовольствие читать перед своими приятелями целые тирады из любимых своих поэтов, Данта и Тасса, и отрывки из них пере-

водил тут же...» (ЖМНП. 1875. Ч. 178 (апр.). С. 99).

Образ Т. Тассо соответствовал представлениям романтиков о творчестве как конгениальном воплощении личной судьбы. Легенда о Т. Тассо приписывала ему любовное безумие, проклятия судьбы, включая концепцию извечной вражды властителя и поэта (она легла в основу драмы Гёте «Торквато Тассо» (1789), поэмы Дж. Байрона «Жалоба Тассо» (1817), элегии К. Н. Батюшкова «Умирающий Тасс» (1817) и других произведений).

Созданный в «Унынии» образ молодого, пылкого, страстно преданного поэзии, но не находящего «ответа», «убитого» «равнодушием» толпы поэта имеет глубокую литературную традицию, которую Муравьев, что подчеркнуто эпиграфом, соотносил с судьбой Тассо. Легенду о нем он проецирует на коллизии личной судьбы, раскрытые в «Моих воспоминаниях». Вопреки желаниям родных и друзей он избрал поэзию «единственною целью жизни», но не нашел с их стороны «отголоска»: «Не знаю, отчего люди более всегда склонны к недоверчивости? Развивающийся талант кажется им презрительным. Им непременно надобно долгую привычку, чтобы назвать человека поэтом, хотя часто сия привычка их обманывает; они не могут видеть отпечаток будущего в первых стихах и часто равнодушием убивают юный талант, который не имеет довольно духа, чтобы презирать их. ⟨...⟩ Хотят ли гнать меня за поэзию? Приму все гонения и не изменюсь. Мне недавно случилось прочесть опять Тасса и бессмертного Данта... ⟨...⟩ Кто более сих двух великих поэтов заслужил славу и счастие в сей жизни? И кто был более гоним и не-

счастлив? А я не Тасс и не Дант, и я не в Италии!..» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 63—65).

В письме А. А. Муханову от 10 августа 1827 г. Муравьев сообщал о замысле трагедии «Жизнь Тасса, или Судьба Поэта» (см. наст. изд.). В 1829 г. (?) он написал отрывок «Чувства и мысли Тасса», созвучный «Унынию». Начало: «Господь всемогущий! сотворивший меня с душой чувствительной, давший мне и роковой дар поэзии, чтобы я был несчастен на этой земле, не слыша себе отголоска!» (РГИА. Ф. 1088. Оп. 2. № 865. Л. 51. Оригинал по-французски).

Сон певца

(С. 116)

Автограф — в тексте письма А. А. Муханову от 1 декабря 1826 г. (см. наст. изд.). Датируется на основании этого письма.

Образ «певца» решен в оссианическом духе (его непременный атрибут — арфа; он отрешен от мира и «толпы» и пребывает в «сладостном сне»; предстающие пред ним видения заставляют слагать о них «песни»). Этот образ-штамп легко узнаваем и может быть соотнесен с аналогичным по своему заданию («рождение поэзии») фрагментом поэмы «Ойна-морул», приведенным в качестве эпиграфа ко второй части сборника «Таврида» (см. коммент.).

Муравьев использует образно-стилистический репертуар поэм Макферсона, в том числе и свойствен-

ную им меланхолическую интонацию для воссоздания собственно романтической коллизии: поэт и «толпа». Если в предыдущем стихотворении она имела преимущественно личностное, биографическое наполнение, то здесь дана как некая абстрактная модель.

Стихии

(С. 117)

Датируется октябрем-ноябрем 1826 г. на основании письма А. А. Муханову от 1 декабря 1826 г., содержащего перечень стихотворений, написанных в этот период (см. наст. изд.).

Эпиграф — неточно цитированная первая строка стихотворения Байрона «Тьма»: «Я видел сон, который не вполне был сном». Образная система стихотворения, написанного в жанре фантасмагории, представляет собой сплав оссианических и фольклорных мотивов.

Выраженное эпическое начало позволяет соотнести «Стихии» с произведениями Муравьева, созданными в других жанрах, — с эпической поэмой «Потоп» (где главные герои — Исполины) и, особенно, с «Хорами Перуну» из трагедии «Владимир». Ср.:

Хор юношей

Владыка сидит на престоле громов,
В руке его вихрь одичалый.
Он молнию бросил в пучины валов,
И море ударило в скалы,
И волн его песнь от начала веков
Великому — не умолкала.

Главные герои всех трех произведений, проникнутых пафосом суровости, — исполины, владыки стихий. Заключительная строфа «Стихий» перекликается со стихотворением «Поэзия», в котором обретение искусства поэзии также трактуется как дар природных стихий.

«Стихии» стали предметом тщательного анализа Е. А. Боратынского. В рецензии на «Тавриду» он назвал это стихотворение «лучшим из всего собрания как по созданию, так и по исполнению» (см. наст. изд.). Г. Хетсо обратил внимание на полное метрико-строфическое совпадение стихотворения Е. А. Боратынского «На смерть Гете» (1832) со «Стихиями»: «Еще в 1822 году такой строфой воспользовался Пушкин в стихотворении „Песнь о Вещем Олеге", взявший в качестве образца балладу Жуковского „Горная дорога". Рецензируя в 1827 году „Тавриду" А. Н. Муравьева, Баратынский получил возможность подробнее изучить эту строфу в стихотворении „Стихии"» (*Хетсо Г.* Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Oslo; Bergen; Tromsö, 1973. С. 535). Следует добавить, что этой же строфой (4а3В4а3В4с4с) написано стихотворение «Ольга» (см. коммент.), а также баллада «Тадмор», вошедшая в сборник «Опыты в стихах».

Публикации: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 119; В царстве муз: Московский литературный салон Зинаиды Волконской 1824—1829 гг. М., 1987. С. 341—342; «Здравствуй, племя младое...»; Антология поэзии пушкинской поры. М., 1988. Кн. 3. С. 135—136.

Прометей

(С. 119)

В основе стихотворения контаминация образов и сюжетов, заимствованных из разных культурно-исторических пластов: из мифологии Древней Греции, мифологии Кавказа, из Ветхого Завета. Действие отнесено к «златым младенческим дням» «цветущего созданья», когда еще не знали смерти («смерть не была ожиданьем»), то есть к некоему «золотому веку», который может быть осмыслен как в русле ветхозаветного предания (до изгнания из Рая человек, созданный по образу и подобию Божию, был бессмертен), так и мифологических представлений (боги и герои, составляющие древнегреческий пантеон, бессмертны).

Основная сюжетная линия восходит к легенде о Прометее. В наказание за противодействие богам (Прометей похитил с Олимпа огонь и принес его людям) Зевс повелел приковать его к скале в Колхиде (Грузия). Муки Прометея (орел днем пожирал его печень, которая за ночь вырастала вновь) длились тысячелетиями, пока Геракл с согласия Зевса, желавшего большей славы своему сыну, не убил орла и не освободил титана. Муравьев модифицировал концовку легенды: Прометей остается прикованным к «диким скалам». Дух Кавказа находит лишь его остов, «иссохший в цепях».

Источники образа Духа Кавказа не вполне ясны. Возможно, он восходит к Амирани, главному персонажу грузинского эпоса «Амираниани», который типологически близок Прометею (за богоборчество был прикован к скале в пещере Кавказского хребта). Ле-

генду об Амирани Муравьев мог, в частности, узнать от своего брата, Н. Н. Муравьева-Карского, служившего в то время на Кавказе (подробнее об их отношениях см. коммент. к стихотворению «В Персию!»). Можно, однако, предположить, что образ Духа Кавказа вполне оригинален. В любом случае, он представляет интерес как одна из ранних, долермонтовских попыток создания космогонического образа на кавказском материале. В этом смысле «по-лермонтовски» звучат первые строки стихотворения. Его нравственная проблематика тоже весьма симптоматична. Дух Кавказа наделен демонической гордостью: вид смерти впервые заставляет его «трепетать» и, свергая остов Прометея со скалы, «он мстит за минуту боязни».

Эпиграф: из первой части «Божественной комедии» Данте — «Ад» (заключительный стих пятой песни, посвященной трагической любви Франчески и Паоло): «И я рухнул как мертвое тело».

Публикации: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 120—121.

Эскимосы

(С. 122)

Упоминание «Гроенландских морей» указывает на место действия стихотворения — остров Гренландию (расположен в Северном Ледовитом океане). Следовательно, действующие лица — гренландские эскимосы (народ, проживающий также на Аляске, в Северной Канаде, на Чукотке). Из авторского примечания к стихотворению следует, что оно было напи-

сано под впечатлением от прочитанного или услышанного о характере этого народа («Сказание об эскимосах не выдумка»). Конкретный источник информации Муравьева раскрыть не удалось, хотя вообще тема путешествий в район Северного Ледовитого океана имела в 1820-е гг. довольно широкое освещение. В частности, в программу журнала «Северный архив» входило «помещать все путешествия в Северные полярные страны». Среди них наиболее известны английские экспедиции капитанов Росса, Скорресби и Парри. В статье «Северная экспедиция капитана Парри» (Северный архив. 1823. Ч. 8. № 22. С. 271—286 и № 23. С. 333—352) содержатся довольно подробные сведения о быте, нравах и верованиях эскимосов.

Вдохновителем интереса Муравьева к этой «экзотической» теме мог быть Петр Иванович Колошин (1794—1849), который известен не только как поэт-декабрист, но и как историк, геодезист и географ. Обширнейшие познания Колошина в области истории освоения и описания Северного Ледовитого океана и его островов с большой наглядностью проявились в его чрезвычайно содержательной рецензии: «Замечания на книгу ⟨В. Н. Берха⟩ под заглавием „Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны...“» (Северный архив. 1824. Ч. 11. № 17. С. 249—265. Подпись: К. — ъ). В 1830-х гг. он выпустил учебник «Первоначальная география» (Ч. 1—2. СПб., 1832—1838, 6. п.).

Непосредственное общение Муравьева с Колошиным продолжалось 10 лет, с 1810-х гг. до 1823 г., в течение которых последний сначала учился в основанной отцом Муравьева Школе колонновожатых, а затем стал ее преподавателем и помощником началь-

ника. Среди преподавателей и учащихся Школы Муравьев отличал Колошина как человека, который его «совершенно постиг»: «...он был почти вдвое старше, но я любил его, как сверстника ⟨...⟩ он занимался поэзией и первый образовал мой вкус и внушил склонность ко всему изящному» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания. 1895. № 5. С. 57). Есть основания полагать, что после перевода Школы колонновожатых в Петербург (1823 г.) их общение продолжилось.

«Эскимосы» — не только одно из первых произведений русской литературы, посвященное этому народу, но и одно из первых упоминаний самого этого этнонима в художественном тексте.

[55] *Над Гренландскими морями...* — Очевидно, под собирательным значением (*моря*) следует понимать вообще воды, омывающие остров Гренландия (Северного Ледовитого и Атлантического океанов). Гренландское море — окраинное море Северного Ледовитого океана, между островами Гренландия, Исландия, Ян-Майен, Медвежий и Шпицберген.

Голос сына

(С. 126)

Стихотворение посвящено Екатерине Владимировне Новосильцевой (урожд. гр. Орловой, 1770—1849), матери Владимира Дмитриевича Новосильцева, погибшего на дуэли 10 сентября 1825 г.

Дуэль В. Д. Новосильцева, флигель-адьютанта Александра I, с К. П. Черновым, подпоручиком Семеновского полка, членом Северного общества, двою-

родным братом К. Ф. Рылеева, — одна из наиболее известных дуэлей первой трети XIX в. (подробнее см.: *Востриков А.* Книга о русской дуэли. СПб., 1998. С. 81—114; *Гордин Я. А.* Дуэли и дуэлянты. СПб., 2002. С. 88—93). Семейная, бытовая история (В. Д. Новосильцев, посватавшись к сестре К. П. Чернова, Е. П. Черновой, под давлением своей матери, недовольной скромным положением невесты, фактически отказался от предложения) при участии К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева была возведена в ранг общественного события как пример социального и гражданского неравенства. Дуэль, во многом подготовленная Северным обществом, состоялась за три месяца до восстания декабристов и имела, по выражению Я. А. Гордина, смысл «авангардного боя тайного общества» (С. 93). Похороны К. П. Чернова вылились в политическую демонстрацию — первую в России. На его могиле В. К. Кюхельбекер пытался прочитать агитационные стихи, в которых К. П. Чернов провозглашался избранником «русского бога», а его поступок — «чести нам залогом» («На смерть Чернова», 1825).

Исход этой жестокой дуэли совершенно иначе был воспринят петербургским светом, а также в кругах московской аристократии, к которым по рождению принадлежала Е. В. Новосильцева. Кончина единственного сына, погибшего в возрасте двадцати пяти лет, переживалась ею и ее родственниками очень тяжело (мать ослепла от слез). Муравьев входил в круг ее знакомых, был дружен, как свидетельствует А. А. Третьяков, с самим В. Д. Новосильцевым (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 36. № 12. С. 596 (примеч.)). В 1830 г. при подготовке «Путешествия ко Святым местам», желая познако-

миться с митрополитом Филаретом, он обратился к посредничеству Е. В. Новосильцевой: «Тогда пришло мне на мысль просить знакомую мне еще с детства Е. В. Новосильцеву, чтобы она представила меня Митрополиту Московскому и убедила его заняться рассмотрением моей рукописи» (Письма Митрополита Московского Филарета к А. Н. М. 1832—1867. Киев, 1869. С. XI). Таков единственный источник сведений об их давнем знакомстве.

Стихотворение Муравьева получило в Москве определенный резонанс: «Я стал известен в Москве, — писал он А. А. Муханову 1 декабря 1826 г., — пьесой, которую написал Е. В. Новосильцевой на смерть ее сына. Все старые дамы обо мне говорят...» (см. наст. изд.). Есть основания полагать, что именно оно стало предметом литературного спора между Д. В. Веневитиновым, его сестрой, С. В. Веневитиновой, и С. А. Соболевским (подробнее см.: *Хохлова Н. А.* Андрей Николаевич Муравьев — литератор. СПб., 2001. С. 62—63).

Идея стихотворения могла быть подсказана В. А. Жуковским («Голос с того света», 1815) — вольный перевод стихотворения Ф. Шиллера «Текла. Голос духа» (из драматической трилогии «Валленштейн») — на что указывают как общность лирической ситуации, так и некоторые текстуальные совпадения. Ср. заключительную строфу стихотворения «Голос с того света»:

Не унывай: минувшее с тобою;
Незрима я, но в мире мы одном;
Будь верен мне прекрасною душою;
Сверши *один* начатое *вдвоем*.

Идеал

(С. 128)

Автограф: ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. № 181. Л. 77 (в альбоме А. Д. Абамелек-Лазаревой). Без названия, без даты (начало 1830-х гг.?). Стихотворение существенно переработано для данного альбома и представляет собой мадригал А. Д. Абамелек-Лазаревой.

Варианты:

стк. 3 *Его* в минуты вдохновенья
5, 6, 7, 8 — отсутствуют
10 В обилии *своих* власов
13 *Эфирным — стан ее казался*
14 Как мысль о *светлых* небесах
15 И мир *восточный* отражался
16 В ее *блистающих* очах!

Образ неземной идеальной девы восходит к Ф. Шиллеру и, в свою очередь, унаследован им от Петрарки, который трактовал любовь к Лауре как онтологическое чувство. Лирический герой Шиллера, воспарив над действительностью, приобщается к идеалу, познает гармонию бытия («Фантазия к Лауре», «Восхищение Лаурой», «Триумф любви» и др.).

Образ идеальной возлюбленной трансформируется у Муравьева в образ «таинственной девы поэзии», но тем не менее вполне узнаваем. О его широкой рас-

тиражированности в русской романтической поэзии В. Г. Белинский саркастически писал: «Так или сяк познакомился ты и с Шиллером; но что понял ты в нем? — Ты понял, и то по-своему, по-детски *„деву неземную"*, да *„любовь идеальную"*...» (*Белинский В. Г.* Русская литература в 1842 году // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 6. С. 518).

Между стихотворением «Идеал» и следующим за ним стихотворением «Певец и Ольга» имеются тесные смысловые параллели.

Певец и Ольга
(С. 130)

Публикатор мемуаров Муравьева, А. А. Третьяков, упоминал об этом стихотворении как о «сохранившемся в рукописях» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 36. № 12. С. 599 (примеч.)). Однако сегодня его автограф неизвестен. Датируется октябрем-ноябрем 1826 г. на основании письма А. А. Муханову от 1 декабря 1826 г. (см. наст. изд.).

Посвящено кн. З. А. Волконской (урожд. кн. Белосельская-Белозерская, 1789—1862), писательнице, музыканту, хозяйке знаменитого московского литературно-артистического салона (1824—1829). С домом З. Волконской Муравьев, по собственному признанию, был связан узами родства и дружбы: сводный брат княгини Э. А. Белосельский-Белозерский был воспитанником Школы колонновожатых, которой ру-

ководил отец Муравьева. Муравьев посещал салон в зиму 1826/27 гг. и оставил воспоминания о нем и его хозяйке (*Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 11—14).

Стихотворение следует рассматривать в двух контекстах: жизни салона (как один из ее эпизодов) и непосредственно в контексте творчества Муравьева, характерной чертой которого был интерес к русской истории. Именно в 1826—1827 гг. З. Волконская работала над «Сказанием об Ольге» (повестью-стилизацией, основанной на летописном и фольклорном материале). «Предметом же своей поэмы, — писал Муравьев, — избрала она Св. Ольгу, так как и в ее жилах текла кровь Рюрикова, и род Белозерских особенно благоговел пред сею великою просветительницею Руси» (*Муравьев А. Н.* Знакомство... С. 11). «Сказание об Ольге» могло быть известно лишь узкому кругу ее друзей (впервые опубл.: *Волконская З. А.* Сочинения. Париж; Карлсруэ, 1865. С. 35—150) и, несомненно, глубоко интересовало Муравьева (помимо цикла стихотворений на сюжеты из древнерусской истории, вошедших в «Тавриду» (в том числе «Ольга»), в это время он вынашивал замыслы нескольких драматических произведений). Поэтому «Певец и Ольга» — это не только мадригал (наряду с известными произведениями А. С. Пушкина, Е. А. Боратынского, И. И. Козлова, И. В. Киреевского и др., составившими «венок» «Северной Коринне»), но и своего рода интеллектуальный, творческий диалог (не случайно форма стихотворения — диалоговая). Образы главных героев аллегоричны (в «Певце» угадывается Муравьев, в «могучей жене» — З. Волконская). По предположению Н. В. Сайкиной, Муравь-

ев «ориентировался на оду княгини „Александру I", где император именовался „могучим князем"...» (*Сайкина Н. В.* Московский литературный салон княгини Зинаиды Волконской. М., 2005. С. 159). Ее портрет решен в той же стилистике, что и портрет «таинственной девы поэзии» в стихотворении «Идеал»; кроме того, оба стихотворения объединяет мотив сна.

Мне дева юная мелькала
В обилии златых власов;
Ее одежда догорала
Румянцем поздних облаков;
Стан величавый возвышался,
Как мысль о горних небесах;
И мир лазурный отражался
В ее задумчивых очах...

Присутствующий в «Идеале» любовный мотив в контексте сборника естественно экстраполировался на следующее за ним произведение — «Певец и Ольга». «Прямо или косвенно княгиня санкционировала откровенную апологетику по своему адресу; воспевание „могучей жены" в „Певце и Ольге" выходило за рамки принятого в поэтических мадригалах этикета. Не менее существенно и то, что Муравьев решился его нарушить; стало быть, он был уверен в благожелательной реакции предмета своих поэтических вдохновений» (*Вацуро В. Э.* Пушкин в московских литературных кружках середины 1820-х годов (Эпиграмма на А. Н. Муравьева) // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 149—150). Исследователь соотносит «Певца и Ольгу» со стихотворением «Ольга», рассматривая оба произведения как отклик на

«живой интерес» З. Волконской к кн. Ольге (Там же. С. 149). Это утверждение представляется не вполне убедительным. «Ольга» входит в состав цикла стихотворений на сюжеты из древнерусской истории и является необходимым фрагментом единого исторического сюжета. «Певец и Ольга» принадлежит иному творческому и жизненному контексту и соотносится, скорее, с позднейшей «Молитвой об Ольге Прекрасной», «стихотворением на случай», написанным по поводу отъезда З. Волконской за границу в 1829 г. (опубл.: Современник. 1836. Т. 4. С. 232—233).

[56] *...Синав...* — Синеус. Согласно легенде, — родной брат Рюрика, с которым тот прибыл в Русскую землю в 862 г. и поселился на Белоозере. Обычно упоминается в паре с братом Трувором. Предание о Синеусе — белозерское. Здесь еще в XIX в. показывали «могилу царя Синеуса» (упоминается у С. П. Шевырева в «Поездке в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 году»).

[57] *Цвет лазурный в очах — Белозерской волны...* — Род Белосельских-Белозерских происходил от потомков кн. Белозерского Василия Романовича. Белозерское княжество (со столицей в г. Белоозеро) располагалось в районе озер Белое и Кубенское; в 1238 г. выделилось из состава Ростовского княжества.

[58] *Не столь ярким огнем я Коростень сожгла!* — См. коммент. к стихотворению «Ольга».

Публикации: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 122; В царстве муз: Московский литературный салон Зинаиды Волконской 1824—1829 гг. М., 1987. С. 342; «Здравствуй, племя младое...»: Антология поэзии пушкинской поры. М., 1988. Кн. 3. С. 139.

В Персию!

(С. 132)

Автограф: в тексте письма Н. Н. Муравьеву-Карскому от 27 ноября 1826 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 254. № 351. Л. 118 об.—119 об.).

Впервые: Северная лира на 1827 год (М., 1827. С. 186—188).

Варианты:

стк. 18 Аракса берега *поят*
23 *Там лавр для нас цветет* нетленный,
24 *Молве велим*: не умолкай!

Поводом к написанию стихотворения стали события Второй русско-персидской войны (1826—1828 гг.), когда персидские войска без объявления войны нарушили заключенный ранее мир и вторглись в пределы России. К исходу 1827 г. русские войска одержали решительные победы, и 10 февраля 1828 г. был заключен Туркманчайский мирный договор. Помимо прочего, эта война всколыхнула в русском обществе интерес к Востоку и прежде всего к Персии (Ирану). Как отмечает исследователь Д. И. Белкин, в это время «художественная модель Востока, воссоздававшаяся романтиками, обретает дополнительную окраску. В структуру ориентальных поэм, стихов, преданий как отечественных, так и переводных, непременно вносились элементы, якобы рисовавшие мотивы, обычаи и пейзажи Персии. 〈...〉 В русских журналах в то же время заметно возрастает количество переводов с персидского» (*Белкин Д. И.* Пуш-

кинские строки о Персии // Пушкин и мир Востока. М., 1999. С. 108).

Особый интерес Муравьева к русско-персидской войне объясняется и тем, что в ней участвовал его брат, Н. Н. Муравьев-Карский (служил на Кавказе с 1816 по 1836 г.; в 1828 г. произведен в генерал-майоры). В письмах к нему Муравьев неоднократно излагал планы своего перевода на Кавказ. Так, 27 ноября 1826 г. он писал: «Я всегда с большим любопытством слушаю известия о Персидской войне; хотел бы разделить ваши походы, но как это сделать, не могу сообразить ⟨...⟩ Я уже просил тебя в последнем письме моем дать мне все возможные сведения насчет моего перехода к вам. Теперь вторично о том прошу. Я только сплю и вижу Персию; ⟨посылаю⟩ тебе песнь, которую я написал на случай сего похода. (Далее следует текст стихотворения «В Персию!». — *Н. Х.*). ⟨...⟩ я получил на днях отпуск до 16 марта — хотел бы до того времени на что-нибудь решиться. Боюсь, чтоб между тем не кончилась Персидская война» (Л. 119—119 об.).

Д. И. Белкин отметил связь между произведением Муравьева и стихотворением А. С. Пушкина «Из Гафиза» («Не пленяйся бранной славой...»; 1829), «истоки» которого, по его мнению, «восходят не только к подлинным строкам Хафиза, но и к отдельным творениям современников Пушкина. ⟨...⟩ ...стихотворение „Из Гафиза" предсталяет собой также своеобразный ответ на воинственные вирши „В Персию" Андрея Муравьева» (*Белкин Д. И.* Пушкинские строки о Персии. С. 127). Высказанное далее предположение о том, что «Из Гафиза» является тем самым стихотворным посвящением, которое, как свидетельст-

вует Муравьев-мемуарист, Пушкин якобы написал по случаю его путешествия по Святым местам и которое затерялось в «хаосе бумаг» поэта (*Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 18), неверно.

Исследователь совместил две похожие, но никак не совместимые биографические ситуации: неосуществившееся стремление Муравьева участвовать в русско-персидской войне 1826—1828 гг. и его реальное участие в русско-турецкой войне 1828—1829 гг., по окончании которой он отправился в путешествие по Святым местам. А следовательно, совместил и два принципиально различных воплощения, которые эти ситуации нашли в его творчестве: стихотворение «В Персию!» и «Путешествие ко Святым местам в 1830 году».

Очевидно, «В Персию!» наряду с другими откликами на события войны 1826—1828 гг. можно рассматривать как своего рода тематический фон для анализа пушкинского произведения. Однако сколько-нибудь убедительных оснований трактовать «Из Гафиза» как «своеобразный ответ» Муравьеву нет.

Отдельный сюжет — пушкинское стихотворное посвящение Муравьеву, затерявшееся в «хаосе бумаг». Он никак не связан ни с русско-персидской войной, ни с поэзией Востока. По всей видимости, это была мистификация со стороны поэта: глубоко сочувствуя предпринятому Муравьевым путешествию по Святым местам, при встрече с ним поэт решил изгладить память недавней эпиграммы («Из Антологии») и воспроизвел в беседе сюжет стихотворения, которое якобы посвятил Муравьеву-паломнику. (Подробнее см.: *Хохлова Н. А.* О пушкинской ре-

цензии на «Путешествие ко Святым местам в 1830 году» А. Н. Муравьева // Пушкин и его современники. Вып. 5., в печати).

[59] *Аракса берега разят...* — Аракс — река в Закавказье, правый приток реки Куры; по ней проходила граница между Россией и Персией. В среднем течении протекает по Араратской долине.

[60] *...ковчега страж безмолвный / Стоит двуглавый Арарат!* — Ноев ковчег, согласно Ветхому Завету (Быт. 8, 4), после «всемирного потопа» пристал к берегу у горы Арарат. Упоминание этого библейского сюжета примечательно в связи с тем, что в 1826—1827 гг. Муравьев одновременно с «Тавридой» работал и над эпической поэмой «Потоп».

Основание Москвы

(С. 134)

Автограф (первые 20 стихов): в письме А. А. Муханову от 1 декабря 1826 г. (см. наст. изд.); разночтений с публикуемым текстом нет. Датируется на основании этого письма. Эпиграф — фрагмент заглавия «Повести временных лет», которое полностью звучит так: «*Се повѣсти времяньных лѣт*, откуду есть пошла руская земля кто въ Киевѣ нача первѣе княжити, и откуду руская земля стала есть». (Курсивом выделена часть заглавия, взятая Муравьевым в качестве эпиграфа к стихотворению.)

«Основание Москвы» — характерный для первой трети XIX в. образец интерпретации полулегендарного сюжета в романтическом духе. Основным ис-

точником (на что указывает авторское примечание к концовке стихотворения) послужила «История государства Российского» Н. М. Карамзина, а именно следующий ее фрагмент: «⟨Начало Москвы⟩ К сожалению, летописцы современные не упоминают о любопытном для нас ее начале... ⟨...⟩ По крайней мере знаем, что Москва существовала в 1147 году, Марта 28, и можем верить новейшим Летописцам в том, что Георгий ⟨Юрий Долгорукий⟩ был ее строителем. Они рассказывают, что сей Князь, приехав на берег Москвы-реки, в села зажиточного боярина Кучка, *Степана Ивановича*, велел умертвить его за какую-то дерзость и, плененный красотою места, основал там город...» (*Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1991. Т. 2—3. С. 133). Карамзин ссылается на «Повесть о зачале царствующего великого града Москвы», относящуюся ко второй половине XVII в.: «В лето 6666 (1158) Великому князю Юрью Владимировичю грядущю из Киева во Владимир град к сыну своему князю Андрею Юрьевичу и прииде на место, идеже ныне царьствующий град Москва, обо полы Москвы реки села красныя, сими же селы владающу тогда болярину некоему богату сущу, имянем Кучку Стефану Ивановичу. Той же Кучка возгордевься зело и не почте великого князя подобающею честию, яко же довлеет великим княземь, но и поносив ему к тому жь. Князь великий Юрьи Владимирович, не стерпя хулы его той, повелеваеть того болярина ухватити и смерти предати». (Цит. по: История Москвы. М., 1952. Т. 1. С. 17). Как видно, в этом рассказе опущено главное звено: неясна причина дерзкого поведения боярина по отношению к князю. Карамзин попытался восстановить

его: в примечаниях к «Истории» приведены две трактовки сюжета по двум малодостоверным, по мнению историка, летописям. Согласно одной из них, «Георгий любился с женой Стефана Кучка *Тысячского*; ⟨...⟩ муж, пользуясь отсутствием князя, увез жену в деревню на берег Москвы-реки и хотел бежать к Изяславу; ⟨...⟩ Георгий, оставив под Торжком войско, спешил избавить любовницу, убил мужа, дочь его выдал замуж за Андрея и заложил город Москву» (*Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1991. Т. 2—3. С. 310). Именно эту трактовку в статье «О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств» он представил в развернутом виде: «В наше время историкам уже не позволено быть романистами и выдумывать древнее происхождение для городов, чтобы возвысить их славу. Москва основана в половине второго-надесять века князем Юрием Долгоруким, храбрым и хитрым, властолюбивым, иногда жестоким, но до старости любителем красоты, подобно многим древним и новым Героям. Любовь, которая разрушила Трою, построила нашу столицу — и я напомню вам сей анекдот русской истории. Прекрасная жена дворянина Кучки, суздальского тысяцкого, пленила Юрия. Грубые тогдашние вельможи смеялись над мужем, который, пользуясь отсутствием князя, увез жену из Суздаля и заключился с нею в деревне своей, там, где Неглинная впадает в Москву-реку. Юрий, узнав о том, оставил армию и спешил освободить красавицу из заточения. Местоположение Кучкина села, украшенное любовью в глазах страстного князя, отменно полюбилось ему: он жил там несколько времени, веселился и начал строить город» (Вестник Евро-

пы. Ч. 6. № 24. С. 304—305). Несмотря на изначальный тезис, Карамзин выступает в данном случае именно как «романист»: там, где надежное историческое свидетельство заменяет легендарное предание, открывается простор для художественного вымысла; следуя законам классицистической трагедии, в качестве драматургического стержня он избирает любовную коллизию. Муравьев всецело следует за Карамзиным, допуская единственную сюжетную новацию, которая усугубляет драматизм произведения: жертвой гнева Юрия Долгорукого становится не только боярин Кучка, но и Предслава, возлюбленная князя (ее смерть случайна).

Следует отметить одно интересное обстоятельство, которое вряд ли является простым совпадением: и в цитированной статье Карамзина, и в «Тавриде» основание Москвы — заключительный сюжет (знаменует завершение киевского периода истории Древней Руси).

[61] *Как исполин, Авроры сын... / В пустынях Мемнонийских Нила...* — В древнегреческой мифологии Мемнон — сын Авроры (Эос) и Тифона, царь Эфиопии. В Фивах ему был выстроен храм, по названию которого вся западная часть города стала именоваться Мемнония. Одна из двух колоссальных фигур, украшавших Фивы, считалась изображением Мемнона. Поврежденная во время землетрясения, эта статуя издавала на рассвете звук, который воспринимался как приветствие Мемнона своей матери, богине утренней зари.

Этот мифологический сюжет особенно привлекал Муравьева: Мемнон упоминается в его эпической поэме «Потоп» (*Муравьев А. Н.* Потоп. Эпическая

поэма / Публ. Н. А. Хохловой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 2000. М., 2001. С. 35).

[62] *Сын Мономаха, Долгорукий...* — Юрий (Георгий) Владимирович Долгорукий (1090?—1157), сын Владимира Мономаха. Еще ребенком (ок. 1093) был отправлен с братом Мстиславом княжить в Ростов. В 1117 г. стал править единолично. С 1149 г. включился в борьбу за великокняжеский киевский стол, которым ему удалось овладеть в 1155 г. Но два года спустя внезапно скончался (после пира у киевского боярина Петрилы). Именно при Юрии Ростово-Суздальская земля из далекой необжитой окраины превратилась в авторитетное и сильное княжество.

[63] *И на брегах Москвы-реки, / В селеньи Кучкове унылом...* — Стефан Иванович Кучка — подлинных сведений о нем не сохранилось; в летописях упоминаются лишь Аким Кучкович и Петр — «Кучков зять», участвовавший в заговоре против Андрея Боголюбского. Имя Кучки долго сохранялось в названиях местностей Суздальской и Московской земель.

[64] *С тобой, прелестная Предслава...* — Предслава — вымышленный персонаж. Имя Предслава встречается в «Повести временных лет»: дочь кн. Владимира Святославича (от Рогнеды).

[65] *Иду я выгнать Изяслава...* — Изяслав (Пантелеймон) Мстиславич (1096—1154) — сын Мстислава Владимировича, внук Владимира Мономаха. Княжил в Курске, Полоцке, Переяславле Русском, Турове, Владимире Волынском. В августе 1146 г. был приглашен киевлянами на великокняжеский стол и оставался на нем до своей смерти, хотя Юрий Долгорукий дважды оспаривал у него Киев.

ОПЫТЫ В СТИХАХ

Поэтический сборник «Опыты в стихах» сохранился в рукописи (РГИА. Ф. 1088 (С. Д. Шереметева). Оп. 2. № 865). Представляет собой авторизованную писарскую копию. Некоторые элементы внешнего оформления позволяют предположить, что рукопись готовилась к печати: титульный лист аккуратно сшитой самодельной тетради заполнен рукой автора; на нем, помимо названия, выставлены даты создания отдельных произведений (1827, 1828, 1829, 1830), а ниже — год предполагаемого издания (или создания?) данного сборника (1839). Здесь же на титульном листе — эпиграфы к нему.

Единица хранения № 865, кроме «Опытов в стихах», объединяет в себе рукописи еще нескольких произведений Муравьева: эпической поэмы «Потоп» (Л. 18—27 и 52—62), трагедии «Митридат» (Л. 28—50), лирического отрывка «Чувства и мысли Тасса» (Л. 51—51 об.).

«Опыты в стихах» имеют два эпиграфа. Первый из них:

В тот самый час, когда томят печали
Отплывших вдаль и нежит мысль о том,
Как милые их утром провожали...

(*Данте Алигьери*. Божественная комедия. Чистилище (песнь VIII, 1—3). Пер. М. Лозинского).

Второй:

Увы, о Постум, Постум, мчатся быстрые годы!

(*Квинт Гораций Флакк*. Оды. Книга 2. Ода 14, 1—2).

Смерть Данта
(С. 151)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 2—5.

Впервые: «Московский телеграф» (1827. Ч. XV. № 11. С. 106—111).

Варианты:

стк. 3 Которую *давно от бурь себе избрал*
6 Скитавшемуся был... *прими благодаренье*
22 К жестокой родине *любовию горел*
23 И в славе я искал *изгнания* предел
28 И под *купелию принял* венок мой... Где я?
34 Из сердца вырвали! *Нет, нет*, мои страданья
35 Ты облегчил! *Прости!* Не знаешь ты изгнанья
42 Так! ты один *мой* друг! Флоренция, с тобою
45 И в ранний, чуждый гроб *бездомного* свела
47 Не твой певец, не сын! здесь в землю *слягу* я
60 Клянись за весь *твой* род!
68 И скоро вся *сюда* Италия придет
69 Как к свежему ключу, *в нем* черпать вдохновенья
86 Она мне стоила столь *многих, многих* слез
89 Я *сам пролил* в часы подземного свиданья
95 Пройти сквозь Ад и Рай, *живой* в толпе теней

Стихотворение предваряет следующее авторское предисловие: «Дант, изгнанный из своего отечества Флоренции и до сего скитавшийся по Италии, наконец приютился у Гвида Полента, владетеля Равен-

ского, которого дочь Франческа Римини, убитая мужем в объятиях любовника, была воспета Дантом в пятой песни его „Ада". Знаменитый певец умер изгнанником в объятиях великодушного друга своего Полента» (С. 106).

Приведем современную историческую справку, уточняющую данное предисловие: «Франческа да Римини была дочерью Гвидо да Полента старшего, синьора Равенны. Ее выдали замуж ок. 1275 г. по политическим расчетам за Джанчотто Малатеста, синьора Римини, хромого и уродливого. Она влюбилась в Паоло, красивого брата мужа. Синьор Римини убил обоих влюбленных (между 1283 и 1286 гг.). Как известно, Данте провел последние годы жизни в Равенне, в которой в это время правил Гвидо Новелло да Полента, племянник Франчески. Франческа — первая душа, заговорившая с Данте в Аду» (*Данте Алигьери*. Божественная комедия / Пер. М. Лозинского. Изд. подгот. И. Н. Голенищев-Кутузов. М., 1967. С. 502—503). Любовь и гибель Франчески да Римини составляет один из известнейших сюжетов о влюбленных в мировой литературе.

Муравьев перечитывал «Божественную комедию» Данте в марте-апреле 1827 г. Впечатления от чтения отразились в письмах В. А. Муханову от 6 марта и 24 апреля (см. наст. изд.). В последнем упоминается «трагическая сцена» «Смерть Данта», которая, по мнению поэта, из недавно написанного вышла «всего удачнее» (здесь же пересказан ее сюжет). Это дает основания к уточнению датировки комментируемого произведения: март-апрель 1827 г. К лету 1827 г. относится замысел трагедии «Жизнь Тасса, или Судьба поэта» (не осуществлен).

[1] *Как солон хлеб чужой и как крута дорога / На чуждое крыльцо!* — Цитата из «Божественной комедии» Данте (Рай. Песнь XVII, стих 58).

Публикации: Русская беседа. Собр. соч. русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина. СПб., 1841. Т. 1. (пагинация в книге отсутствует; подпись — парафраз: «Сочинение автора „Путешествия к Святым местам"»); Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 126—130; В царстве муз: Московский литературный салон Зинаиды Волконской 1824—1829 гг. М., 1987. С. 345—349.

В словаре G. Vapereau «Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et les pays étrangers» (Paris, 1870. P. 1315), содержащем библиографию сочинений Муравьева, «Смерть Данта» упоминается как «un essai de drame Dante» (имеется в виду публикация 1841 г.).

Италия

(С. 159)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 5 об.

Впервые: Московский телеграф. 1827. Ч. XV. № 10. С. 60. (Без разночтений (кроме пунктуации) с публикуемым текстом. По ошибке отсутствует строфическое деление между заключительными терцетами).

В письме В. А. Муханову от 24 апреля 1827 г. Муравьев сообщает, что стихотворение написано под впечатлением от чтения Данте; здесь же приведен его текст (см. наст. изд.). В последующих письмах

(от 2 и 15 мая 1827 г.) речь идет о публикации. По всей видимости, именно В. А. Муханов передал сонет П. А. Вяземскому для помещения в «Московский телеграф». Нельзя исключать также и влияние салона З. Волконской с его культом итальянизма. Так, стихотворение Д. В. Веневитинова «Италия» было посвящено хозяйке салона (написано в ноябре-декабре 1827 г.); тематически оно перекликается с комментируемым произведением.

Впоследствии Муравьев включил «Италию» (без названия и без двух заключительных стихов) в новеллу «Вечер в Петергофе» (Московский наблюдатель. 1835. Ч. II. Кн. 1, июнь. С. 493—500; стихотворение: С. 496—497). В ней описывается прогулка по Петергофу с близким другом, «С.....й» (С. Н. Сулимой, воспитанником Школы колонновожатых, полковым товарищем Муравьева в русско-турецкую войну 1828—1829 гг.). Тема Италии здесь — воображаемая: «„Если тебе непременно хочется вообразить, что ты на помории Неаполя, то вот для тебя и Везувий", — сказал я моему другу, указывая ему на солнце, которое садилось в груду багровых облаков...» (С. 496).

В 1845 г. Муравьев совершил путешествие в Рим, которое запечатлел в «Римских письмах» (Т. 1—2. СПб., 1846). В предисловии он, в частности, писал: «Рим — великолепное кладбище, по которому ходят тени минувших веков и еще владычествуют над живущим поколением» (С. 4). Эта мысль, ставшая лейтмотивом «Римских писем», получила поэтическое воплощение в завершающем книгу сонете «Италия» (Ч. 2. С. 392). Текст его изменен; заключительная часть представляет собой своего рода ответ на риторические

вопросы, содержавшиеся в первоначальной редакции стихотворения. Последние терцеты звучат так:

И вот он, Рим! — в потоке лет
Сбылись мечты мои златые;
Но в Риме стерся Рима след!

Лишь тени там, и те немые!
Былому отголоска нет, —
В гробах, о Рим, твои живые!

Тема былого величия и нынешнего упадка «великого города» принадлежит к популярным историософским темам первой трети XIX в. С ней корреспондируют «гимны» Италии, традиционно включавшие обращение поэта к дивному краю, описание его природы и мечту посетить его (Боратынский Е. А. «Рим» (1821), «Небо Италии, небо Торквата...» (1843?); Веневитинов Д. В. «Италия» (1826); Шевырев С. П. «К Риму» (1829); Бахтурин К. А. «Рим» (1836?) и др.). См.: Образ Рима в русской литературе: Международный сборник научных работ. Рим; Самара, 2001.

Цареградская обедня
(С. 161)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 6—8 об.

Автограф: так называемый «московский» альбом (ИРЛИ. Р. I. Оп. 42. № 9. Л. 3—5), 1830-е гг. (без названия, без первых 8 строф). См. описание альбома: *Вацуро В. Э.* Литературные альбомы в со-

брании Пушкинского Дома (1750—1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 53.

Варианты:

стк. 53 *Задернув завесу*, вступил на амвон
61 Внимайте! внимайте! — в тот *день* роковой
72 И *пали завеси* пред сонм янычар!
88 И чуждые *рабства, гоненья*
92 *Кровавые* смерти заветы
101 И сонм одноверцев *ворвется* в сей храм
107 *Отчизна! — все ужасы, все на тебя*
108 *Обрушат!* — и первою жертвою — я!

Впервые: Русский зритель. 1828. № 1 и 2. С. 70—74.

Варианты:

стк. 6 *Н*о старец младенцу речами грозил:
11 Мой сын! — не *укроешь* от гнева судьбы
22 Младенцу *отверзнутся* двери
30 *Вдруг дверь отворилась* — его не видать!
37 *Есть старец — развенчанный наш Патриарх,*
38 *Нисшедший с Вселенского трона*
40 *Он — верный блюститель закона*
48 И влажные *очи* вперил на алтарь.
55 *Григорий — в священном восторге стоит*
61 Внимайте! внимайте! — В тот *день* роковой
73 Я первый содвинул завесу *с веков*
81 И два Архирея над *телом живым*
92 *Кровавые* смерти заветы

99 *Падет с Оттоман* Константинов венец
101 И сонм одноверцев *очистит* сей храм
102 И *вождь* Христиан прикоснется *дверям*!
107 *Отчизна! Все ужасы, все на тебя*
108 *Обрушат!* — и первою жертвою — я!

Без подписи, с авторским предисловием: «В Бессарабии мне рассказывали греки сие предание о малолетнем князе Гике, сыне Господаря Молдавского, и о чудном видении в алтаре Софийского собора последнего Патриарха Григория, сего знаменитого мученика веры, виденном им в последних годах минувшего столетия. Я только передаю то, что слышал» (С. 70).

Имеется в виду Григорий V, патриарх Константинопольский. Возведенный на константинопольский патриарший престол, он дважды вынужден был его оставить и в третий раз занял его в 1818 г. Много заботился об образовании духовенства; издал несколько посланий («слов») Василия Великого и сочинения Аристотеля. Когда началась борьба за независимость Греции и Александр Ипсиланти перешел Прут, турки стали подозревать православное духовенство в измене. Друзья советовали Григорию бежать из Константинополя, но он отказался, выражая готовность умереть для спасения народа. В первый день Пасхи 1821 г. он был низложен; чернь в Константинополе напала на него, избила и тело его в полном облачении повесила на воротах патриархии, а потом бросила в море. Русские моряки нашли его и доставили в Одессу, где оно покоилось до 1871 г., после чего было перенесено в Афины (Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. Т. 1. С. 442).

Образ патриарха Григория очень привлекал Муравьева. В «Путешествии ко Святым местам в 1830 году» он посвятил ему отдельную главу («Смерть Патриарха Григория»), которая представляет собой монолог патриарха. Сюжетно и стилистически он перекликается с монологом из комментируемого стихотворения. Ср.: «Ныне, чрез столько лет ⟨...⟩ я был снова вызван из тишины Афонской; не знаю, что на сей раз готовит мне Провидение? Теперь уже не чуждые, не иноверцы восстали на Порту! Народ мой чрез столько столетий внял наконец гласу свободы! Какая бы участь меня не ожидала, сладко положить душу свою за паству. О, если бы я мог быть единственною только жертвой за благо всех сограждан! О, если бы кровь моя запечатлела их свободу» (*Муравьев А. Н.* Путешествие ко Святым местам в 1830 году. Ч. 1. С. 75).

В «Воспоминании о посещении святыни Московской Государем наследником» (СПб., 1838), вошедшем впоследствии в «Путешествие по Святым местам русским», также упоминается этот легендарный сюжет. Муравьев сопровождал вел. кн. Александра Николаевича, будущего императора Александра II, и его воспитателя, В. А. Жуковского, при осмотре ими церквей и монастырей Москвы. В. А. Жуковский, по-видимому, был знаком с балладой Муравьева: «Речь зашла о Востоке, Царьграде и Св. Софии; Жуковскому хотелось, чтобы Его высочество слышал одно предание под названием „Цареградская обедня": как в самый час завоевания Константинополя Патриарх совершал литургию соборно в храме Софийском, как заключился алтарь пред толпою неверных, ворвавшихся в святилище, и как продолжается доны-

не сия таинственная служба до заветного дня освобождения» (*Муравьев А. Н.* Путешествие по Святым местам русским / Репринтное воспроизведение изд. 1846 г. М., 1990. Ч. 1. С. 164).

Помимо «Цареградской обедни» Муравьев написал «Царьградскую утреню»: «„Царьградская утренння" есть только последствие „Обедни", внушенной мне рассказами суеверных греков...» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 69). Публикатор мемуаров сообщал: «„Кремль", „Царьградская обедня" и „Царьградская утренння" сохранились в рукописи» (Там же. С. 70). В письме А. А. Муханову (датируется предположительно концом 1829 г.) Муравьев сообщал: «Я написал две большие пьесы: „Кремль" (беседы его мертвых царей) и „Царьградскую Утреню" (смерть Патриарха Григория)» (см. наст. изд.). Местонахождение рукописей этих произведений в настоящее время неизвестно.

Историческая основа предания, которое отражено в комментируемом стихотворении, неясна; по-видимому, оно является вариантом одной из наиболее известных христианских легенд: христиане в момент опасности находят спасение в алтаре храма.

[2] *...Софийский алтарь...* — Имеется в виду церковь св. Софии (Премудрости Божией). Построена в Константинополе по заказу императора Византии Юстиниана I в 532—537 гг. Одно из лучших творений византийской архитектуры. С момента завоевания Константинополя турками (1453 г.) и доныне — мечеть.

[3] *Ты, Ходжия...* — Ходжия (тур. ходжа) — наименование лица, получившего образование в медре-

се. «Духовная особа у турок» — примеч. Муравьева к публ. стихотворения в журнале «Русский зритель».

[4] *Так стража седого Князь Гика просил...* — Гика (Gihka) — албанский княжеский род, известный с XVII в. К нему принадлежали многие молдавские и валахские господари (господарь — титул правителей Дунайских княжеств Молдавии и Валахии в XIV—XIX вв.).

[5] *Тех дней Патриарх...* — Имеется в виду Константинопольский патриарх (до турецкого завоевания) Григорий III Мамм (1443—1450). В 1450 г. покинул Константинополь; умер в 1459 г.

[6] *Стоит над дарами, внимая Символ.* — Здесь и далее описание обрядов, совершаемых во время литургии.

[7] *И сонм одноверцев проникнет в сей храм, / И Царь Россиян прикоснется к вратам!* — Вскоре после завоевания Константинополя среди покоренных христиан возникла легенда о том, что город будет освобожден «русыми» (т. е. русскими).

Кремль

(С. 167)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 9—10.

Публикуется впервые.

Стихотворение начато в 1827 г., окончено летом 1828 г. в Шумле (во время русско-турецкой войны). «...Окончил, — писал Муравьев, — начатую мною пьесу в Москве „Кремль". Прогулка с друзьями в прекрасную лунную ночь по нашему величавому

Капитолию внушила мне сию фантасмагорию» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 69). Публикатор мемуаров свидетельствовал о том, что «стихотворение сохранилось в рукописи» (Там же. С. 70); в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Фрагмент стихотворения («Другой хор из собора») включен Муравьевым в «Путешествие по Святым местам русским» (гл. «Валаам») в следующем контексте: «Расставаясь на той грани, где для них кончается мир, я подумал, как суетны и жалки должны мы были казаться сим отшельникам, которые могли сказать о себе:

Моря житейского шумные волны...» (и т. д.)

(*Муравьев А. Н.* Путешествие по Святым местам русским / Репринтное воспроизведение изд. 1846 г. М., 1990. Ч. 1. С. 147—148).

«Хор дев на теремах», в котором девы выступают в образе русалок, тесно перекликается с «песней русалок» из стихотворения «Русалки» («Таврида»). Здесь также использован «фольклорный» метр — четырехстопный хорей.

Тадмор

(С. 170)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 10 об.—11 об.

Автограф: в письме А. А. Муханову б/д (конец 1829?) с незначительной правкой и авторским приме-

чанием: «Тадмор — иначе Пальмира» (см. наст. изд.).

Впервые: Альциона. Альманах на 1832 год / Издан бароном Розеном. СПб., 1832. С. 9—10. Подпись: Олег (псевдоним Муравьева).

[8] *...пустынный Тадмор...* — Тадмор (т. е. «город пальм») — арамейское название древнего города Пальмира (столица государства Пальмирена) в северо-восточной Сирии. Расцвет Пальмиры приходится на I—III в. н. э. В этот период ее правители не только претендовали на независимость от Римской империи, но, расширяя пределы своего государства, даже стремились подчинить себе Рим. К 270 г. войска правительницы Пальмиры, Зенобии, завоевали Египет; подчинили себе Малую Азию и всю Сирию. С огромным трудом римлянам удалось взять Пальмиру (III в. н. э.); город был ими разрушен (История Востока. Т. I. Восток в древности. М., 1997. С. 576). «Наконец, будучи еще раз разрушен арабами в 744 г., город превратился в жалкое селение, в течение многих веков не обращавшее на себя внимание образованного мира. Только в 1678 г. английский негоциант Галифакс нашел труднодоступные развалины Пальмиры; в 1751—1753 гг. они были впервые исследованы и описаны Вудом и Девкинсом» (*Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А.* Энциклопедический словарь. СПб., 1897. Т. 22(а). С. 654). Муравьев мог быть знаком с этим богато иллюстрированным описанием: *Wood R.* Les ruins de Palmyre. (Londres, 1753; 2-е изд.: Paris, 1819).

В XIX в. Тадмор являл собой бедную сирийскую деревню, знаменитую развалинами памятников древнеримской архитектуры. Ныне — город Тадмор.

[9] *Разбитыми дивный столбами...* — Имеется в виду одна из главных достопримечательностей Пальмиры: от древнего храма Солнца «чрез весь город, на протяжении 1135 м тянулась дорога, обставленная четырьмя рядами колонн. ⟨...⟩ Всего их было 1400, т. е. по 375 в каждом ряду. Хотя из этого множества колонн до настоящего времени устояло не больше 150, однако длинная перспектива образуемых ими аллей производит на зрителя грандиозное, неизгладимое впечатление» (*Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А.* Энциклопедический словарь. СПб., 1897. Т. 22(а). С. 655).

[10] *...он бел... / Как белые кости в разрытых гробах.* — В данном случае образное выражение не исключает и прямого смысла высказывания. Возможно, подразумевается еще одна достопримечательность Пальмиры — городской некрополь «с многочисленными погребальными пещерами и шестьюдесятью фамильными усыпальницами, сложенными в виде башен из огромных тесаных камней» (Там же).

[11] *Джьяур!..* — Гяур (кафир) — «неверный», т. е. христианин.

[12] *...Царь Соломон... / Водил он трепещущий демонов сонм.* — Согласно Ветхому Завету, город был основан царем Соломоном (2 Пар. 8, 4) как стратегический оплот северо-восточных границ его государства. По одной из многочисленных легенд о Соломоне, царь «владел чудесным перстнем („Соломонова печать»), с помощью которого он укрощал демонов и покорил даже их главу Асмодея ⟨...⟩ Возгордившийся своей властью над духами Соломон был наказан: Асмодей „забросил" его в дальнюю землю, а сам принял образ Соломона и правил в Иерусали-

ме. Соломон это время должен был скитаться, искупая свою гордость ⟨...⟩ Раскаявшийся Соломон был возвращен на царство, а оборотень исчез...» (Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1988. Т. 2. С. 460). Муравьев существенно интерпретировал эту легенду.

Тадмор упоминается в его «Путешествии ко Святым местам в 1830 году» (Ч. 2. Гл. «Вифания») в следующем контексте: путешественник (Муравьев) издали обозревает Иерусалим — «очаровательное и вместе грозное зрелище Св. Града» и пытается выразить «то необыкновенное волнение, которое овладело духом, когда в одном великом зрелище предстали мне оба Завета: все пророчества Ветхого и их дивное событие в Новом...» Далее следует беглая, суггестивная картина смены ветхозаветной эпохи новозаветной, начинающаяся так: «На высоте Мории недостает жрецов для бесчисленных жертв, псалмы гремят в дыму благоуханий, слава Иеговы потрясает исполненный ею притвор храма, и царство Соломона во всем своем блеске, Тадмор и Офир — его дальние грани» (*Муравьев А. Н.* Путешествие ко Святым местам в 1830 году. СПб., 1832. Ч. 2. С. 153—155).

Богомолец

(С. 172)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 12—13 об.

Список: в альбоме А. Д. Абамелек-Лазаревой (ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. № 181. Л. 59—59 об., рукой неустановленного лица).

Впервые: Московский телеграф. 1830. Ч. 31. № 3. С. 314—316. Под названием «Прощальная песнь Паломника» (в других публикациях — «Паломник») с указанием даты и места создания: «4 декабря 1829 года. Бургас».

Стихотворение написано по окончании русско-турецкой войны, накануне поездки по Святым местам; посвящено С. Н. Сулиме. Из воспоминаний С. Н. Сулимы: «Мы встретились опять уже в 1829 году, за Балканами, в Адрианополе и в ноябре того же года в Румелии, в г. Бургасе, где на прощание он мне написал романс „Паломник" и где я его проводил на корабль» (*Сулима* С. Андрей Николаевич Муравьев // Русский архив. 1876. Кн. 2. № 7. С. 354).

«Богомолец» принадлежит к числу наиболее известных произведений Муравьева. Стихотворение сыграло заметную роль в его творческой и личной судьбе. В примечании к первой публикации Н. А. Полевой впервые наметил образ Муравьева-паломника: «Юный Поэт, когда смолкли громы брани на полях Румелии, испросил себе позволение отправиться в Иерусалим, чтобы провести там Святую неделю. Он теперь уже в пути. Стихотворение, здесь предлагаемое, писано им перед самым отъездом» (С. 314—315). Впоследствии образ благочестивого юного поэта, уже закрепившийся в сознании публики, воспроизвел Пушкин: «Во время переговоров, среди торжествующего нашего стана, в виду смятенного Константинополя, один молодой поэт думал о ключах св. храма, о Иерусалиме, ныне забытом христианскою Европою для суетных развалин Парфенона и Ликея. Ему представилась возможность исполнить давнее желание сердца, любимую мечту отроче-

ства» (*Пушкин А. С.* «Путешествие к Св. местам» А. Н. Муравьева // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 217).

Публикация стихотворения «Богомолец» была своего рода вступлением к последовавшему вскоре изданию «Путешествия ко Святым местам в 1830 году», получившему самый благожелательный отклик и заложившему основы писательской известности Муравьева. В 1835 г. (?) стихотворение было положено на музыку А. А. Алябьевым. Романс написан композитором в оренбургской ссылке и посвящен Ф. Н. Корфу.

[13] *Где в перси Божиих дворян...* — Божии дворяне — крестоносцы.

[14] *Вперялись стрелы Агарян...* — Агаряне — согласно Библии, потомки Измаила, сына Агари; жили в восточной части Палестины. Здесь — в значении «иноверцы», «враги христианства».

[15] *Меня ждет пальма богомольца!* — С пальмовыми ветвями и восклицаниями «Осанна!» («Спасение!») встречали Иисуса Христа при его въезде в Иерусалим. Аналог пальмы на Руси — верба. Русские паломники (изначально «пальмовники») приносили из путешествий в Палестину пальмовые ветви, с которыми слушали заутреню в Вербное воскресенье. О пальмовых ветвях, принесенных Муравьевым, и стихотворении М. Ю. Лермонтова «Ветка Палестины» см.: *Хохлова Н. А.* Андрей Николаевич Муравьев — литератор. СПб., 2001. С. 196—204.

Публикации: *Надеждин Н. И.* Русские путешественники к Св. местам // Картины русской живописи / Изд. под ред. Н. В. Кукольника. СПб., 1846.

С. 227; *Сулима С.* Андрей Николаевич Муравьев // Русский архив. 1876. Кн. 2. № 7. С. 354—355; *Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 82—83.

Иосафатова долина
(С. 175)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 13 об.—14.

Впервые: Московский наблюдатель. 1835. Ч. 2. Кн. 1, июнь. С. 500 (в качестве концовки новеллы «Вечер в Петергофе», в которой описывается прогулка с С. Н. Сулимой; см. коммент. к стихотворению «Италия»). Стихотворению предшествует монолог автора, обращенный к С. Н. Сулиме: «Помнишь ли тот романс „Паломник", который тогда (перед отъездом в Иерусалим. — *Н. Х.*) я написал тебе в самую минуту разлуки? Теперь же, когда речь зашла о прошедшем 〈...〉 позволь по праву посвятить тебе и последние стихи, внушенные мне зрелищем Св. града на горе Элеонской, над Иосафатовой долиной, в самый день моего отъезда из Иерусалима. Пусть будут твоими начаток и конец моего вдохновения в Св. земле, которой и ты желал пламенно достигнуть» (С. 499).

Сюжет стихотворения восходит к двум непосредственно связанным между собой библейским пророчествам. Первые четыре стиха — к пророчеству Иезекииля о восстании мертвых, обретении ими плоти и духа (Иез. 37, 1—10), последующие — об Иосафатовой долине как месте грядущего Страшно-

го суда (Иоил. 3, 2). В «Путешествии ко Святым местам в 1830 году» описанию Иосафатовой долины Муравьев посвятил отдельную главу. Последовательность использования библейских сюжетов и их трактовка здесь абсолютно аналогичны. Концовка главы представляет собой прямую параллель к комментируемому стихотворению, вплоть до текстуальных совпадений: «Пораженный мыслью о грядущем событии сего дивного видения, блуждал я по сумраку безжизненной ныне Юдоли Плача, обреченной поприщу последнего суда, и грустно воображал, как воспрянут в ней и в целом мире сей общей юдоли плача осудившие и отвергшие Христа с поздним ужасом о своей слепоте!.. Но дотоле все еще дышало настоящею смертью на дне Иосафатовой долины; самый Кедрон, лишенный вод своих, причелся к мертвым. Ничего земного уже не оставалось для исполнения судеб ее; дни и годы сыпались в нее как в бездну; она втеснилась в сердце гор Иудейских, как бы чуждая миру расселина, чуждая до последнего его часа; ибо из стольких будущих для мира дней, один лишь ей остался Судный день!..» (*Муравьев А. Н.* Путешествие ко Святым местам в 1830 году. СПб., 1832. Ч. 1. С. 297—298).

[16] *Иосафатова долина*, иначе Кедронская (по названию реки), находится между Иерусалимом и Масличной горой. Здесь располагалось древнее еврейское кладбище. Относительно происхождения его названия существуют две версии. Согласно одной, на этом кладбище был похоронен Иосафат, согласно другой, — здесь он одержал победу над моавитянами (II Пар. 20, 14—24). Иосафат — царь Иудеи в 914—889 гг. до н. э., почитаемый как праведник (3 Цар. 22; 2 Пар. 17, 17 и далее).

[17] *Кедрон в числе умерших!..* — Кедрон — река (или ручей), отделяющий гору Елеонскую (расположена у восточных стен Иерусалима) от самого города. Наполнялся водой только в период сильных дождей; в остальное время года русло Кедрона оставалось сухим.

Публикация: Ветка Палестины: Стихи русских поэтов об Иерусалиме и Палестине / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Б. Н. Романова. М., 1993. С. 60.

«Ночная мгла град облегла...»

(С. 176)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 14.

Впервые: Современник. 1836. Т. 4. С. 230—231 (в составе новеллы «Вечер в Царском Селе»).

Вошло в драму «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине» (написана в 1827 г., впервые опубл.: Киев, 1874) в качестве монолога рыцаря Манфреда (действие 2, явл. 1).

[18] *Безмолвие в стенах Сиона...* — Сион (и Мория) — названия холмов, на которых был построен Иерусалим. В переносном смысле Сионом называли и Иерусалимский храм, и сам Священный город (Муравьев использовал последнее значение).

[19] *Плачевного ручья Кедрона.* — То есть ручья, протекающего по Иосафатовой долине (иначе — Юдоли Плача). См. примеч. к стихотворению «Иосафатова долина».

Ханская ловля

(С. 177)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 14 об.—16.

Публикуется впервые.

[20] *Клокочущий Терек... / ...проглочен песками...* — Терек — река на Северном Кавказе. По выходе из гор местами распадается на рукава и протоки.

[21] *...Горный Див, жаждой крови томим, / Стоит, полузверь-полуптица, над ним!* — В славянской мифологии Див — фантастический зверь с крыльями и птичьей головой (от «диво» и «дикий»). Этот образ, по-видимому, восходит к античному грифону («собака Зевса», посредник между богами и людьми, небом и землей). Одна из его функций, привнесенная собственно славянской мифологией, — охранение растительного и животного мира — в данном случае использована как смыслообразующая. Новацией Муравьева является определение «горный».

Песнь пленницы

(С. 180)

Печ. по: «Опыты в стихах». Л. 16 об.—17.

Публикуется впервые.

Образ главной героини, по рождению принадлежавшей к «царскому дому», а ныне пленницы и прорицательницы, решен в фольклорно-мифологическом духе. С какой именно исторической реальностью поэт

соотносит изображаемое, неясно. Признаком жанра (песнь) является кольцевая композиция стихотворения.

[22] *...птица неясыть...* — Неясыти — род птиц отряда совиных. Согласно толкованию В. И. Даля, «вид пугача, филина», «сказочная, прожорливая, ненасытная птица» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1935. Т. 2. С. 560).

ОТЗЫВЫ КРИТИКИ О «ТАВРИДЕ»

Е. Баратынский.
«Таврида» А. Муравьева.

Впервые: Московский телеграф. 1827. Ч. XIII. № 4. С. 325—331. (Здесь же в отделе «Библиография» (С. 337) сообщение о выходе «Тавриды»; основное внимание в нем уделено структуре сборника. Составитель отдела — Н. А. Полевой).

Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт. По свидетельствам современников, Боратынский предпочитал высказывать свои литературно-критические суждения приватно — в беседах и письмах. Данная рецензия — единственная опубликованная им; о мотивах публикации см. нашу статью в наст. изд. (Известны еще два критических выступления поэта, важные для понимания его литературно-эстетической позиции, но не относящиеся собственно к жанру рецензии: предисловие

к отдельному изданию поэмы «Наложница» (1831) и «Антикритика» (1831) — ответ Н. И. Надеждину, выступившему с отрицательной оценкой поэмы.)

Исключительное значение рецензии на «Тавриду» определяется тем, что она «содержит ряд высказываний, существенно необходимых для понимания творческой практики самого Баратынского» (*Баратынский Е. А.* Стихотворения, поэмы, проза, письма / Вступ. ст. К. Пигарева; примеч. О. Муратовой и К. Пигарева. М., 1951. С. 594). Специфика последней подробно раскрыта, в частности, Л. Я. Гинзбург в связи с анализом так называемой школы «гармонической точности»: «В своем самоопределении художника Баратынский выдвигал три момента: простоту, мысль 〈...〉, своеобразие 〈...〉. Декларация самобытности для Баратынского очень важна. 〈...〉 Гармоническая точность поэтики устойчивых стилей была прежде всего лексической точностью; в каждом данном случае требовалось найти слово самой подходящей стилистической тональности. 〈...〉 Душевный опыт, сжатый в „вечных" формах традиционной символики, из которой удалено все, кроме самого существенного, — вот *простота*, как ее понимал Баратынский 20-х годов» (*Гинзбург Л. Я.* О лирике. М.: Интрада, 1997. С. 73—75).

Попытка анализа рецензии принадлежит Г. Хетсо. Исследуя эстетические воззрения поэта, он писал о нем как о литературном критике: «В своих критических суждениях Баратынский, как правило, был необычайно строг... 〈...〉 Прежде всего он был непримиримым противником всякой неясности и несамостоятельности. Неизменно подчеркивая и превознося

идеал ясности и оригинальности, поэт занимал особую, промежуточную между классицизмом и романтизмом позицию. С одной стороны, он с детских лет усвоил требование французского классицизма о *clarté** ⟨...⟩ с другой стороны, едва ли кто из русских поэтов, кроме Баратынского, так последовательно и строго придерживался требования романтиков об оригинальности. ⟨...⟩ Несомненное выделение Баратынским требования о ясности и оригинальности особенно отчетливо проступает в его единственной критической работе, рецензии на сборник стихов А. Муравьева „Таврида"» (*Хетсо Г.* Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Oslo; Bergen; Tromsö, 1973. С. 426—427). (Подчеркивание и курсив в цитате Г. Хетсо.)

Боратынский критиковал Муравьева с позиций школы «гармонической точности». Между тем тот принадлежал уже к иному поколению поэтов, которые постепенно отходили от принципа логической точности и абсолютной стилистической уместности каждого слова. Нарушая его, они строили образ на более обширном текстовом пространстве: в пределах синтагмы или даже строфы. Их задачей было создать образ-символ, при этом в самом лексическом материале, его построении допускались отступления от правил «гармонической точности».

Муравьев крайне болезненно воспринял рецензию. Более того, согласно позднейшему признанию, она сыграла решающую роль в его творческой судьбе — заставила обратиться к прозе. Известны три его отклика на рецензию. Первый по времени — в

---

* Ясность (*фр.*) (примеч. составителя).

письме В. А. Муханову от 18 марта 1827 г. (см. наст. изд.).

Второй — в первой части «Моих воспоминаний» (написана в период с 30 апреля по 2 мая 1827 г., то есть вскоре после опубликования рецензии): «Напечатав „Тавриду" и легкие мои стихотворения, я, по обыкновению, подвергся критикам и злым языкам» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 65).

Третий — в поздних мемуарах «Знакомство с русскими поэтами»: «Весьма горько было для моего авторского самолюбия, когда весною в деревне в одном из журналов Московских прочел я критический разбор моей книжки, хотя и довольно снисходительный, но, как мне тогда казалось, слишком строгий. Безымянную сию критику написал мой приятель поэт Баратынский, оттого и не было ничего оскорбительного в его суждениях, но для молодого писателя это был жестокий удар при самом начале литературного поприща, который решил меня обратиться к прозе» (*Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 14). Здесь же рассказано о знакомстве с поэтом, состоявшемся в конце 1826—начале 1827 г. (С. 10).

В цитатах из сборника «Таврида» Боратынский часто не соблюдает пунктуацию автора, вводя свою собственную. Иногда он нарушает и некоторые другие особенности авторского правописания (например, употребление прописных букв).

М. П. ⟨*Погодин М. П.*⟩.
«Таврида» А. Муравьева.

Опубл.: Московский вестник. 1827. Ч. 2. № 6. С. 181—183.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — прозаик, драматург, публицист, историк. Издатель журналов «Московский вестник» и «Москвитянин». Муравьев был знаком с М. П. Погодиным по кружку С. Е. Раича и любомудров. Из всех любомудров именно с ним он поддерживал отношения до конца своей жизни.

Бо́льшая часть рецензии — это антикритика на рецензию Боратынского. Ю. Н. Тынянов видел в ней элементы литературной борьбы: «Насколько значащим молодым явлением казался Муравьев во время лирического разброда, доказывает отзыв Баратынского и полемика с Баратынским Погодина. ⟨...⟩ В лагере любомудров не согласились с самыми основами отзыва» (*Тынянов Ю. Н.* Пушкин и Тютчев // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 174—175). (Печатным органом любомудров был издаваемый М. П. Погодиным журнал «Московский вестник».) Следует учитывать и иные мотивы борьбы. В этом же номере журнала «Московский вестник» (С. 124) Погодин по настоянию Пушкина вынужден был опубликовать эпиграмму на Муравьева «Из Антологии» (подробнее о ней см. нашу статью в наст. изд.). Возможно, антикритика на рецензию Боратынского была своего рода реваншем, который любомудры (в лице Погодина) пытались взять у пушкинского

круга (в данном случае его представлял Боратынский).

Автор неопубликованного «разбора», о котором говорится вначале, предположительно — С. А. Соболевский. 6 марта 1827 г. Муравьев писал В. А. Муханову: «...ожидаю с нетерпением критики Баратынского и брани Соболевского...» (текст письма см. в наст. изд.).

[1] *...при издании его трагедий.* — Это единственное — важное само по себе — упоминание об издательских планах Муравьева-драматурга ценно еще и как свидетельство посвященности в них М. П. Погодина, возможной только при довольно близком творческом контакте. О планах издания каких именно трагедий идет речь, неизвестно.

В последнем абзаце М. П. Погодин неточно цитирует Боратынского.

[*П. И. Шаликов*]. «Таврида» А. Муравьева.

Опубл.: Дамский журнал. 1827. Ч. 18. № 7. С. 47—50. Без подписи; автор, по-видимому, П. И. Шаликов.

Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852) — поэт, переводчик, журналист, издатель «Дамского журнала» (1823—1833).

В рецензии допущены фактические ошибки. Неверно указан объем первой части «Тавриды» (правильно: 68 стр.) и общее количество строф (правильно: 107). В цитатах из «Тавриды» автор рецензии не всегда соблюдает авторскую пунктуацию; до-

пускает искажение текста (в цитате из стихотворения «Орианда» нарушена последовательность стихов 5—8); опускает строфическое деление в стихотворении «Голос сына».

[1] *Картина, достойная Легуве!* — Легуве (Legouvé) Габриель Мари Жан Батист (1764—1812), французский поэт и драматург, член Французской академии. Один из преромантических французских элегиков. Наиболее известное произведение — поэма «Достоинство женщин» («Mérite des femmes», 1801).

О. Сомов. Обзор российской словесности за 1827 год. [Фрагмент].

Опубл.: Северные цветы на 1828 год. СПб., 1827. С. 38.

Сомов Орест Михайлович (1793—1833) — писатель, критик, журналист. Данный «Обзор» — первый из тех критико-библиографических обзоров, которые в дальнейшем он регулярно помещал в альманахе «Северные цветы» (в выпусках на 1829—1831 гг.).

[1] *...с выполнением условия, предложенного выше...* — Отсылка к следующему месту из разбора поэмы А. И. Подолинского «Див и Пери», предшествующему разбору «Тавриды»: «С такими верными залогами и с внимательностью к советам благонамеренной критики сочинитель сей поэмы, конечно, может оправдать самые лестные надежды...» (Там же).

Н. Маркевич. Украинские мелодии. [Фрагмент].

Опубл.: Маркевич Н. Украинские мелодии. М., 1831. С. 129—131.

Маркевич Николай Андреевич (1804—1860) — поэт, мемуарист, историк Украины, фольклорист, этнограф. «Украинские мелодии» — его наиболее значительный поэтический сборник. Содержит оригинальные произведения, написанные в духе и на темы украинских народных песен. Сборник снабжен предисловием и обширными примечаниями, в состав которых входит и публикуемый фрагмент. Тема «русалок» представлена в «Украинских мелодиях» широко: помимо стихотворения «Русалки» имеется «каталог» всех русалочьих «действ».

См. коммент. к стихотворению «Русалки» в наст. изд.

[*А. В. Никитенко*]. Обозрение деятельности Второго отделения Императорской Академии наук. [Фрагмент].

Опубл.: Журнал Министерства народного просвещения. 1875. Ч. 178 (апрель). С. 93—94.

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877) — мемуарист, историк литературы, журналист, цензор.

Публикуемый отзыв о «Тавриде» представляет собой фрагмент некролога Муравьева, который в чис-

ле других некрологов, посвященных памяти членов Второго отделения, умерших в 1874 г., был помещен А. В. Никитенко в «Обозрении...» (с 1837 г. Муравьев — действительный член Российской академии наук, а впоследствии академик). Данный некролог заметно выступает за рамки жанра и представляет собой обширную статью академического толка, в которой впервые дана всесторонняя взвешенная характеристика личности и творчества Муравьева. Рассмотрены все периоды его литературной деятельности, в том числе и ранний, поэтический, при этом впервые заявлено о необходимости его изучения.

Примечательно, что общая оценка, данная А. В. Никитенко поэзии Муравьева, перекликается с автооценкой, содержащейся в письме Муравьева В. А. Муханову от 6 марта 1827 г.: «... моя поэзия не была ль одним минутным огнем души пылкой, которая, высказав все, что ее волновало, — умолкла до новых потрясений, и может быть надолго!» (см. наст. изд.).

По-видимому, мнение А. В. Никитенко о Муравьеве претерпело существенную эволюцию. Известен его ранний, очень резкий отзыв о поэте в связи с литературным скандалом, поводом к которому послужила публикация стихотворения В. Гюго «Красавице» в переводе М. Деларю (Библиотека для чтения. 1834. № 12), вызвавшая нарекания Синода. А. В. Никитенко, цензор этого номера, был посажен на гауптвахту. Его суждения в этой связи о Муравьеве, чиновнике Синода и выразителе мнения духовенства (именно он обратился с жалобой к Николаю I), см.: *Никитенко А. В.* Дневник. Л., 1955. Т. 1. С. 165.

«ВОКРУГ „ТАВРИДЫ"»: ПИСЬМА А. Н. МУРАВЬЕВА А. А. МУХАНОВУ, В. А. МУХАНОВУ И М. П. ПОГОДИНУ

Публикуемые письма в основном относятся к 1826—1828 гг. В них в равной степени отразились события личной и творческой биографии Муравьева периода создания, выхода в свет и формирования литературной репутации «Тавриды». Его служебная карьера в это время складывалась неровно: он колебался в выборе между военной и статской службой. 27 ноября 1826 г. Муравьев писал брату, Н. Н. Муравьеву-Карскому: «...я получил на днях отпуск до 16 марта — хотел бы до того времени на что-нибудь решиться. Боюсь, чтоб между тем не кончилась Персидская война» (ОПИ ГИМ. Ф. 254. № 351. Л. 119 об.). Весной 1827 г. он подал прошение об отставке, решив все-таки перейти в статскую службу. Однако это было сделано слишком поздно, отставка «не вышла», и в мае 1827 г. Муравьев вынужден был возвратиться в полк (расквартированный в местечке Лысинка Звенигородского уезда Киевской губернии). Осенью 1827 г., когда были одержаны решительные победы в ходе русско-персидской войны, он неожиданно получил отставку: «Все мечты мои мне изменили; меня разочаровала отставка, которая, будучи подана весною и совсем забыта, как бы назло вышла в сие мгновение. Как изобразить мою досаду и огорчение; все мои планы рушились» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 67). Планы же заключались в том, чтобы участвовать в войне в качестве ординарца

главнокомандующего Второй армией гр. П. Х. Витгенштейна (Муравьев завоевал особое расположение как самого фельдмаршала, так и членов его семьи: «Супруга фельдмаршала любила меня как сына, и часто я живал в их прекрасном поместье Каменке на живописных берегах Днепра» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Там же. 1895. Т. 36. № 12. С. 597)).

3 сентября 1827 г. он был «уволен от службы с повышением чина для определения к статским делам» (из формулярного списка: РГИА. Ф. 469. Оп. 1. Д. 254. Л. 894) и период с ноября 1827 г. по апрель 1828 г. (условно «второй московский») провел в Москве и подмосковном имении Александровском. К этому времени относятся его письма к М. П. Погодину.

В конце мая 1828 г. он покинул Москву и отправился в главную квартиру Второй армии. Долгожданное назначение состоялось: 10 августа Муравьев был определен в ведомство Коллегии иностранных дел с причислением к дипломатической канцелярии гр. П. Х. Витгенштейна. Именно в этом качестве он участвовал в русско-турецкой войне (1828—1829). По ее окончании, в самом конце 1829 г., он отправился в путешествие по Святым местам.

В творческом плане, как уже отмечалось в нашей статье в настоящем издании, особенно продуктивным оказался более ранний период — с октября 1826 г. по август 1827 г., который Муравьев, будучи в отпуске, провел в Москве и Александровском (условно — «первый московский»). Он был отмечен многочисленными знакомствами, в том числе с В. А. Мухановым, М. П. Погодиным, Е. А. Боратынским, кн. З. А. Волконской, П. А. Вяземским,

А. С. Пушкиным и др.; первыми публикациями (в альманахе «Северная лира», «Московском телеграфе»), выходом поэтического сборника «Таврида». Именно к этому времени относятся практически все его письма братьям Мухановым. Местонахождение ответных писем неизвестно.

Письма Александру Алексеевичу Муханову

Автографы: ОПИ ГИМ. Ф. 117 (Мухановых). № 34. Л. 30—38.

Публикуются впервые.

Муханов Александр Алексеевич (1800—1834), адъютант гр. А. А. Закревского (1823—1825 гг.) и главнокомандующего Второй армии гр. П. Х. Витгенштейна (с 1826 г.), участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг., литератор, автор дневника. Известен своими дружескими связями с А. С. Пушкиным, А. С. Грибоедовым, Е. А. Боратынским, П. А. Вяземским, Д. В. Давыдовым, А. А. Бестужевым и др. Старший брат Николая Алексеевича и Владимира Алексеевича Мухановых.

По-видимому, его знакомство с Муравьевым произошло в тульчинском офицерском кругу в 1826 г., хотя могло состояться и раньше, так как Муравьев приходился свояком братьям Мухановым (его родной брат, Александр Николаевич Муравьев, был женат на Прасковье Михайловне Шаховской, сестре Валентина Михайловича Шаховского. Последний же состоял в браке с Елизаветой Александровной Мухановой, сестрой Петра Александровича Муханова, который приходился двоюродным братом А. А. и В. А. Муха-

новым). К тому же Павел и Петр Александровичи Мухановы закончили Школу колонновожатых (выпуск 1816 г.).

22 августа 1826 г. А. А. Муханов писал из Тульчина брату Николаю: «Что не говоришь ты мне ничего про Прасковью Михайловну (Муравьеву. — *Н. Х.*) ⟨...⟩ Я нашел здесь ее деверя Андрея Муравьева; он отличный малый и крайне примечательный; ты в сентябре увидишь его в Москве, и с отъездом его отсюда я теряю лучшего, единственного моего здесь собеседника. Ему 21 год: учености, начитанности невероятной; прибавь к этому отличный ум с пламенным воображением, с необычайною чувствительностью и это все в оболочке ребяческой или, лучше сказать, женской; наружность прелестная!» (Щукинский сборник. М., 1905. Вып. 4. С. 110).

1

Письмо от 20 октября 1826 г. (на фр. яз.)

Перевод:*

Александровское. 20 октября 1826

Прости, дорогой Муханов, что я не писал тебе до сего дня: как только приехал, я выполнил твои поручения касательно брата, но у меня не было настроения писать, и даже сейчас я берусь за перо скрепя сердце. Никогда в жизни я не был так грустен, как после моего приезда в Москву; я взирал на все то, что мне было когда-то дорого, с полнейшим безразличием, я не умел радоваться этому как прежде, и до сего дня

* Перевод составителя.

я не могу объяснить себе ту глубокую грусть, которая сопровождает меня повсюду. Она удвоилась с моим переездом в деревню. В тех местах, где проходило мое детство, столь веселое, столь яркое, один и без той толпы друзей, которая меня некогда окружала,[1] я не могу сдержать охватившее меня горестное чувство, которое мучило меня тем сильнее, поскольку мне приходилось скрывать его от людей моего отца. Ты можешь представить, что значит это утаивание для существа, подобного мне, возбужденного горячностью чувств и сильных ощущений, которые терзают меня, между тем как я не могу их подавить в себе или скрыть; это бесконечное нравственное мучение; слава Богу, я покидаю послезавтра деревню и водворюсь в Москве, где у меня по крайней мере будут какие-нибудь развлечения и меньше воспоминаний. Я столь откровенен с тобой, поскольку ты меня понимаешь, другой посмеялся бы над моей слабостью, а это действительно слабость; но разве моя вина, что Небу угодно было создать меня таким и вложить пылающий огнь в мое сердце, который будет меня сжигать.

Венчайте ранними цветами
Чело певца;
Он тронул мощными струнами
Друзей сердца!
Но кипарис пускай вплетется
В его венок;
Своим он пламенем сожжется,
Он жить не мог!

Что сказать тебе о моей трагедии?[2] Она понравилась всем, Рогнеду находят великолепной, а Вла-

димира слабым; это действительно так, но виной тому — история; я еду в Москву, чтобы немного подправить ее по части стихов и чтобы сочинить музыку к хорам.

Если придет мое жалованье за четыре месяца, поеду в Петербург; пожалуйста, ускорь его, если ты это можешь из Тульчина — этим ты меня бесконечно обяжешь. Между прочим, я отдал несколько пьес в новый альманах, который появится к новому году;[3] меня заставляют печатать «Тавриду» и не понимают необъятность «Потопа»; они в нем утонули.[4] Тем не менее несколько человек его оценили и просят меня его продолжать; но Раич предпочел «Тавриду»; я надеялся, что он не столь мелочен; вообрази: в трагедии он скорее думает о стихах, чем о характерах, и вода потопа ускользнула от его уст, как от танталовых;[5] однако я не жалуюсь на то, как принимают мои стихотворения: ко мне приходили каждый вечер и заставляли меня столько читать, что у меня начинала болеть грудь. До сего дня я не занимался поэзией; я написал здесь только небольшую балладу на народный сюжет — «Перекати-поле», она очень оригинальна, я ее тебе как-нибудь пошлю,[6] сейчас мне лень ее переписывать; все это время я читал только «Айвенго»[7] — это может показать тебе, в каком расположении духа я нахожусь; я желаю, чтобы оно прошло как можно быстрее, поскольку я чувствую себя совершенно подавленным. Пока что я снова примусь за свой старый сюжет — Тивериадскую битву и намереваюсь написать эту трагедию,[8] поскольку у меня есть источники, чтобы ее завершить; я хочу прочитать Мишо[9] и «Путешествие по Сирии».[10] «Айвенго» пробудил у меня сильнейший интерес к крестовым

походам; отчего не живем мы в эти счастливые времена, когда на своем боевом коне с крестом в руке отправлялись сражаться за Палестину! Если мне не дано жить тогда, то я хочу их воспеть и погрузиться на несколько месяцев в прекрасные мечтания об этих славных временах:

И душа моя улетит во звуках!

Довольно, я наскучил тебе избытком трагического, но ты меня довольно знаешь, чтобы простить мне печать безумия, которым дышит мое письмо; прощай, думай о твоем друге, который тебя нежно любит.

Твой

А. Муравьев.

Передай привет Колошину;[11] я ему очень признателен за то, что он судит обо мне иначе, чем другие.

Нашел ли ты часы, которые потерял вечером в день моего отъезда? (Приписка на полях. — *Н. Х.*).

[1] Ближайшее дружеское окружение Муравьева в детские и отроческие годы составляли учащиеся Школы колонновожатых, основанной в 1816 г. его отцом, генерал-майором Н. Н. Муравьевым. Занятия проходили в собственном доме Муравьевых в Москве на Б. Дмитровке. Летом учащиеся отправлялись в лагерь, расквартированный в имении Александровское (Осташево). Среди выпускников Школы были: П. А. Муханов, А. Ф. Вельтман, Н. И. Тютчев, Н. В. Басаргин, Н. В. Путята, С. Н. Сулима и др. Несмотря на существенную разницу в возрасте, Муравьев был дружен со многими воспитанниками, а потому прекращение деятельности «домашнего» училища воспринял как

личную драму: «Наконец, зимой в 1823 году корпус колонновожатых был переведен в Петербург, и с ним вместе исчезло все, что делало мне отрадною семейную жизнь. Не хочу описывать горьких минут разлуки; они раздирали мою душу: вдруг расторглись все мои связи, и я остался одиноким в каком-то холодном, равнодушном мире» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 59).

[2] Имеется в виду трагедия «Владимир» (варианты названия, встречающиеся в мемуарах Муравьева: «Владимир и Рогнеда», «Рогнеда», «Владимир, или Взятие Корсуни»). Об истории ее создания и публикации см. коммент. к стихотворению «Развалины Корсуни». Обстоятельства завершения работы над трагедией, начатой в 1825 г., раскрыты в «Моих воспоминаниях»: «Наконец я снова приехал в Тульчин. Там нашел я М......а (А. А. Муханов. — *Н. Х.*), он первый меня понял и постиг „Потоп", возбуждал меня написать что-нибудь русское, и я ему в удовольствие предпринял трагедию „Владимир". Данный мною обет сильно действовал на мое воображение, и через три недели я принес ему конченную трагедию. Но я ослабел физически от сильных нравственных порывов. Все принимали меня за сумасшедшего, когда я писал трагедию, потому что я скрывал это от всех, с кем жил, но беспрестанное волнение и переменявшиеся краски лица моего изобличали во мне необыкновенное чувство. Я разрешил их загадку, прочитав всю трагедию, и уехал в Москву» (*Муравьев А. Н.* Мои воспоминания // Там же. 1895. № 5. С. 64). Стихотворение «Венчайте ранними цветами...» было написано по окончании работы над трагедией (см. письмо В. А. Муханову от 10 апреля 1827 г.).

[3] Северная лира на 1827 год [Альманах С. Е. Раича и Д. П. Ознобишина]. М., 1827. Здесь были опубликованы пять произведений Муравьева: «Воззвание к Днепру», «Русалки (Песнь Баяна)», «Бакчисарай (Отрывок из описательной поэмы «Таврида»)», «В Персию!», «Ермак».

[4] Имеется в виду эпическая поэма А. Н. Муравьева «Потоп».

[5] Тантал — герой одного из известнейших греческих мифов. Будучи любимцем богов, удостоился великой чести для смертного — посещать их собрания на Олимпе. Возгордившись, Тантал оскорбил богов: разглашал людям их тайные решения, похищал со стола нектар и амброзию, за что был низвергнут в Аид, где подвергся мукам жажды и голода. Стоя в воде, он не мог напиться — вода отступала; ветви с плодами отодвигались, когда он протягивал к ним руку («танталовы муки»).

[6] См. стихотворение в наст. изд.

[7] Роман Вальтера Скотта «Айвенго» (1820).

[8] Драма «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине» была написана в 1826—1827 гг.; поставлена в 1832 г. в Александринском театре в Петербурге.

[9] Мишо Ж.-Ф. (1767—1839), известный французский историк. Очевидно, речь идет о его «Истории крестовых походов» (Histoire des croisades. Paris, 1813—1822. Vol. 1—5).

[10] Какое именно путешествие Муравьев имеет в виду, неизвестно. В 1820-х гг. появились следующие сочинения: *Burckhardt Y. L.* Travels in Syria and the Holy Land. London, 1822; *Volney C. F.* Voyage en Egypte et en Syrie. Paris, 1823.

[11] Кого именно из Колошиных Муравьев имел в виду, вряд ли возможно установить. Согласно генеалогическим сведениям (Сиверс А. А. Поколенная роспись Колошиных (ОР СПб. Института истории РАН. Ф. 121. № 184, тетр. 10. Л. 167 об.— 169)), а также исходя из предполагаемых биографических данных: возраст, причастность к военной службе, дружеские связи с А. А. Мухановым и Муравьевым, следует признать, что речь может идти об одном из братьев Колошиных: Петре Ивановиче (1794—1848) или Павле Ивановиче (1799—1854). Муравьев знал их обоих по Школе колонновожатых, но лишь с первым связь была поистине дружеской (см. коммент. к стихотворению «Эскимосы»). Знакомство бр. Мухановых с бр. Колошиными, по-видимому, тоже следует связывать со Школой колонновожатых.

Не поддается однозначному толкованию ситуативный смысл просьбы Муравьева: просит ли он А. А. Муханова передать привет Колошину устно (следовательно, тот в это время служит вместе с ним во Второй армии) или письменно? Последнее предположение, если исходить из обстоятельств биографий братьев Колошиных, более вероятно. Петр Иванович Колошин, имея воинский чин (офицер Генерального штаба, преподаватель и помощник начальника Школы колонновожатых), непосредственно в действующей армии не служил, а в 1825 г. вообще перешел на статскую службу. Служебная биография Павла Ивановича Колошина была непродолжительна (1812—1824; в военной службе — до 1823 г.) и тоже в основном связана с Генеральным штабом (офицер с 1815 г.). Известно также, что он служил

в Первой армии в Могилеве (1821 г.). По делу декабристов был арестован и до июля 1826 г. находился в Петропавловской крепости. Затем отставлен от службы с запрещением въезда в столицы (жил в своем имении Смольново во Владимирской губ.).

Существует надежный документ, указывающий на то, что знакомство Муравьева с одним из братьев Колошиных продолжилось уже во Второй армии, в так называемом обществе Главной квартиры: Н. В. Басаргин в своих «Записках» (1856) в числе его членов называет Колошина (не указывая имени) и сообщает в примечании, повествующем о «судьбе всех этих лиц в настоящее время»: «Колошин умер» (*Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 52). В 1820 г. общество Главной квартиры уже существовало. «К нему принадлежали адъютанты главнокомандующего (П. Х. Витгенштейна. — *Н. Х.*), начальника Главного штаба (П. Д. Киселева. — *Н. Х.*) и прочих генералов, офицеры Генерального штаба и несколько статских чиновников» (Там же. С. 51). Размышляя о том, кого именно из братьев Колошиных имел в виду Н. В. Басаргин, следует отдать предпочтение Павлу Ивановичу: он был офицером Генерального штаба, в 1821 г. служил в действующей армии, наконец, был, по собственному признанию, «издавна по службе и по жительству вместе в Петербурге» дружен с И. Г. Бурцовым (в 1820-х гг. — адъютант П. Д. Киселева) (Колошин П. И. Автобиографическая записка. Цит. по: *Гастфрейнд Н. А.* Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому лицею... СПб., 1912. С. 214).

Муравьев вступил в службу и познакомился с тульчинским офицерским кругом в 1823 г. А значит,

мог еще встретить в нем П. И. Колошина. Следовательно, есть основания полагать, что он просит своего сослуживца А. А. Муханова передать привет именно ему. Но, во-первых, Колошин уже два года, как не служит, во-вторых, недавно выпущенный из-под ареста живет в своем имении под тайным надзором. Поэтому более вероятной представляется другая версия. Очевидно, речь все-таки идет об эпистолярном общении. Петр Иванович Колошин, прекрасно знавший Муравьева, сообщил нечто лестное о нем А. А. Муханову. Тот в одном из писем передал этот отзыв самому Муравьеву. Последний, в свою очередь, в знак благодарности просит передать привет своему давнему знакомцу.

2

Письмо от 1 декабря 1826 г.

[1] От Владимира Алексеевича Муханова.

[2] *Jean.* — Двоюродный брат Александра Алексеевича Муханова, Муханов Иван Иванович (1804—1828).

[3] *...ожидают на весну новой кампании — брат меня туда зовет...* — Старший брат Муравьева, Н. Н. Муравьев-Карский с 1816 г. служил на Кавказе под начальством А. П. Ермолова (в 1830 г. из-за разногласий с И. Ф. Паскевичем покинул Кавказ; в 1854 г. назначен командующим отдельным Кавказским корпусом, в 1855—1856 гг. — наместник на Кавказе). Участвовал в русско-персидской войне 1826—1828 гг. (в 1828 г. получил звание генерал-майора). Планы перевода на Кавказ под начало брата

составляют основное содержание писем к нему Муравьева 1826 г. (см. также коммент. к стихотворению «В Персию!»).

[4] Стихотворения «Перекати-поле», «Стихии», «Певец и Ольга» вошли в «Тавриду». «Байкал», «Трубадур», «Локоны» остались неопубликованными; местонахождение рукописей неизвестно.

[5] Стихотворение вошло в «Тавриду». Муравьев приводит его начало; текст полностью совпадает с публикацией (см. наст. изд.).

[6] Имеется в виду стихотворение «Голос сына», вошедшее в «Тавриду» (см. наст. изд.).

[7] *...моя трагедия ходит по рукам.* — Трагедия Муравьева «Владимир» стала известна в Москве в октябре 1826 г. Судя, например, по дневниковым записям М. П. Погодина, она действительно имела успех. Однако после знакомства литературных кругов Москвы с «Борисом Годуновым» (знаменитые чтения Пушкина своей драмы в сентябре—октябре 1826 г.) была фактически забыта. Приведем записи Погодина по публикации В. Э. Вацуро.

4—8 октября: «Слуш.⟨ал⟩ Мур.⟨авьева⟩ „Влади.⟨мира⟩". И от истории в трагед.⟨ию⟩. Талант».

9 октября: «Слуш.⟨ал⟩ Мур.⟨авьева⟩ и был в восхищении: „Тень Ерм.⟨ака⟩", „К Волге", „Новг.⟨ород⟩" и „Потоп". Каково! Путешествовать. Он начал рифмы в Тавриде. С Шев.⟨ыревым⟩ перебрал все пиесы. Он ночевал у меня».

11 октября: «Заезжал к Мур.⟨авьеву⟩ и слушал еще „Влад⟨имира⟩"» (*Вацуро В. Э.* Пушкин в московских литературных кружках середины 1820-х годов (Эпиграмма на А. Н. Муравьева) // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 144—145).

[8] Стихотворение вошло в «Тавриду». Текст полностью совпадает с публикацией.

[9] Будберг Александр Иванович, барон (1796—1876), генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Закончил Школу колонновожатых (выпуск 1820 г.). В 1823 г. зачислен в Харьковский драгунский полк; в 1826 г. переведен ротмистром в лейб-гвардии Гусарский полк. Общий знакомый Муравьева и А. А. Муханова по Главной квартире Второй армии (Тульчин): назван Н. В. Басаргиным в числе участников так называемого общества Главной квартиры (*Басаргин Н. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 52). Упоминания о нем неоднократно встречаются и в письмах А. А. Муханова к В. А. Муханову (например: Щукинский сборник. Вып. 3. М., 1904. С. 185).

3

Письмо от 10 августа 1827 г.

[1] Замысел трагедии остался неосуществленным. О восприятии Муравьевым поэзии Т. Тассо см. коммент. к стихотворению «Уныние» в наст. изд.

[2] Знакомство Муравьева с кн. П. А. Вяземским относится к зиме 1826/27 гг. (Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 10). В первые годы существования журнала «Московский телеграф» (1825—1827) П. А. Вяземский — один из его ведущих сотрудников. Сонет «Италия» был передан ему В. А. Мухановым (см. письмо Муравьева В. А. Муханову от 15 мая 1827 г. в наст. изд.). «Италия» и «Смерть Данта» были опубликованы

в двух ближайших номерах журнала (1827. Ч. XV. № 10 и № 11 соответственно).

[3] *...мое почтение графине.* — Имеется в виду супруга главнокомандующего Второй армией, генерал-фельдмаршала гр. П. Х. Витгенштейна Антуанетта Станиславовна Витгенштейн (урожд. Снарская; 1779—1855).

[4] *Кланяйся Жеребцову...* — Нам удалось обнаружить лишь одно упоминание об этом лице. П. Д. Киселев в письме от 27 декабря 1825 г. начальнику Генерального штаба И. И. Дибичу, сообщая из Тульчина о положении «бунтовщиков», в постскриптуме по поводу только что полученного ордера на арест Раевских уведомлял о том, кто будет их сопровождать: «...j'expédierai le capitaine Gerébtzoff, aide-de-camp du général-en-chef» («...я направлю капитана Жеребцова, адъютанта главнокомандующего (П. Х. Витгенштейна. — *Н. Х.*)») (*Заблоцкий-Десятовский А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Ч. 4. С. 36). Может быть, имеется в виду Жеребцов Алексей Михайлович (1797—1851), впоследствии генерал-майор.

4

Письмо от 23 августа 1827 г.

[1] *...поход переменяет все мои намерения...* — Имеется в виду русско-турецкая война 1828—1829 гг. Начавшиеся приготовления к ней изменили решение Муравьева покинуть военную службу.

[2] *С сею же почтою я пишу к графине...* — Графиня — см. примеч. 3 к письму 3 от 10 августа 1827 г.

[3] *...помещения моего в ординарцы к графу.* — Имеется в виду гр. П. Х. Витгенштейн.

[4] *Я прошу Жеребцов.⟨ых⟩...* — См. примеч. 4 к письму 3 от 10 августа 1827 г.

5

Письмо без даты

Написано предположительно в конце 1829 г.

Начало письма, по-видимому, отсутствует.

[1] Стихотворение вошло в сборник «Опыты в стихах» (см. наст. изд.).

[2] См. коммент. к стихотворению «Цареградская обедня», вошёдшее в наст. изд.

[3] Перевод Корана на французский язык был выполнен дипломатом и востоковедом Андре дю Рие (1580?—1669?): L'Alcoran de Mahomet. Traduit d'arabe par André du Ryer... Paris, 1647. Этот перевод, который не вполне удовлетворял научным требованиям, допускал сокращения и вольности при передаче текста, тем не менее вызвал живейший интерес. За короткий срок он был переиздан пять раз (в Париже), затем переведен в Англии (1688), Голландии (1698), позднее в Германии и, наконец, в России (*Резван Е. А.* Коран и его мир. СПб., 2001. С. 365). Очевидно, под рукой у Муравьева оказалось одно из французских изданий, в котором в краткой вступительной статье излагалось предание о Магомете.

[4] Имеется в виду следующее издание: «Ал-Коран Магомедов, переведенный с арабского языка на английский, с приобщением к каждой главе на все тем-

ные места изъяснительных и исторических примечаний ⟨...⟩ Георгием Сейлем, и с присовокуплением обстоятельного и подробного описания жизни лжепророка Магомеда, сочиненного славным доктором Придо. С английского на российской перевел Алексей Колмаков» (Ч. 1—2. СПб., 1792).

[5] *Ты блаженствуешь в Бухаресте, а мы страдаем часто холодом.* — После окончания русско-турецкой войны и занятия русскими войсками княжеств Молдавии и Валахии А. А. Муханов оставался на военной службе и выполнял поручение командования, связанные с наведением порядка в крае, а в 1830 г. был назначен членом Молдавского исполнительного Дивана. Из письма А. А. Муханова братьям от 30 декабря 1829 г. следует, что в Бухаресте он находится с лета 1829 г. (Дневники и письма Александра Алексеевича Муханова // Щукинский сборник. Вып. 3. М., 1904. С. 199—200). На этом основании комментируемое письмо предположительно датируется концом 1829 г. (Очевидно, Муравьев противопоставляет жизнь А. А. Муханова на зимних квартирах в Бухаресте походным условиям, в которых он сам в это время находился.)

Письма Владимиру Алексеевичу Муханову

Автографы: ОПИ ГИМ. Ф. 117. № 205. Л. 106—125.

Впервые: Щукинский сборник. Вып. 5. М., 1906. С. 249—258 (автор публикации не указан, комментарии отсутствуют). Мы исключили письмо от 30 августа 1830 г., так как оно относится к другому пе-

риоду творческой биографии Муравьева и посвящено работе над «Путешествием ко Святым местам в 1830 году».

Муханов Владимир Алексеевич (1805—1876), переводчик Московского архива министерства иностранных дел, камер-юнкер, автор дневника, в котором отразилась история его знакомства с А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, А. С. Хомяковым и др.

1

Письмо от 6 марта 1827 г.

[1] *Вчера я принужден был по просьбе Шаховских описать берега Лены...* — Очевидно, имеются в виду супруги Шаховские, Валентин Михайлович и Елизавета Александровна (о родстве Муравьевых—Шаховских—Мухановых см. выше вступительную заметку к письмам А. А. Муханову), предложившие Муравьеву написать стихи на заданную тему. Можно предположить, что «заказные стихи», о которых Муравьев упоминает чуть ниже, предназначались декабристам — Александру Николаевичу Муравьеву или Петру Александровичу Муханову. Поселения, располагавшиеся на берегах реки Лены, в том числе г. Якутск, были местом ссылки многих декабристов, в частности, Ал. Н. Муравьева. Он был женат на сестре В. М. Шаховского, Прасковье Михайловне, которая последовала за мужем в Сибирь. Супруги Шаховские принимали деятельное участие как в их судьбе, так и в судьбе П. А. Муханова, брата Елизаветы Александровны (урожд. Мухановой), поддерживая с ним переписку.

В лице Муравьева Шаховские видели не только родственника, но и единомышленника — именно поэтому они могли обратиться к нему с просьбой о стихах. В отличие от старших братьев (Михаил Николаевич Муравьев отрекся от родственников и друзей-декабристов, а Николай Николаевич писал им редко) Муравьев поддерживал с братом-декабристом постоянную переписку. Александр Николаевич Муравьев признавался в письме Н. Н. Муравьеву от 8 декабря 1828 г.: «Ко мне никто не пишет, кроме Андрея, который славный малый» (*Муравьев А. Н.* Сочинения и письма. Иркутск, 1986. С. 290).

В конце ноября 1826 г. Ал. Н. Муравьев был переведен из Якутска в Верхнеудинск (из письма Муравьева Н. Н. Муравьеву от 27 ноября 1826 г.: «Я думаю, тебя уже известил батюшка, что Государь Император был столь милостив, что переменил место пребывания брату Александру вместо Якутска в город Верхнеудинск, по ту сторону Байкала, только за 300 верст от Иркутска...» (ОПИ ГИМ. Ф. 254. № 351. Л. 119 об.)). Вскоре последовал и перевод в Иркутск; 13 апреля 1828 г. Ал. Н. Муравьев был назначен иркутским городничим.

[2] *Verri.* — Верри Алессандро (1741—1816), итальянский писатель и драматург, автор романов «Приключения Сафо, митиленской поэтессы» (1782), «Жизнь Герострата» (1793; опубл.: 1815), «Римские ночи у гробницы Сципионов» (1792). «Римские ночи» принесли автору наибольшую известность и были переведены в начале XIX в. на многие европейские языки. Романам А. Верри свойственно характерное для итальянского предромантизма сочетание кладбищенских и религиозных мотивов.

[3] В переводе М. Л. Лозинского соответствующее место из «Божественной комедии» Данте Алигьери звучит так:

Когда я стал у поднятой плиты,
В ногах могилы, мертвый, глянув строго,
Спросил надменно: «Чей потомок ты?»

(Ад. X, 40—43)

Род Алигьери по традиции принадлежал к сторонникам партии гвельфов, существовавшей в Италии в XII—XV вв. Вместе с папством она выступала против попыток германских императоров и поддерживавшей их партии гибеллинов утвердить свое господство на Апеннинском полуострове. Главой флорентийских гибеллинов был Фарината дельи Уберти (?—1264). Таким образом, для Данте он — политический враг. Тем не менее его яркая индивидуальность и величественная гордость вызывали у поэта сдержанную почтительность. Фарината — один из главных персонажей шестого круга «Ада».

[4] *...теперь я начал читать огромную историю Sismondi...* — Сисмонди Жан Шарль Леонар Симонд де (1773—1842), швейцарский историк и экономист. Имеется в виду его сочинение: Histoire des républiques italiennes du moyen âge: Vol. 1—16. Zürich; Paris, 1807—1818.

[5] В публикации в «Щукинском сборнике» название стихотворения приведено неверно: «Рустикам» (С. 250).

[6] *Ожидаю... брани Соболевского...* — См. коммент. к рецензии М. П. Погодина на «Тавриду» в наст. изд.

[7] *Скажи мне, кто был критиком... там подписано Ас. Б.* — Имеется в виду рецензия на альманах «Северная лира» П. А. Вяземского (Московский телеграф. 1827. Ч. XIII. № 3. С. 239—246 (в ряду нескольких рецензий на альманахи 1827 г.)). Подписана псевдонимом Ас. Б.

2

Письмо от 12 марта 1827 г.

[1] *...мне очень жаль отца Идеаме...* — О ком идет речь, установить не удалось.

[2] *О смерти Апраксина...* — Апраксин Степан Степанович (1757—1827), граф, генерал от кавалерии. Известный московский театрал и меломан. Содержал итальянскую оперную труппу. После его кончины «оперные спектакли Волконской ⟨...⟩ заполняют эту лакуну музыкальной жизни Москвы» (*Сайкина Н. В.* Московский литературный салон княгини Зинаиды Волконской. М., 2005. С. 255).

[3] *...но кто сей князь Волконский?* — Очевидно, имеется в виду Волконский Петр Алексеевич (1759—1827), бригадир, автор мемуаров «У французов в московском плену 1812 года. Замечания действий французов, вошедших в Москву...» (Русский архив. 1905. Кн. 3. № 11. С. 351—359). Волконский Петр Михайлович, светлейший князь, министр Императорского двора скончался в 1852 г.

[4] *Я опять начал продолжать «Потоп»...* — Имеется в виду эпическая поэма Муравьева «Потоп».

[5] Любимым творением Франческо Петрарки была эпическая поэма «Африка» (1342). Написана на

старой латыни; осталась незавершенной. Посвящена войне Рима с Карфагеном; центральный герой поэмы — римский полководец Сципион Африканский. Принято считать, что одной из причин неудачи произведения явился избранный поэтом жанр эпической поэмы, архаичный для эпохи Ренессанса. В этом смысле сравнение Муравьева справедливо: для русской литературы 1820-х гг. эпическая поэма тоже была изжитым явлением.

[6] «И если это останки, то останки Архангела» (*фр.*). Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт. Автор знаменитой поэмы «Потерянный рай» (1667). В этой поэме, отмеченной печатью богоборчества, Адам и Ева становятся лишь поводом для размышлений о противостоянии Бога и Сатаны. Сатана Мильтона, которого он называет «падшим херувимом», бунтует против единоличной власти Бога. Судя по цитируемой строке из поэмы, Муравьев был знаком не с английским оригиналом, а с французским переводом поэмы.

3

Письмо от 18 марта 1827 г.

[1] *Я не согласен с тобой... насчет критики Боратынского.* — Имеется в виду рецензия Е. А. Боратынского на «Тавриду» (см. наст. изд.).

[2] См. примеч. 6 к письму 1 Владимиру Алексеевичу Муханову.

4

Письмо от 10 апреля 1827 г.

[1] *...также и последнюю его пьесу «Поэт и друг».* — С Д. В. Веневитиновым (1805—1827) Муравьев был знаком лично, о чем свидетельствует запись в дневнике М. П. Погодина от 10 октября 1826 г.: «...Слуш.⟨ал⟩ Мур.⟨авьева⟩ „Тавриду". Прекрасно! Познакомил его с Венев.⟨итиновым⟩. Славный малый» (цит. по: *Вацуро В. Э.* Пушкин в московских литературных кружках середины 1820-х годов (Эпиграмма на А. Н. Муравьева) // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 145). Возможно, это была их единственная встреча, так как в ноябре 1826 г. Веневитинов отправился в Петербург к новому месту службы. Свидетельством его интереса к творчеству Муравьева являются письма из Петербурга С. А. Соболевскому (от 14 дек.) и сестре Софье (от 16 дек.), в которых содержится полемика по поводу неких стихов Муравьева (*Веневитинов Д. В.* Стихотворения. Проза / Изд. подгот. Е. А. Маймин и М. А. Чернышев. М., 1980. С. 372, 374—375). По предположению Н. В. Сайкиной, стихотворение Веневитинова «Люби питомца вдохновенья...», написанное в конце февраля—начале марта 1827 г. (так называемые «Последние стихи»), «возможно, связано с А. Н. Муравьевым, утвердившимся в салоне Волконской и в кругу „Московского вестника"» (*Сайкина Н. В.* Московский литературный салон княгини Зинаиды Волконской. М., 2005. С. 258).

15 марта 1827 г. Веневитинов безвременно скончался (в Москве известие о кончине было получено

19 марта). Известно множество откликов — эпистолярных и поэтических — на эту трагическую смерть (прежде всего они исходили из круга «Московского вестника», так как журнал был основан по инициативе Веневитинова и его друзей). Публикация стихотворения «Поэт и друг» (Московский вестник. 1827. Ч. 2. № 7. С. 217—220), о котором упоминает Муравьев, сопровождалась следующими строками: «Горькими слезами омочили мы сие стихотворение. Незабвенный друг наш чудесным образом предрек свою судьбу. Через неделю после отправления к нам из Петербурга „Элегии" он (на 22-м году от роду) занемог нервической горячкою, которая в 8 дней низвела его в могилу. Как знал он жизнь! Как мало жил! Оставшиеся сочинения его показывают, чего ожидать от него должны были науки и отечество. Друзьям его — не иметь уже полного счастья».

Письмо Муравьева может быть включено в круг уже известных эпистолярных откликов на это трагическое событие.

Что касается «стихов Туманского», упоминаемых Муравьевым, вероятно, В. А. Муханов прислал ему текст еще не опубликованного стихотворения В. И. Туманского «В память Веневитинова» (впервые: Московский вестник. 1827. Ч. 3. № 12. С. 318). Стихотворение Веневитинова «Три розы» было опубликовано в альманахе «Северные цветы на 1827 год» (СПб., 1827. С. 229—230; вышел в свет 25—27 марта); «Завещание» — в первом посмертном издании (*Веневитинов Д.* Сочинения. Ч. 1: Стихотворения. М., 1829. С. 53—55). Таким образом, письмо Муравьева лишний раз свидетельствует о широком распространении еще не публиковавшихся произведений поэта.

В «Знакомстве с русскими поэтами» Веневитинов упоминается по ходу рассказа о салоне З. А. Волконской (*Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 12—13).

[2] См. примеч. 2 к письму 1 Муравьева А. А. Муханову от 20 октября 1826 г.

[3] *...в духе Саади.* — Саади (1203/1210—1292) — персидский поэт, религиозный мыслитель, автор стихов, посланий (рисале), поэмы «Бустан» и ставшего знаменитым сборника притчей в прозе и стихах «Гулистан» (1258).

[4] *Теперь его нам должен заменить Хомяков...* — Хомяков А. С. (1804—1860) — религиозный философ, поэт, писатель, публицист, один из основоположников славянофильства. Муравьев утверждал, что познакомился с А. С. Хомяковым «в Турецкую кампанию, то есть в исходе 1828 года» (письмо М. П. Погодину от 9 октября 1870 г. РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. № 246. Л. 16). «Мы с ним очень сошлись во время кампании по его благородному и кроткому характеру, и долго поддерживалась взаимная наша связь в Москве, когда уже он был во всей поэтической своей славе; но славянофильское его направление несколько нас разделило, так как я не сочувствовал слишком резкому его направлению и не всегда соглашался с его богословскими взглядами, в которых, мне тогда казалось, что не было достаточно церковных оснований, хотя все было совершенно православно» (*Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. С. 15—16).

[5] Имеется в виду первое посмертное издание, на которое мы ссылались выше: «В апреле 1827 г., сразу же после смерти Веневитинова, началась практическая

подготовка к выпуску в свет его произведений. Первая из задуманных книг вышла в 1829 г. Она включала стихотворные произведения Веневитинова. Большая часть их до того не печаталась, и публикация делалась по рукописям» (*Маймин Е. А.* Дмитрий Веневитинов и его литературное наследие // Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза / Изд. подгот. Е. А. Маймин, М. А. Чернышев. М., 1980. С. 457).

[6] *...мне, право, тебе нечего дать.* — Муравьев обыгрывает сюжет библейского сказания о потопе и далее рассказывает о своей работе над одноименной эпической поэмой.

[7] *...принялся за Данта, читаю его «Чистилище»...* — Речь идет о второй части поэмы «Божественная комедия» — «Чистилище». Поэма Данте получила широкую известность в России только в пушкинское время.

[8] О какой именно переводческой работе упоминает Муравьев, установить не удалось.

[9] «Хоры Перуну» опубл.: Московский телеграф. 1827. № 8. С. 154—156.

[10] *...кланяйся своим ветрогонам...* — то есть брату Александру Алексеевичу и двоюродному брату Ивану Ивановичу Мухановым.

5

Письмо от 24 апреля 1827 г.

[1] Стихотворения «Реки» и «Песнь Байкалу» не были опубликованы; местонахождение автографов неизвестно. Возможно, «Песнь Байкалу» наряду со стихотворением, посвященным описанию реки Лены

(см. примеч. 1 к письму В. А. Муханову от 6 марта 1827 г.), имеет отношение к декабристской тематике.

[2] См. примеч. 32 к стихотворению «Кучук-Ламбат».

[3] *...послал... две книжки графине Витгенштейн и Киселеву.* — Витгенштейн Антуанетта Станиславовна, супруга генерал-фельдмаршала П. Х. Витгенштейна; Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788—1872) — участник Отечественной войны, с 1819 г. начальник Главной квартиры Второй армии; впоследствии — министр государственных имуществ, русский посол в Париже. Муравьевы состояли в дальнем родстве с Киселевыми. Отец Муравьева, подыскивая место службы для сына, учитывал и это обстоятельство. Известны четыре его письма П. Д. Киселеву 1823—1827 гг. с изъявлениями благодарности за «обязательное попечение» и покровительство, которые тот оказывает сыну (ИРЛИ. Ф. 143 (в обработке)).

[4] *Дядя.* — Можно предположить, что Муравьев имел в виду двоюродного дядю по материнской линии, Мордвинова Николая Семеновича (1754—1845), адмирала, члена Государственного совета, члена Российской академии; с 1834 г. — граф.

[5] *Двоюродная сестра.* — Дочь Н. С. Мордвинова, Надежда Николаевна Мордвинова (1789—1882). Автор известных «Воспоминаний об адмирале Николае Семеновиче Мордвинове и о семействе его (Записки его дочери)» (СПб., 1873). В действительности — троюродная сестра Муравьева.

[6] *...как ...мало меня знают, полагая... что я последую их советам вопреки внутреннего убеждения!* — Адресуя эти строки Владимиру Алексеевичу Муханову, Муравьев рассчитывал на его одобри-

тельное сочувствие. Однако он ошибался, полагая, что Муханов — безусловный почитатель его таланта. Напротив, тот был невысокого мнения о его даровании и в вопросе выбора дальнейшего пути придерживался того же мнения, что и родственники Муравьева, которое выразил очень категорично в письме А. А. Муханову от 10 ноября 1827 г.: «Трагедия Муравьева, подавшая повод ко многим остротам со стороны твоей, крайне меня пугает, тем более, что ⟨...⟩ я получил от него письмо, где он обещает непременно приехать сюда (в Москву. — *Н. Х.*) в декабре, привезть свой груз и снова затомить нас. Как странно и жалко видеть человека, стремящегося к цели, до которой силы его не допускают и, утвердительно сказать можно, никогда не допустят! Ему справедливо отпустить можно полустишие, неуместное в трагедии, где он поместил его, но уместное здесь и могущее служить эпиграфом всей его поэзии: высоко не достанешь (подчеркнуто в тексте. — *Н. Х.*). Жаль этого человека — стихи его погубят, а он мог бы под стать свою приискать местечко и быть по силам полезным» (Щукинский сборник. Вып. 5. М., 1906. С. 294).

6

Письмо от 2 мая 1827 г.

[1] *Сегодня я кончу сей журнал.* — «Журнал» составил первую часть (опубл.: Русское обозрение. 1895. Т. 33. № 5. С. 56—65; датирована 30 апреля 1827 г.) обширного мемуарного сочинения Муравьева «Мои воспоминания», до сих пор полностью не опубликованного.

7

Письмо от 15 мая 1827 г.

[1] Окончательный вариант названия трагедии: «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине».

Письма Михаилу Петровичу Погодину

Настоящие письма (за исключением нескольких фрагментов) публикуются впервые. Автографы: НИОР РГБ. Ф. 231 / II (архив М. П. Погодина). Здесь же хранятся письма Муравьева к М. П. Погодину за 1846—1873 гг.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — прозаик, драматург, публицист, издатель, историк. Точно определить дату знакомства Муравьева с Погодиным не представляется возможным. Очевидно, оно связано с участием обоих, хотя и в разные периоды, в кружке С. Е. Раича. Косвенным образом это подтверждают и публикуемые письма.

Муравьев был свидетелем зарождения и начального этапа существования кружка (его участие в нем относится ко второй половине 1822—первой декаде 1823 г.). В апреле 1823 г. он покинул Москву; 7 мая вступил в военную службу. Погодин же стал членом кружка Раича 18 февраля 1823 г. (эта дата известна из его дневника). Таким образом, их знакомство могло состояться в начале 1823 г. Возможно, оно произошло позже, в период отпуска Муравьева (декабрь 1824—апрель 1825 г.), который он провел в Москве.

В это время приоритеты кружка изменились — он постепенно трансформировался в общество любомудрия, печатным органом которого с 1827 г. стал издаваемый Погодиным журнал «Московский вестник». В начале октября 1826 г. имя Муравьева в связи с чтением им трагедии «Владимир» и отдельных стихотворений появляется в дневнике Погодина (см. примеч. 7 к письму 2 Муравьева А. А. Муханову от 1 декабря 1826 г.).

1

Письмо от 27 ноября 1827 г.

Автограф: НИОР РГБ. Ф. 231 / II. К. 46. Ед. хр. 39.

[1] Данный отрывок письма, в котором пересказано содержание последних двадцати стихов первой песни незаконченной поэмы Пушкина «Вадим» (1821—1822), впервые был опубликован М. А. Цявловским (*Цявловский М.* Пушкин по документам архива М. П. Погодина / Публ. М. Цявловского // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16—18. С. 696). Историко-литературный интерес, который представляет это письмо, заключается в следующем.

В «Московском вестнике» (1827. Ч. 5. № 17. С. 3—7) был опубликован лишь фрагмент первой песни «Вадима» («Отрывок из неоконченной поэмы (писано в 1822 году)»). Между тем из письма следует, что Муравьеву текст песни знаком полностью. Содержание «двадцати последних стихов», которое он излагает, известно по списку из архива кн. М. А. Урусова, выполненному в 1820-е гг. (обнаружен в Смоленске; впервые опубл.: Первая песнь поэмы «Ва-

дим» (по списку из архива кн. М. А. Урусова) / [Публ. и коммент.] С. Бонди // Пушкин — родоначальник новой русской литературы: Сб. науч.-исслед. работ / Под ред. Д. Д. Благого, В. Я. Кирпотина. М.; Л., 1941. С. 21—30). Черновая рукопись «Вадима» не сохранилась; полный текст первой песни в Полн. собр. соч. Пушкина воспроизводится (в справочном томе) по урусовскому списку ([Т. 17]. М., 1959. С. 34—38).

Есть основания полагать, что Муравьев был знаком с текстом «Вадима» также по этому списку. С кн. Михаилом Александровичем Урусовым, адьютантом гр. П. Д. Киселева, членом так называемого общества Главной квартиры Второй армии он, несомненно, был знаком. Более того, связан родством: бабушка Муравьева, А. А. Волкова, во втором браке была замужем за кн. А. В. Урусовым.

[2] *Где княгиня Трубецкая?* — Очевидно, имеется в виду Александра Ивановна Трубецкая, дочь кн. И. Д. Трубецкого. М. П. Погодин, с 1819 г. домашний учитель А. И. Трубецкой, был ею увлечен.

[3] Муравьев называет общих знакомых по кружку Раича: Василия Ивановича Оболенского (1790—1847) и Степана Петровича Шевырева (1806—1864).

2

Письмо от [1830 г.]

Автограф: НИОР РГБ. Ф. 231 / II. К. 49. Ед. хр. 54. Б/м.

[1] *Вот Вам мой счет в сравнении счета Ширяева...* — Речь идет о продаже сборника «Таврида».

А. С. Ширяев — известный московский книгопродавец и издатель, арендатор университетской книжной лавки (располагалась в доме университетской типографии, между Большой Дмитровкой и Петровкой).

[2] *...письмо для удостоверения Пономарева.* — М. П. Пономарев — владелец небольшой типографии. Имел также в Москве (на Никольской ул.) книжный магазин.

3

Письмо б/д, б/м

Автограф: НИОР РГБ. Ф. 231 / II. К. 49. Ед. хр. 54.

[1] См. примеч. 1 к предыдущему письму от 1830 г.

[2] См. примеч. 2 к тому же письму.

4

Письмо от [1832 г.]

Автограф: НИОР РГБ. Ф. 231 / II. К. 50. Ед. хр. 44.

[1] То есть из Троице-Сергиевой лавры.

[2] О С. Е. Раиче см. с. 246 и сл.

[3] *...где Оболенский и Ознобишин...* — Имеются в виду Оболенский Василий Иванович (1793?—1847), литератор, переводчик, друг и ровесник С. Е. Раича (его соученик по семинарии в г. Севске) и Ознобишин Дмитрий Петрович (1804—1877),

один из наиболее деятельных участников кружка С. Е. Раича; издатель (совместно с С. Е. Раичем) альманаха «Северная лира на 1827 год» (вкладчиком которого был и Муравьев).

[4] Речь идет об издании: *Погодин М. П.* Повести. Ч. 1—3. М., 1832. Дата выхода «Повестей» (цензурное разрешение от 8 мая 1831 г.) служит основанием для датировки данного письма.

[5] *...Иерархию Российскую...* — Возможно, имеется в виду: Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1832 г. Ч. 1—2. СПб., [1832].

[6] В 1830-е гг. В. И. Оболенский работал над переводом: «Избранные места из св. Иоанна Златоуста» (опубл. фрагмент: *Оболенский В. И.* Христианское красноречие в IV в. из Вильменя // Телескоп. 1831. Ч. 4. № 13. С. 3—18). Иоанн Златоуст (347 или 348—407) — византийский церковный деятель и иерарх, выдающийся представитель греческого церковного красноречия, один из четырех наиболее прославленных святителей христианской Церкви (Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст). Оставил после себя множество духовных произведений: проповеди, псалмы, панегирики, письма.

[7] «Алфавит духовный» — сочинение, приписываемое Димитрию Ростовскому. Предсталяет собой наставление верующим во исполнение Господних заповедей; выдержано в схоластико-аллегорической манере. Отд. изд.: Киев, 1710 (переизд. там же: 1713, 1719). В составе собр. соч.: Сочинения святаго Димитрия, митрополита ростовскаго: Т. 1—5. М., 1786 (Т. 1); То же: М., 1805—1807; М., 1818.

5

Письмо от 30 мая 1834 г.

Автограф: НИОР РГБ. Ф. 231 / II. К. 51. Ед. хр. 54.

[1] Имеется в виду Общество любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Муравьев был избран действительным членом Общества 7 ноября 1833 г. М. П. Погодин являлся секретарем Общества.

[2] *...у Смирдина... зашел к нему в лавку за книгами...* — Смирдин Александр Филиппович (1795—1857), книгопродавец и книгоиздатель. В 1830-е гг. его магазин и существовавшая при нем библиотека были своеобразным литературным салоном. С 1832 г. магазин располагался на Невском проспекте (ныне д. 22).

[3] *...а к Аничкину мосту, в дом княгини Белосельской.* — Имеется в виду особняк князей Белосельских-Белозерских на Невском проспекте (был построен в 1800 г. для кн. К. Белосельского-Белозерского), ныне дом № 41.

[4] Одно из первых паломничеств по России Муравьев совершил на о. Валаам и посвятил ему очерк «Монастырь на Валааме» (Библиотека для чтения. 1834. Т. 3. С. 1—20). Впоследствии он вошел в «Путешествие по Святым местам русским».

[5] Третье издание «Путешествия ко Святым местам в 1830 году» (СПб., 1835) было наиболее полным. Оно открывалось обширным (93 с.) «Обзором русских путешествий в Святую землю», о котором и упоминает Муравьев. В нем проанализированы

15 наиболее выдающихся образцов жанра паломнической литературы, начиная с «Жития и хоженья Даниила, Русской земли игумена» (нач. XII в.) и до появления первого литературного описания, принадлежавшего Д. В. Дашкову (20-е гг. XIX в.). Судя по многочисленным источниковедческим замечаниям, Муравьев был знаком с рукописными текстами древнерусских «хожений». Этим определяется научное значение «Обзора».

[6] *...у меня есть отрывки из «Тивериады» стихами.* — То есть из драмы «Битва при Тивериаде, или Падение крестоносцев в Палестине».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

НОИР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва)

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея (Москва)

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

---

* В указатель включены только имена исторических лиц.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

роков П. И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. Ч. I. СПб., 1803.

Вид Георгиевского монастыря со стороны моря.
Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Вид Георгиевского монастыря.
Гравюра на меди Н. Я. Саблина по рисунку с натуры де Палдо, выправленному А. А. Сергеевым. 1803. Из кн.: *Сумароков П. И.* Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. Ч. I. СПб., 1803.

Байдарская долина.
Литография Виктора по рисунку с натуры В. Пассека. 1830-е гг. Музей ИРЛИ.

Вид Мердвеня.
Литография К.-Ф. Кюгельхена по собственному рисунку 1803—1806 гг. 1835. Музей ИРЛИ.

Кикенеиз.
Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Течение Буюк-Джурджуре в Улу-Узенском лесу.
Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Вид Кореиза.
Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Вид Ялты.
Литография К.-Ф. Кюгельхена по собственному рисунку 1803—1806 гг. 1835. Музей ИРЛИ.

Вид Гурзуфа и Аю-Дага.

Гравюра на стали Берндта и Бертранда по их собственному рисунку с фотографии. Середина XIX в.

Вид из Караасана на Аю-Даг.

Литография И. Дмитриева по собственному рисунку с натуры. 1836. Музей ИРЛИ.

Кучук-Ламбат.

Литография Ф. Гросса по собственному рисунку с натуры. 1840-е гг. Музей ИРЛИ.

Керчь.

Гравюра на дереве Леметра. 1830-е гг. Музей ИРЛИ.

СОДЕРЖАНИЕ

ТАВРИДА

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Научное издание

А. Н. МУРАВЬЕВ

ТАВРИДА

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства *И. Е. Петросян*
Художник *Е. В. Кудина*
Технический редактор *Е. Г. Коленова*
Корректор *А. К. Рудзик*
Компьютерная верстка *О. В. Никитиной*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 21.11.07. Подписано к печати 27.02.08.
Формат 70 × 90 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Академия. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19.7.
Уч.-изд. л. 16.7. Тираж 2000 экз. Тип. зак. № 3079. С 40

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-026455-7

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»

Магазины «Книга — почтой»

121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197137 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-40-64

Магазины «Академкнига» с указанием отделов «Книга — почтой»

690088 Владивосток-88, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»); (код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»); (код 3432) 55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 («Книга — почтой»); (код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, пр-т Независимости, 72; (код 10-375-17) 292-00-52, 292-46-52, 292-50-43
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»); (код 3832) 30-09-22
142292 Пущино Московской обл., МКР «В», 1 («Книга — почтой»); (13) 3-38-60
443022 Самара, пр-т Ленина, 2 («Книга — почтой»); (код 8462) 37-10-60
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65, бук. 273-13-98
197110 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-40-64
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9 линия, 16; (код 812) 323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа-59, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»); (код 3472) 24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85